СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Татьяна Луговская

Как знаю, как помню, как умею

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях. Книгу завершают страницы из дневника, написанные с иронией и грустью о жизни, любви и старости.

- Т. А. Луговская
  - Вместо предисловия
  - Из неопубликованного предисловия к повести «Я помню»[1]
  - «Я ПОМНЮ»
    - Часть первая
      - СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
      - НАШ ДОМ
      - «НЯНЯ, ПЕЧКА И СКАЗКА»
      - ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
      - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
      - БОЛЕЗНЬ ОТЦА
      - САВРАСОВ
      - МАКАРЛЫЧ И ХЛЕБНИКОВ
      - МАМА
      - НАША НИНА
      - НАШ ВОЛОДЯ
      - «Я УМРУ, И МЕНЯ НЕ БУДЕТ»
      - ВРАНЬЕ И ВЫДУМЫВАНИЕ
      - В ПРИЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
      - ФРЕЙЛЕЙН ТОМБЕРГ
      - ЧУЙКА
      - НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
      - БЫЛИНЫ
      - РИСОВАНИЕ
      - РОБИНЗОН

- ВДРУГ ЕСТЬ — ВДРУГ НЕТ
- ЭЛЛАДА
- СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛОДИ
- ГИМНАЗИЯ КОНСТАН

- Часть вторая
  - 1917 год
  - 1918 год
  - 1919 год
  - СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАПЫ
  - ПОСЛЕ ПРИЕЗДА МАМЫ
  - НАША КОЛОНИЯ
  - СТИЛЬ ВРЕМЕНИ
  - «ВАРГАНКА»
  - БАНЯ
  - МЫ ЕДЕМ В МОНО
  - КАК Я СТАЛА БАЛЕРИНОЙ
  - СЕНОКОС
  - ГРУНЯ
  - ДОЖДИК
  - РОЗАНОВКА
  - РЕВНОСТЬ
  - ВОЛОДЯ В КОЛОНИИ
  - ПОЩЕЧИНА
  - ТОНКАЯ КРОМКА ЛЬДА
  - ЧИСТКА КАРТОШКИ
  - «ТЕМНАЯ»
  - ЗАНАВЕСКА
  - ЛЕЖАЩАЯ ВОСЬМЕРКА
  - КАЧЕЛИ
  - МАМА ПОЕТ В КОЛОНИИ
  - НАШИ «МАСШТАБЫ»
  - ВОСПИТАНИЕ
  - ТРЕТЬЕГО МАЯ 1925 года
- Дополнение
  - МОЙ ДЕД
  - КАК ДЕД ВЫБИРАЛ ПОСУДУ
  - СЕМЬЯ МАТЕРИ
  - ДЯДЯ СЕРЕЖА
  - ТЕТЯ ТАЛЯ[5]
  - ГРЕХ И МОЛИТВА
  - ОТЕЦ
  - МАМА
  - БРАТ (о В. А Луговском)[6]
  - ПОВАЛЕННОЕ ДЕРЕВО ЛЕГЧЕ ИЗМЕРИТЬ

- Рассказы Татьяны Александровны
- ПИСЬМА К МАЛЮГИНУ[15]
  -
  - Письма Т. Луговской — Л. Малюгину
- Ташкент 1942–1944 гг.
  - РАССКАЗЫ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ОБ ЭВАКУАЦИИ И ТАШКЕНТЕ
  - ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА. ЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
  - ПИСЬМА ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ В ТАШКЕНТ (Публикуются впервые)
- ВОСПОМИНАНИЯ
  - ЕРМОЛИНСКИЙ. НЕНАПИСАННАЯ КНИГА
  - АХМАТОВА
  - ТАТЛИН[104]
  - ФАДЕЕВ
  - ИЗ ДНЕВНИКОВ
- ДОМ
  - ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ[106]
  - ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ[107]
  - АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ[108]
  - НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА[109]
  - ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ[110]
  - Заключение

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

Т. А. Луговская
Как знаю, как помню, как умею: Воспоминания, письма, дневники

Вместо предисловия

Уходят люди, вместившие в свою жизнь весь двадцатый век. Многие из них, казалось, несли особый груз ответственности перед поколениями, идущими им на смену. Свидетели гибели России, они понимали, что их воспоминания относятся к эпохе, безвозвратно ушедшей, и пытались сохранить память о стране, о современниках, о себе.

Татьяна Александровна Луговская родилась в 1909 году, а умерла — в 1994. Ее старшим братом был поэт Владимир Луговской. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими.

Татьяна Александровна обладала собственным взглядом на вещи, незаурядной волей и независимостью характера, остроумием, особой и навсегда запоминающейся интонацией. Из нее могла получиться замечательная мемуаристка — знание людей, точный язык, память на детали, отличали и ее устные рассказы. Когда, уже в преклонном возрасте, она наконец собралась записать воспоминания о своем детстве, первые же написанные страницы неожиданно показали, что Татьяна Луговская уже сложившийся писатель — со своим языком и художественным миром. Одним из первых ей сказал об этом Вениамин Каверин, рекомендовавший из отдельных воспоминаний сложить полноценную повесть.

Повесть «Я помню» начиналась с истории старой деревянной шкатулки, наполненной пожелтевшими фотографиями начала века. «…Откуда, из каких недр вылезла эта старая, облупленная коробка, бывшая красивая, обитая внутри порыжевшим шелком и с металлическими застежками?» Может быть, подсознательно начало книги отчасти повторило более масштабную увертюру к «Поэме без героя» Ахматовой, в числе первых слушательниц которой была и Татьяна Александровна. «…Бес попутал в укладке рыться», — говорила ахматовская героиня, когда из бумаг, фотографий и других памятных вещей одна за другой вставали тени прошлого…

Книга увидела свет, когда ей было уже за семьдесят, выдержала несколько изданий и была переведена на польский и французский языки.

Татьяна Александровна не успела написать подробные

воспоминания о своих современниках и друзьях, но в ее письмах и дневниках сохранились замечательные литературные наброски портретов разных людей, колорит и атмосфера того времени.

«Как мне писать? Как мне дотронуться до другой, хотя и близкой мне жизни, чтобы она не утонула, как осенний лист, в потоке бурлящей воды? Как обжечь словами чужих и равнодушных людей?» — писала она на склоне лет в дневниках.

Люди, их поступки и характеры составляли главный интерес ее жизни. В доме Татьяны Александровны и ее мужа, писателя и сценариста Сергея Александровича Ермолинского, можно было встретить множество замечательных людей разных поколений. Н. Эйдельман, В. Берестов, В. Каверин, А. Эфрос, С. Юрский, В. Лакшин, А. Аникст, Д. Данин, Н. Крымова, Н. Рязанцева, А. Демидова, Л. Петрушевская, Н. Ильина, А. Хржановский — вот далеко не полный список друзей и завсегдатаев этого радушного дома.

Дневники Татьяны Александровны полны блестящих зарисовок, точных замечаний. Она остро чувствовала смешное: записывала реплики, подслушанные в трамвае, на коммунальной кухне. В ее записях смешное часто соседствует с трагическим — мыслями о старости и смерти.

Больше всего Татьяна Александровна хотела написать о самом близком ей человеке — С. А. Ермолинском. Но, увы, осуществить задуманное не успела. Остались лишь заметки, отдельные части ненаписанной книги.

В это издание вошла повесть «Я помню», дополненная главами, не вошедшими в прижизненное издание по причинам либо техническим (издательство ограничило объем книги), либо цензурным. В повести сохранена последовательность глав, принятая в рукописи.

Татьяна Александровна была отменной рассказчицей — в книгу также включены несколько ее устных зарисовок, записанных племянницей, Л. В. Голубкиной.

Особое место в книге занимает переписка с драматургом Л. Л. Малюгиным, охватывающая период с 1938 по 1945 год. В этих письмах не только история высоких и сложных взаимоотношений, но и атмосфера тех лет.

В «ташкентскую» часть книги включен ряд писем Елены Сергеевны Булгаковой к Т. А. Луговской, которые публикуются впервые.

В книге также представлены воспоминания друзей о С. А. Ермолинском и Т. А. Луговской, об их доме и его незабываемой атмосфере.

В подготовке этой книге активное участие приняли

племянницы Т. А. Луговской — Л. В. Голубкина и М. В. Седова, а также М. Е. Нейман-Хржановская. Особая благодарность за советы М. И. Белкиной.

Н. А. Громова

Из неопубликованного предисловия к повести «Я помню»[1]

Я начала писать эти записки из-за страшной душевной необходимости, которая распирала меня изнутри и требовала выхода. Сознание, что жизнь моя уже находится в том состоянии, что может ежеминутно оборваться подгоняло меня как кнутом. Окончательным и оглушительным ударом по моей совести была повесть Астафьева «Последний поклон», вернее, предисловие к ней. Так бывало только со стихами, когда казалось, что это ты, ты и ты и никто другой это написал. Так и тут он все выразил, что творилось со мной. Именно поклон необходимо было отдать и мне людям, которых уже нет и которые так щедро наградили меня своими богатствами. Не хочется уходить молча.

Еще стихи Светлова:

Это мной уже давно обещано.
Это я обязан рассказать…

Но, в общем, законное право: как знаю, как помню, как умею! А вам судить, как знаете.

Так начал накручиваться этот клубок чувств и воспоминаний. Долго это было. Потом сложились листы в папку, и я пошла в редакцию.

«Я ПОМНЮ»
КНИГА О ДЕТСТВЕ

Памяти С. А. Ермолинского

Часть первая

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Да, безусловно, вещи имеют свою судьбу. Откуда, из каких недр у меня старая, облупленная коробка, бывшая красивая, обитая внутри порыжевшим шелком и с металлическими застежками?

Коробка эта набита старыми фотографиями. Что в ней хранилось до семнадцатого года? Не знаю, не помню.

Почему, пережив революцию и все войны, она уцелела? Ведь с 19-го года по 25-й я не жила дома: все по колониям, да по детским домам. Ведь в Отечественную войну я уезжала в эвакуацию с одним чемоданом, а в моей комнате жили чужие люди, которые рылись в моих ящиках, пользовались моими вещами, а потом, перед выездом, украли все, что можно было украсть и устроили «нарошный» пожар, чтобы скрыть следы преступления. Мебель и книги — все было обгоревшее. Почему же эта старая коробка с фотографиями осталась цела и невредима? Почему я, когда в 19 лет стала жить одна, ничего не взявши из отцовского дома, кроме книг по искусству и портрета П. К. Хлебникова работы Левицкого, прихватила и эту коробку? Ведь тогда мне казалось, что все, что было до 17-го года, ушло, что все это не мое, что жизнь моя началась не с рождения, а с 19-го года: с колонии.

Я жестоко обращалась с семейными вещами и реликвиями: что-то рвалось, как никогда ненужное, что-то дарилось, отдавалось, что-то терялось и пропадало, что-то и продавалось «в минуту жизни трудную». Почему же уцелела эта старая коробка?

Вынимаю из нее пожелтевшую фотографию. На ней изображены мои старшие брат и сестра: Володя и Нина. Налево маленький мальчик с серым ежиком волос над высоким лбом, с большой не по росту головой, внимательными (даже, пожалуй, умными) косоватыми глазами, а над глазами точные и определенные полоски темных бровей. Концы бровей приподняты. Мальчик одет в матроску и молодцевато пристроился около сестры Нины. Ему года три-четыре. Рядом с ним девочка с таким же ежиком волос, но светлым. У этой девочки воробьиный носик и маленький круглый рот. У нее все круглое на лице, все к центру, а у брата все черты разлетаются за пределы овала. Брат может сию минуту вскочить и побежать. Сестра сидит плотно, как булка из сырого теста. (Меня нет на фотографии, меня вообще еще нет и долго не будет на свете.)

Сохранились разные семейные воспоминания об этих детях. Рассказывали, что мой брат Володя (или Вова, как звали его в детстве) был мальчик умный, занятный. Выучился читать сам, без посторонней помощи, в пять лет. Любил играть один. Все строил из кубиков какие-то города и дома. Потом прятал свою руку в

одном из домиков, а другой рукой стучался в него и спрашивал: «то там» (кто там?), и не пускал вторую руку в дом.

Плакал мало. Говорил о себе в женском роде. Знал много стишков на память. Ему говорили:

— Вова, ты знаешь стишок?

— Заю, — отвечал он.

— Ну, скажи.

Принимал позу, делал готовый вид, потом хитро смотрел на маму, на ожидающих гостей и, твердо произнеся «забыля», важно удалялся. И никакая сила не могла его заставить читать стишки при гостях. (Мама очень сокрушалась.)

Был горд. Не любил подарков. И когда дед — или еще кто-нибудь — одаривал его, он не брал и отвечал: «у нас тоже есть».

Говорили, что сестра Нина (на два года младше Володи) была очень толстой и ленивой девочкой. Часто, оседлав брата, заставляла его возить себя, что он и исполнял покорно, воображая себя конем. Рассказывали еще, что семи лет от роду он без памяти влюбился в Тамару Маринич, девочку на один год старше, чем он. Не могу сказать — в связи с отсутствием меня на свете — была ли эта любовь взаимной.

Володю очень любили в семье. Был он долгожданным первым ребенком и чуть не стоил матери жизни, так как родился очень большим (четырнадцать с половиной фунтов). Родился он в доме у деда на Поварской улице, под бой часов, которые и сейчас висят в бывшем кабинете брата, но уже не ходят.

Дедовский же дом с мезонином, к сожалению, рухнул в одну из бомбежек 1942 года. Рухнул не оттого, что бомба попала в него, а просто так — испугался, вздрогнул и рухнул от старости.

Сейчас даже место, где он стоял, я не могла бы найти: так все там заросло новыми домами.

НАШ ДОМ

Мы так редко заглядываем в свое детство, между тем мы родились из него для нашей взрослой жизни. Мы его дети. На долгие, долгие годы мое детство отрезалось от меня. И только теперь, только под старость я снова соединилась с ним и поняла, что мои корни там, в тех далеких годах.

Мой отец был преподавателем литературы и инспектором старших классов Первой московской мужской гимназии, находящейся на Волхонке, дом 16. Тут же жили и мы в казенной квартире.

Три двора с цветными названиями: зеленый, красный и черный были окружены гимназическими корпусами.

Я помню — плотную, тяжелую листву зеленого двора, большое дерево (три ствола из одного корня), росшее посередине сада, и многоугольную скамейку, сбегавшую вокруг него. Помню красивую чугунную решетку, отделявшую сад от улицы, и мерцающий сквозь листву желтоватый фасад гимназии. Зимой зеленый двор пушисто белел, а здание гимназии проявлялось яснее.

Помню суживающиеся переходы от одного двора к другому, почему-то они казались жуткими (проскочить бы поскорее!).

Помню лишенный деревьев колодец красного двора (почему красный?), серую тесноту от гимназической формы во время перемен и опасные снежки, снарядами летающие во все стороны.

Но лучше всего я помню двор с обидным названием «черный». Черным на нем был только черный ход в здание гимназии, все остальное многоцветное. Цветы и деревья росли на этом веселом дворе, а посередине была площадка под названием «треугольник». На этом треугольнике в теплую пору азартно сражались в крокет, а зимой в воздухе повисало ожерелье из разноцветных электрических лампочек над гладью катка. Если в сумерках удавалось прижать нос к окну в столовой, то можно было увидеть, как плавно и невесомо, словно рыбы в аквариуме, катаются на треугольнике старшие дети и с ними мои брат и сестра.

Наш черный двор был подвижен и оживлен — как челноки сновала в погреба и обратно преподавательская прислуга, дворники носили дрова, трусцой семенил в накинутом пальто с ключами в руках эконом Лобанов, гуляли дети, бегали собаки и степенно выходили из своих подъездов направляющиеся на занятия преподаватели.

На этот двор меня иногда пускали гулять одну. Хорошо помню тишину первого снега, обжигающую лицо снежную пыль при свистящем полете санок с огромной ледяной горы в мороз и томительную тяжесть пальто весной.

Помню и подъезд нашего дома. Войдя в подъезд, надо было подняться на второй этаж. Там на площадке были две двери — парадная двустворчатая, обитая клеенкой и красивыми гвоздиками, и одностворчатая кухонная. Эти двери огорчали нашу маму, ей не хотелось, чтобы черный и парадный ходы имели одну лестницу. Но квартира была казенная, хорошая, большая, теплая и — ничего не попишешь — приходилось с этим мириться…

Солнце пронизывало нашу квартиру насквозь. Шесть комнат отапливались тремя печами — эти печки трещали и переговаривались между собой. За окнами кружился снег, а на

окне в столовой жил снегирь. Он пел, когда звучала музыка, а так как музыка у нас звучала всегда, то и пел он всегда.

Ночью, когда светила луна, окон в детской становилось два — одно на стене, другое на полу. И то, что было на полу, казалось настоящим, а настоящее — отражением.

У нас было много книг — они стояли на больших полках у отца в кабинете и в комнате у брата Володи.

В кабинет входить без спроса можно было, когда папа уходил в гимназию. И то — только смотреть, ничего не трогая. В остальных же комнатах можно было бегать и играть.

Теплые выступы печек, закоулки, простенки, уголки, шубы в передней, лежанка, выходящая в умывальную комнату, — все это располагало к игре…

У нашей мамы были две домашние страсти: потрескивающие печки и натертые полы. Для треска в печках нужны были еловые дрова, а для второго удовольствия каждую неделю у нас появлялись полотеры. В доме пахло воском, мужским потом и мастикой. Вся мебель была сдвинута, куклы свалены в кучу, и некуда было приткнуться, везде я была лишняя. По всем комнатам полотеры лихо шмыгали своими оранжевыми босыми ногами — раз-два, раз-два. Одна штанина у них была засучена, спины влажные. Эти дни я ненавидела: они были против меня. Все старшие в это время были в гимназии — и папа, и Володя, и Нина, а я была дома и всем мешала. Правда, были в этой неприятности и свои хорошие стороны, так как в «полотерные дни» я могла беспрепятственно входить в кухню и сидеть в ней. Кухня была очень большая и очень длинная (в три окна), с русской печкой и плитой под навесом, на которой постоянно что-то кипело, шипело, брызгало и булькало. Кухня была миром отдельным и увлекательным.

Проснешься рано утром, неизвестно в какой день, и услышишь, что где-то очень далеко, на другом конце света, что-то глухо и ритмично стучит, что-то пульсирует. И сразу волна радости окатывает тебя, ты понимаешь, что сегодня воскресенье, а стучит на кухне сечка, которая рубит в специальном деревянном корытце капусту для праздничного пирога. Это значит, что все будут дома, никто не пойдет в гимназию, будет пирог, не будет немецкого урока, будет вкусное пирожное и, наверное, много кочерыжек.

В кухне на страстной неделе поднималось и вздыхало многоглазое от изюма тесто для куличей. Там же на полках, выстроившись в ряд, сияли красивые медные кастрюли — от самой большой, в которой вполне могла бы уместиться такая девочка, как я, до самой крохотной, совсем не лишней в моей

кукольной игре. Когда я была маленькая, я была уверена, что эти кастрюли все из чистого золота и что все наше богатство сосредоточено здесь, на этих полках. В кухне постоянно скрипели и стучали, взбивали и терли, и там же мне иногда давали вылизывать миски из-под разных вкусных вещей.

Все это было очень привлекательно и интересно, тем более что в кухню, как и в кабинет, мне не разрешалось входить запросто, без разрешения. Иногда удавалось сделать щелочку в двери и, понюхав, определить, что сегодня будет к обеду — блинчики или котлеты? Щи или бульон с пирожками? В зависимости от того, чем была надушена кухня — ванилью, корицей или жженым сахаром, я пыталась догадаться и о третьем блюде, больше всего меня интересовавшем. Но это было значительно труднее, и я часто ошибалась.

Заправляла всем в этом кухонном царстве красавица кухарка Лиза, обладательница кулинарного и певческого таланта. Эта Лиза, как говорили, была не кухаркой, а поварихой и могла бы жить в богатых домах, где ей платили бы большое жалование. Но она мирилась с тем, что получала от моих небогатых родителей, ибо она обожала мою мать и всех нас заодно. Лиза была талантлива и музыкальна, а мама учила ее нотам и пела с нею дуэты.

Мама начинала петь в комнатах, а Лиза у плиты ей вторила. Если выходило красиво, то мама говорила:

— Лиза, отставьте кастрюли с огня, до пяти часов еще далеко (мы обедали в пять часов) и идите в гостиную, мы будем петь.

И Лиза, наскоро переменив кухонный фартук на белый, румяная от огня и счастья, быстро и легко, как на парусах, неслась в гостиную. Мама садилась за рояль, и они начинали петь.

Тут я должна была срочно принять решение, что делать, если два запретителя моей кухонной жизни поют в гостиной, позабыв про меня, про обед и вообще про все на свете? Что делать? Нырять в кухню, беспрепятственно поднимать там крышки с кастрюль и заглядывать в них или идти в гостиную? Решение это зависело от их репертуара. Если пели «Мой миленький дружок» или еще что-нибудь в этом роде — кухня перетягивала. Но стоило из гостиной прозвучать первой музыкальной фразе «Горных вершин» — все земные кухонные радости переставали для меня существовать. Я бежала к фортепьяно, вытягивалась в струнку рядом с Лизой и в один голос с ней начинала петь:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,

Тихие долины
Полны свежей мглой…

Я путала и пела не «свежей мглой», а «светлой мглой». Мне казалось, что поют не мама с Лизой, а я одна. Это мой взволнованный, прекрасный и уверенный голос забирался все выше и выше на горные вершины, замирал на них и, немного успокоившись, спускался в тихие долины. Мамин низкий округлый голос и высокий острый Лизин соединялись вместе, и этот голос принадлежал мне…

Конечно, я мешала петь Лизе и маме, я не всегда попадала в тон, путала слова, но они никогда, ни разу не выгнали меня. И хотя слова песни объясняли, что «горные вершины спят во тьме ночной», а в долинах светлее, они еще полны только «мглой», а не «тьмой» — для меня свет был всегда наверху, а внизу — темнота. Я чувствовала все наоборот: высокие звуки на горных вершинах были прозрачны и светлы, они соединялись с небом, которое не было темным, а спускаясь в тихую долину, становились гуще, ниже, а следовательно и темнее.

И все мое детство, когда мама особенно хорошо и красиво брала высокую ноту, я думала: «Как хорошо, как высоко, как прекрасно и светло мама поднялась на горные вершины», и, замирая, ожидала снижения и потемнения звука…

В нашей семье, если нужно было наказать, то сажали на стул, который стоял у печки в отцовском кабинете.

Бывало, заглянешь в дверную щелку кабинета — у печки сидит Володя с независимым лицом и делает вид, что он не наказан, а просто присел среди книг и думает. А за письменным столом сидит отец и занимается. Войти в кабинет без спросу было нельзя, только так — в щелочку посмотреть.

Меня, как маленькую, ставили в угол. «Углом» назывался простенок между двух дверей в столовой. В этом простенке висела спичечница со спичками, под ней я и стояла.

Но иногда за большую провинность и меня, как старших, сажали в кабинет. Горе и гордость наполняли мою душу. Сидишь у теплой печки, все кругом в книгах — они поблескивают из-за стекол, направо два окна. А прямо — милый профиль отца. Он сидит за письменным столом. Он работает. У него легкие седые волосы, усы и маленькая бородка. У него пенсне на шнуре, а под глазами много маленьких веснушек. Я их не вижу отсюда, но я знаю их все наперечет. И добрый закругленный нос, и рука, так правильно и красиво держащая ручку. Он что-то помечает в

тетрадях, он не оглядывается на меня. Сидишь, смотришь на этот профиль и про себя говоришь: «Ну, прости меня, не держи меня больше на этом стуле, прости меня, я же маленькая». И вдруг он поймет и, не взглянув на меня, скажет: «Таня, можешь идти играть». И нельзя было вскакивать и бежать, как сумасшедшая, а надо было чинно встать, сказав: «Папа, я больше не буду вести себя плохо», — и тихо на цыпочках уйти. А там за дверью уже можно было безобразничать, и визжать, и скакать, и Бог знает что делать. Там все можно, а здесь нельзя, здесь кабинет и папин профиль, и книги, и тишина.

Московская квартира вспоминается только зимой и осенью, потому что на все лето мы уезжали в Оболенское (Калужской губернии), где мои родители много лет подряд снимали одну и ту же дачу, в которой до нас жил композитор Скрябин. За ней так и осталось название «Скрябинская дача». В самой большой комнате на этой даче стоял рояль и очень старый круглый диван, сделанный из красного дерева…

В Оболенское мы приезжали как к себе домой. Все нас здесь знали. Раиса Михайловна Оболенская (владелица имения) высылала за нами линейку и подводу для багажа. Мы знали в лицо и кучеров и лошадей…

Наша мама ненавидела путешествия и никогда никуда не ездила, кроме как на дачу в Оболенское. Но и в Оболенское она собиралась тяжело, волнуясь и нервничая.

На некоторое время дом превращался в склад разных корзин, чемоданов, белья и посуды. В Оболенское возили книги, одежду, пустые герметические банки (для варенья), игрушки и даже большую цинковую ванну, которая стояла у нас на чердаке с другими «дачными» вещами.

Покупалось целое купе, пеклись пирожки, жарились цыплята, в бутылки наливался кофе, чай и клюквенный морс. И все это на дорогу, хотя ехать нужно было совсем недолго, а в Оболенском нас уже ждала с обедом выехавшая заранее Лиза.

Розовая от волнения мама все время пересчитывала вещи, сердилась, если ее сбивали, шумела, горячилась и ничего не ела. Зато мы с папой, как только влезали в вагон, сразу присаживались к откидному столику и требовали немедленно раскрыть большую корзину с едой. Мама умоляла нас подождать, пока поезд тронется, но мы были неумолимы. Мы уже были не в Москве, а в вагоне — мы хотели жить другой, не московской, а вагонной жизнью.

Мы хотели есть пирожки и жареную курицу и, жуя все это, ехать и ехать в прекрасное Оболенское.

Возвращаться из Оболенского в Москву не хотелось, но когда приезжали, было очень интересно пробежаться по неузнаваемым и каким-то пустым комнатам, пересмотреть забытые игрушки и заново оценить их…

Окна открыты, и из Знаменского переулка слышно громыхание ручной тележки и неугомонный крик на разные голоса: «Арбузы, арбузы, а-р-б-у-з-ы, есть сахарные арбузы!» (В Оболенском арбузов не было.) Очень красивыми казались гостиная и папин кабинет. (В Оболенском тоже таких комнат не было.)

Но вся эта осенняя жизнь в Москве — с арбузами, дынями, неузнаваемой квартирой и забытыми игрушками — была мимолетной, потому что в доме очень скоро начинали топиться печи, а за окнами сеялся снег и светило зимнее солнце.

Так запомнилась Москва: всегда зимой, всегда со снегом, всегда с печкой.

«НЯНЯ, ПЕЧКА И СКАЗКА»

Жила у нас в доме нянька — Екатерина Кузьминишна Подшебякина, родом она была из деревни Непрядва с Куликова поля. Вероятно, только за этот адрес, да еще за удивительный сказочный дар ее и держали у нас в доме, так как была она пьяница. Попросту говоря — алкоголичка. Дел у нее было мало. Два раза в день она топила печки да укладывала меня спать — вот и вся ее работа. У няни был враг в доме — добрая и кроткая немка фрейлейн Аделина. Нянька ненавидела ее лютой ненавистью и называла то Аделинкой, то фришкой, то просто басурманкой. Наверно, она чувствовала, что немка теснила ее, незаметно занимая ее позиции.

Нянька говорила вместо быстро и моментально — «минтом» и «однава дыхнуть». Вместо молчи — «молчок». Если человек худел — говорилось «он обосновался», был строен — «постанов хорош». Вместо хорошо — «ладно», вместо что? — «чего-чего?» и так далее. Она и меня научила говорить «ладно» и «чего-чего?». Маме не нравилось, и немке было велено переводить меня на немецкие слова.

Нянька сердилась:

— Танечка, не говори за фришкой басурманские слова, разные гуты, васы да издасы — тебя Бог накажет.

— А как накажет, нянечка?

— Разорвет пополам.

Положение было трудное, быть разорванной Богом пополам — меня никак не устраивало, и до сих пор я говорю «чего-чего?»

вместо «что?» — слегка-удивляя окружающих.

Раньше, когда я была еще совсем маленькая, няня водила меня гулять. Эти прогулки были таинственны, опасны и сладостны. Меня укутывали до глаз, нянька надевала на себя много платков и «полусак», который затягивался двумя тесемками на талии. Мы шли, наши следы отпечатывались на свежем снегу. Нам было велено гулять в гимназическом саду, называвшемся «Зеленый двор». Но мы шли дальше, мы шли за ворота. Это делать было нельзя, но мы с няней это делали. За воротами был другой мир — там ездили извозчики, там был шум, там стоял городовой. Мы шли налево в переулок. В каком-то месте няня ставила меня к стенке, жалобно смотрела на меня и просила: «Танечка, постой одна, а я минтом, однова дыхнуть», — и входила в желтую дверь. Дверь вела в казенку, я это знала, но что такое была эта «казенка», мне было неизвестно.

Я оставалась одна. В вышине надо мной из казенки выходили гигантские, как наш буфет в столовой, багровые мужчины. От них шел пар, как из самовара. Они могли обидеть меня, забрать в мешок, может быть, даже съесть! Я боялась, я дрожала, но стояла стойко, как часовой. Вознаграждение являлось в образе няни с выбившимися седыми космами из-под платка и слезами благодарности.

— Танечка, ты маме-то уж не говори, ты уж — молчок!

Я и без нее знала, что говорить нельзя. Это была первая тайна, познанная мною в жизни, первое слово, которое я должна была держать и держала. Грех и подвиг. Сострадание и ложь. Но главное — сладость тайны…

Обратно мы шли вприпрыжку, покачиваясь и шлепаясь о стены домов. Нянька напевала. Я радовалась ее счастью. Дома прислуга, открывавшая нам дверь, презрительно говорила: «Няня, опять от вас казенкой пахнет!»

Таинственная казенка и был наш грех, но грех, доставляющий необъяснимую радость няньке.

Эти волнующие прогулки скоро кончились, так как однажды, перехватив лишнего в казенке, няня потеряла с моей головы капор и простудила меня…

Круг нянькиной деятельности сужался. Она становилась лишняя в доме. Тогда она с особой рьяностью кинулась топить печки…

Дворник приносил дрова, грохал ими около топки, и няня начинала свещеннодействовать. Я присутствовала. Каждое полено тщательно рассматривалось, оглаживалось, откладывалось, сортировалось. Что-то шепталось, что-то обнюхивалось, некоторые поленья она крестила, некоторым угрожала. Дрова

сложной конструкцией укладывались в печку, образуя домик. Появлялась лучина, факелом пылала она в няниной руке и исчезала в домике из поленьев. Дрова занимались разом. На короткое время чугунная дверца закрывалась, и в печке начинало гудеть. Я приносила скамеечки. Когда печку открывали снова, все уже пылало и бушевало внутри нее. И возникало счастье…

Углом своего головного платка нянька вытирала рот, брала в руки кочергу и монотонно (без всяких просьб), как завороженная глядя в огонь, начинала бубнить: «В некоторым царстве, в некоторым государствии, жил да был царь Додон»…

Начало было всегда одинаковое, дальше же следовали никогда не повторяющиеся варианты. Додон был удивителен! Он жил в разных местах: то в райском саду, где на деревьях висели золотые яблоки, где майский жук сватался к стрекозе, а краса-девица была так мала ростом, что жила в хрустальном скворешнике. То Додон управлял государством, помещавшимся на семи китах, то заносило его в ледяной дворец и одеялом ему служила вьюга, а конем ветер. Там, в сказке, все было необыкновенно. Там лиса ходила, нарядившись простой бабой, там осиновый дрючок превращался в добра-молодца, ангелы летали, как птицы, луна разговаривала с солнцем, и, конечно, лились молочные реки в кисельных берегах и мчались тройки, запряженные ветром. Там все вертелось, все кружилось, все было наоборот, против жизни, все переменялось, увлекало, захватывало, удивляло, завораживало и расширяло детскую комнату и детскую жизнь.

Когда няня перехватывала спиртного, то с Додоном у нее устанавливались самые короткие отношения. Она говорила, что он ее свояк, что родом он из их деревни Непрядвы и что до девок был охоч. Он был ее героем. Она любила Додона и была с ним хорошо знакома…

Огонь в печке, Додон, его удивительная жизнь, его мир, так непохожий на наш, рассыпающиеся угли, бесконечная сказка, которая потухала только вместе с печкой, — все это было прекрасно…

Иногда няньку тянуло к реалистическим картинам. Она описывала свою деревню Непрядву, колдуна, живущего у них за околицей, и «кулаверш», которые сидели у него на заборе и все разом улыбались.

— Няня, а кто это такие кулаверши?

— Ну как же, Танечка? Кулаверша это и есть кулаверша!

— А какая она?

— Без ног, без рук — один хвост и голова.

— А как же, нянечка, они без рук, без ног — сидели на

заборе?

— Так и сидели посередь забора.

Нянька явно была недовольна моими глупыми вопросами. Вообще лучше было молчать. Молчать и слушать, прижимаясь к ее руке. Одна рука моя, в другой руке кочерга… И опять возникала сказка, опять царь Додон сражался со змеем-горынычем, побеждал неизвестного мне Ерехона («А Ерехон-то был уж такой пакостник, хуже нашей немки-фришки»). Потом Додон вдруг проглатывал весь свет и огонь, которые были на земле, и наступала кромешная тьма. Но не надолго, так как Додон обжирался блинов, его тошнило, и вместе с блинами из него вылетали свет и огонь. И снова на земле становилось светло, и люди сидели у печек.

В нянькиных сказках все было возможно…

Иногда обернешься невзначай или от страха и увидишь в дверях папу, он держит в руках пенсне и улыбается. Ему тоже было интересно слушать. Да что уж тут говорить — все было интересно!..

Совсем пьяная нянька не рассказывала сказок, а сидела на табуретке в кухне (куда я, конечно, пробиралась тайком от мамы и фрейлейн Аделины) и пела жалким тонким голосом только две песни. В одной слов не помню, но припев был странный:

Из-под Вилен, дон, дон, дон —
Четыре дощечки.

Что такое было Вилен, почему из-под них было четыре дощечки? Непонятно. Непонятно, но жалостно. И я няньку жалела. Другую песню помню хорошо:

За серебряной рекой, на златом песочке
Долго девы молодой я искал следочки.

Нянька пела «пясочки», «слядочки». Из глаз ее капали слезы, кухарка Лиза вздыхала и тоже вытирала слезы фартуком. Принималась реветь и я…

Иногда за длительное пьянство няньку рассчитывали. Она собирала вещи в большой узел и, всхлипывая, уходила «со двора». И тут у меня начиналась напряженнейшая работа: я принималась реветь. С утра до вечера, с вечера до ночи — до хрипоты, до повышенной температуры, до полного изнеможения. Утешить меня было нельзя — я все отрицала, всех ненавидела. Маму за то, что она выгнала няню, фрейлейн Аделину за ее глупые немецкие

сказки, которыми она пыталась меня утешить, Лизу за то, что она теперь топила печки. Ненавидела весь мир!

В своем горе я доходила до такой развязности, что с ревом врывалась к отцу в кабинет с требованием возврата няньки. Наконец няньку возвращали. Длительность ее отсутствия зависела от состояния моих голосовых связок. Няня истово клялась (в который раз!), что больше в рот не возьмет спиртного, и восстанавливалась в своих правах. Охрипшая и счастливая, я прижималась к ней.

Жизнь входила в свою колею. Опять трещала печка и в ней кипел огонь, опять Додон появлялся на моем горизонте, опять от няни пахло казенкой, опять она владела моей душой.

Удивительно, что при такой страстной любви к няне, я совсем не помню ее лица.

Хорошо помню ее руки — узловатые, жилистые, какие-то скрюченные, какие-то очень цепкие и корявые: по голове погладит — волосы выдерет, за ухо возьмет — как клещами сожмет, раздевает на ночь — так рванет лифчик, что пуговицы летят. Горячую кочергу никогда не прихватывала фартуком: брала голой рукой. Прекрасные нянины руки были как из железа.

На лице помню только рот, когда она держала в нем булавку, да и то это был не рот, а какая-то щель с морщинами по краям, и интересовала меня больше булавка, вернее половина сломанной английской булавки, которой нянька закалывала свой платок, когда мы шли на прогулку. А еще космы седых волос, выбившихся из-под платка. Вот и все, что сохранила память.

ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ

Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.

Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.

Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали — в виде девочки — на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», — надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила

ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.

Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.

Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.

Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.

В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.

— Хочешь, я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь реветь? — предлагал брат.

— Хочешь, превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)

— Посмотри, из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)

— Не плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты будешь Таня-воробушек.

— Расскажи заячью «просказку», — всхлипывающим шепотом требовала я.

И начиналась длинная история про зайцев…

Главным зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев — все они имели имена, я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли маленьким зайчатам в рот. У зайцев был

огород под нашим буфетом — они в нем разводили капусту.

Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы.

У зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…

В нашем с Володей чудесном заячьем мире на зеленых круглых лужайках цвели ромашки и одуванчики. Если зайцы вели себя плохо, все ромашки и одуванчики облетали, и лужайка становилась голой, скучной и некрасивой. Наши зайцы ездили на лошади, запряженной в большое корыто, в лес на елку (самая большая елка в лесу была вся украшена золотыми морковками и марципановой капустой).

Ездили они и в цирк (в качестве артистов) показывать свои заячьи фокусы и умение. Один номер приводил меня в восхищение и всегда заставлял смеяться. Дело-то было в том, что на трапециях зайцы раскачивались не на ногах и не на руках, а на ушах. Заяц-акробат подпрыгивал высоко к перекладине, и уши его сами завязывались узелком вокруг нее. И тут уж начиналось бешеное качание под куполом цирка на собственных ушах. Это зрелище вызывало у меня бурный смех, аплодисменты и требование бисировать…

Если у зайцев в их путешествиях на пути встречалась вода — какая-нибудь речка или, скажем там, океан — они спокойно пускались вплавь. Все они были прекрасные пловцы: рулем у них был хвостик, а парусами уши. Плавали они сидя: работали только длинными задними лапами, а в воде чувствовали себя так же прекрасно, как и на суше. Зайцы-мужчины, плавая, курили сигары, а зайцы-дамы брали в дорогу баночки с остатками варенья, которое вылизывали лапкой. Ложечкой они не пользовались, так как в воде ее легко можно было потерять, да и вкуснее было лазить в банку прямо пальцами. (Надо честно признаться, что в вылизывании посуды эти зайцы понимали толк!)

Боже мой, где только ни побывала эта компания зайцев! В прятки играли они в овсах, в салки в актовом зале Первой мужской гимназии, а в жмурки исключительно на луне. Там прохладно и сумерки, и не надо было завязывать глаза, так как два листочка сами слетали с лунного дерева и ложились на глаза

тому, кто водил. Лунные зайцы были во всем похожи на земных, если не считать того, что они были насквозь прозрачные. И если кто-нибудь из них без спросу брал из буфета конфету и ел ее, то конфета просвечивалась у них в животе. Капризы, неправда и фискалка тоже просвечивались в лунных зайцах, а веселье, доброта и хорошее знание немецкого языка зажигались на хвостике маленькой звездочкой.

Были у моего брата даже незатейливые стишки про зайцев, которые начинались так:

Таня с зайцами дружила,
«Трусь, трусь, трусь» им говорила…

Из этих стихов родилось мое детское имя. Вызывая из-под буфета зайцев на игру, я, не умея выговаривать букву «р», вместо «трусь, трусь, трусь» говорила «тусь-тусь-тусь». Так и приклеилось ко мне прозвище Туся.

Володины сказки оживляли предметы, меня окружающие, и делали их необыкновенными.

У Нининой чернильницы вырастали руки и ноги, а шишечка на ее крышке превращалась в голову. Закладки, сплющенные в Володиных книжках, стонали по ночам и жаловались на свою трудную жизнь. Папина настольная лампа под зеленым абажуром враждовала с корзинкой для бумаг, стоящей под письменным столом, и не желала светить на нее. Самовар был старшим над чашками и повелевал ими, а мои любимые зайцы выглядывали из всех углов и закоулков. Они улыбались мне, и на щеках у них были ямочки.

Володины сказки открывали иногда другие миры и страны, но чаще всего до них можно было дотронуться рукой. Они были рядом со мной: под буфетом, на книжных полках, в кипящем самоваре, в саду за окном детской, в реке и парке Оболенского. Володины и нянины сказки были разные. Брат делал добрую сказку из окружающей жизни — нянька врывалась, как ураган, в эту жизнь со своей сказкой. Она творила свой мир, дикий и ни на что не похожий.

Нянькин Додон не вмещался в комнату. Он вырывался из печки, крутился волчком, шипел, как уголь, брошенный в воду, гремел громом и снова исчезал в рыжем бешенстве огня.

Додон носился как оглашенный, он дрался, крушил все направо и налево, обжирался блинами, тошнился огнем, храпел — и из его храпа рождались табуны скачущих лошадей. Чихал — и вместе с чихом из него вылетали стрелы.

Додон был ветром, огнем, бурей, ураганом, обвалом в горах и

водопадом. Все в нем было новым и незнакомым.

Володины сказки были моим утешением.

Нянькины — ошеломлением.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Он вошел в мою детскую комнату, одетый в коричневый бархатный костюмчик с белым крахмальным воротничком, белые чулочки и белые башмачки. Белая челочка и белое личико. В руках он держал коробку, которую протягивал мне. Он открывал розовый ротик колечком, но ничего не мог произнести по малости лет или от стеснения — не знаю. Робея и немея, я приняла подарок. Мне было едва ли пять лет, а ему и того меньше, но, безусловно, он был моей первой любовью. Звали этого мальчика Ориком.

В коробке на зеленом, жестком, искусственном мху в специальных углублениях располагалось стадо барашков, там же был и пастух в высокой шапке с длинной палкой в руках. Была и сторожевая собака. Барашки были маленькие и беленькие, как сам мальчик Орик Мы начали играть в барашков. Впрочем, играл один Орик, а я смотрела и тихонько гладила его мягкий бархатный рукавчик. Я полюбила мальчика Орика… Во мне проснулась нежность к его курточке, к его кривым ножкам в белых чулочках, я уступила ему всех барашков и весь стол для игры. Мне все казалось, что кто-то придет и будет его обижать, а я готова была защищать его от всех зол мира…

Откуда, из какой «подземли» взялся этот Орик? Чей он был этот бархатный мальчик? Не знаю, не помню и спросить уже не у кого. Быть может, он еще живет и ходит по земле, плешивый и толстый, и совсем не похожий на барашка. Где он, что он? Может быть, он бандит или гадкий человек, куда прочнее стоящий на своих кривых ногах, чем я?..

Не помню и других встреч с этим Ориком. Помню только, что приходил он с няней, помню, что я думала о нем, ждала и любила его.

БОЛЕЗНЬ ОТЦА

Как это случилось, я не помню. Няня сказала мне, что барин (то есть папа) умирал ночью, что никто в доме не спал — ни мама, ни няня, ни Володя. И что Володя сказал маме в столовой, что он будет ей вместо папы. Нянька плакала от умиления, но мне было смешно и дико слушать — как это вдруг Володя может

быть папой? Это была чепуха. Я ничего не понимала. В ту тревожную ночь я крепко спала…

В первые дни болезни меня тоже, видимо, изолировали от всех волнений… Помню уже, когда болезнь отца стала бытом. Она захватила и подчинила себе весь дом…

В квартире тихо, шуметь нельзя. Доктор Лев Сергеевич Бородин — сутулый, красивый, с татарскими глазами и маленькой бородкой человек — каждый день подолгу сидит у нас, иногда ночует. Случается, что приходят сразу несколько докторов, их называют «консилиум». Они все равные — маленькие и большие, толстые и тонкие. Гуськом проходят они в кабинет, а я бегу в переднюю разглядывать их шубы — все на меху и неприятно, незнакомо пахнущие.

В доме тихо. Все делается бесшумно. Запах лекарств проникает даже в детскую. В столовой на выдвижной доске буфета постоянно горит синим пламенем спиртовка. На ней в металлическом ящичке кипятятся какие-то незнакомые блестящие вещички и иголки. Доктор Лев Сергеевич и мама по очереди колют папу этими иголками. Все в доме стало странным и незнакомым. Все заняты, но не мной. Старшая сестра Нина ходит зареванная и совсем не обижает меня.

В доме тихо: папа болен.

Папа болен, но мне не страшно, даже интересно.

Приехала из Юрьева бабушка. Привезла пуховое легкое одеяло и какую-то маленькую розовую атласную иконку. Просто розовая тряпочка, а на ней напечатана икона. Мама недоуменно показывала ее фрейлейн Аделине. Эту иконку надо было класть отцу под подушку, и тогда он быстро выздоровеет. Бабушка проверяла у мамы, лежит ли иконка под подушками. Мама говорила, что лежит, но я-то знала, что не там она лежит, а лежит она у мамы в комнате, в большом зеркальном шкафу, на третьей полке, в саше для носовых платков. Я это видела собственными глазами, когда мама доставала чистый носовой платок…

Бабушка, Мария Ивановна Луговская, была небольшая, рыхлая, седая старушка. На голове носила наколку из черных кружев. Была добрая, смешливая и слезливая. С собой из Юрьева она привезла диковинный медный кофейник, похожий на самовар, с двумя ручками, кран-тиком и с трубой, в которую Лиза подкладывала уголь из печки…

Бабушка вставала поздно. В широкой распашонке, с маленьким узелком седых волос на макушке (еще без наколки) она садилась одна перед своим кофейником в столовой и выпивала его весь целиком. Она доводила этот кофейник до такого состояния, что из него переставал литься кофий. Даже не

капал. Откушавши кофию, бабушка начинала морщить нос, давая понять, что она непрочь чихнуть. Тогда я, конечно находящаяся рядом, должна была быстро вынуть из бабушкиного ридикюля носовой платок и подать ей его со словами, которым она меня научила:

— Салфет вашей милости.

— Красота вашей чести, — важно отвечала бабушка.

— Любовью вас дарю, — говорю я выученную назубок фразу.

— Покорно вас благодарю. — И бабушка с наслаждением чихала.

Я тихонько повизгивала от восторга.

В кофепитии было что-то цирковое, а бабушка со своей лысоватой седой головой и двойным подбородком выступала в роли фокусника. Это было достойно уважения!

Няня тоже относилась заинтересованно к бабушкиному кофепитию. Впрочем, раздевая меня, она говорила восхищенно: «Сегодня утром, однава дыхнуть, старая барыня опять целый самовар кохию усидела».

С юрьевской бабушкой мы сошлись быстро. Первый раз в моей жизни, в нашем доме, у меня появилась подруга, равная мне по интересам. Мы ссорились с ней и мирились. Мы плакали с ней и смеялись. У нас иногда бывали даже небольшие драки. Бабушка научила меня играть в карты, в «пьяницу» и в «мельника», открыла во мне темперамент азартного игрока, и мы жарили с ней целыми днями в эти две игры. Когда выигрывала я, она обижалась, горько вздыхала и, приговаривая: «да что это за беда за этакая», принималась поспешно тасовать колоду, надеясь на реванш. Наигравшись в карты, она садилась к окну читать Нинины книги. Главным образом Чарскую. В нашем доме Чарскую не держали, но сестре Нине давали эти книжки ее гимназические подруги. Когда нужно было возвращать какую-нибудь очередную «Княжну Джаваху» или «Лизочкино счастье» и сестра отбирала книгу у бабушки, то та горько плакала и жаловалась маме, что ее обижают. Это было смешно даже мне…

Потихоньку смерть отступала от постели отца, появилась надежда на его выздоровление. Бабушка стала собираться обратно в Юрьев, где она жила у старшей дочери.

Бабушка уехала, а мы продолжали жить своей жизнью, где все зависело от состояния больного — его температуры, его пульса, его дыхания…

Папа лежал в кабинете на диване, под новым шелковым пуховым бабушкиным одеялом. Лежал на спине, двигаться ему было запрещено. Володя или мама читали ему вслух. Потом гимназический столяр Борис сделал наклонный столик-пюпитр,

который можно было ставить на постель. На этот столик клали книгу, он читал сам, а все по очереди (даже я) перелистывали страницы.

Много-много прошло времени, прежде чем отец смог сам листать страницы. Болел он около года (теперь это называется инфаркт, а раньше как-то по-другому).

Ему нельзя было шевелиться, а он был непослушный и непривычный к болезни, да и молодой еще — ему было только сорок лет. Около больного постоянно кто-нибудь дежурил, чаще всего мама. Но иногда днем, когда старшие брат и сестра были в гимназии, а маме надо было ехать в Охотный ряд за покупками, около отца она оставляла меня, потому что, как она говорила, папа меня слушался, а фрейлейн Аделину не слушался.

Мама отзывала меня к себе в комнату и строго спрашивала: «Таня, что ты будешь делать, если папе будет плохо?» И как хорошо заученный урок, я отвечала: «К ножкам горячую грелку, к ручкам горячую грелку, на сердце (вот сюда) холодную, и капельки из синего флакона, а фрейлейн Аделина должна бежать в гимназию и звонить по телефону доктору Льву Сергеевичу» (в квартире у нас телефона не было). — «Все правильно», — говорила мама и уезжала.

Мы оставались одни с папой в большом затемненном кабинете. Он был в моей власти, я была старшая над ним. Он лежал такой большой и грустный, беспомощный и зависимый от меня. Поверх одеяла лежали руки, какие-то голубые, веснушки на них выделялись особенно ясно. На правой руке обручальное кольцо… И голос совсем не его, и никакой строгости в нем и помину не было. Оставлять его в этом печальном виде было невозможно, надо было срочно что-то предпринимать.

Я была маленькая мерзавка и знала уже свою власть над отцом. «Лежи, — говорила я строго, — лежи и не двигайся». — «Мне скучно, Таня», — тихо отвечал он.

— Рассказать тебе что-нибудь, папа?

— Ну расскажи.

— Про что?

— Про что хочешь.

— Может быть, что-нибудь из священной истории? — спрашивала я светским голосом.

— Это было бы недурно, Таня.

В мутных, дымных серых глазах его пробегал голубой огонек. Клюнуло! И я, абсолютно владея собой, выходила на середину комнаты, принимала позу и начинала бубнить преподанную мне нянькой (с ее словечками) историю про Ноев ковчег:

— Ной был мужик с головой. Когда образовался потоп, он сел

на ковчег, взямши с собой семь пар видимых животных и семь пар невидимых животных…

Отец закрывал лицо газетой, но я видела, я видела, как под одеялом трясся его живот. Этот трясущийся живот заменял мне аплодисменты. Цель была достигнута — он перестал быть грустным.

Чтобы закрепить занятую позицию, я начинала читать стихи из «Светлячка»:

Сын нимфин на море купался
И вдруг чудовищ испугался.
Дитя им палкой угрожает,
Хвостом же слезки вытирает.

Я была уже большая девочка (мне было пять лет) и великолепно знала, что надо говорить не «сын нимфин», а «сын нимфы». Но чего не скажешь, каких нарушений не сделаешь, чтобы лишний раз увидеть шевелящиеся усы, прикрывающие улыбку, и трясущийся живот под одеялом. А главное, надо было рассеять, разогнать, выгнать из кабинета этот угар болезни и безнадежной безрадостности. Да, мама была права, я умела его развлекать! У меня была приготовлена целая программа: чтение стихов, рассказы из священной истории, пение и даже танцы…

Время проходило, а мама приходила, и я гордо удалялась из кабинета в детскую с полным сознанием своей необходимости не только родителям, но и всему человечеству.

САВРАСОВ

Надо сказать, что отец мой очень любил живопись. Он покупал иногда хорошие картины, и они висели на стенах в нашем доме.

Когда он был болен, я часто слышала, как они с мамой разговаривали про какого-то Саврасова.

— Мы купим Саврасова, — убежденно и восторженно говорила мама.

— Нет, Оленька, это очень дорого, — тихо говорил отец.

Что такое был этот Саврасов, я не могла понять, но он все чаще и чаще мелькал в разговоре старших.

И вот однажды, радостная, возбужденная и холодная от мороза, мама внеслась в детскую, обняла меня и зашептала мне в ухо: «Я купила папе Саврасова, я взяла деньги у дяди Сережи и купила папе Саврасова, он теперь будет смотреть на Саврасова и

поправится. Только пока не говори папе, что я купила ему Саврасова, мы сделаем ему сюрприз с Саврасовым!»

Веселая мама убежала, а я ничего не могла понять. Саврасов, Саврасов, С… с… с… — все шепотом. Что-то очень тихое, свистящее. Какое оно было, это — Саврасов? Что это было — Саврасов?..

Вскоре все выяснилось. Забегала прислуга, раскрыли вторую створку парадной двери, передняя наполнилась морозом, застучали чужие сапоги и двое рабочих, оставляя на паркетном полу кусочки тающего снега, внесли в гостиную огромный плоский ящик. Появился гимназический плотник Борис с лестницей. Он долго ковырял стену против двери папиного кабинета и вбил в нее длинный костыль. Ящик раскрыли, и Саврасов оказался большой картиной в золотой раме, которую повесили на стену. На ней была нарисована колокольня, талый снег и много птиц. Картина произвела на меня впечатление своей величиной. Такие большие были только в музее. Но все это оказалось чепухой по сравнению с тем, что произошло дальше. Дальше произошло что-то необыкновенно важное, сблизившее меня с отцом по-новому на всю нашу дальнейшую совместную жизнь…

Около дивана, на котором папа болел, поставили большое кресло. Как стеклянного, тихо и осторожно перевели его с дивана на кресло, накрыли ноги пледом и распахнули двери в гостиную. Прямо перед ним висела огромная картина под названием «Саврасов». Я стояла рядом с креслом, он обнял меня. Мама стояла с другой стороны.

— Оленька, — тихо сказал отец. — Оленька, — и поцеловал маме руку, а меня прижал к себе еще сильнее и прислонил свою голову к моей.

Мы смотрели вместе на эту колокольню, на этот тающий снег, на это серое небо с летающими птицами, которые никак не могли опуститься на деревья. Мы вместе слышали птичьи голоса, я вместе с папой смотрела на легкие облачка, на тающий снег и первые весенние лужи.

Он целовал маме руку, но меня-то он все крепче и крепче прижимал к себе. И я видела, я видела в первый и последний раз в жизни, как из-под пенсне у него выкатилась слеза и спряталась в усах. Мы были счастливы в этот момент тем высшим счастьем, которое так редко посещает нас в жизни!..

После появления в нашем доме Саврасова болезнь отца пошла на убыль, он стал выздоравливать.

МАКАРЛЫЧ И ХЛЕБНИКОВ

Когда отец поправился, но еще не мог иметь много уроков в гимназии, он начал ходить со мной по музеям.

— Одевайся, мы идем в Музеум, — говорил он мне.

И мы шли. Мы шли тихо и ровно, без скаканья, без катанья по обледенелым полоскам тротуара. Мы шли, держась за руки, и наши следы оставались за нами на снегу. Большие и маленькие, маленькие и большие, все в мелких зубчиках от резиновых подошв наших ботиков.

— Не оглядывайся, — говорил папа, — не смотри на наши следы, смотри вперед, на дома, учись видеть дома — они все разные.

Я училась видеть дома, они действительно все были разные. Особенно был хорош дом, в котором помещался Румянцевский музей. Именно в Румянцевском музее, в каком-то маленьком промежутке между огромными, холодными музейными залами с правой стороны на стене висела бархатная драпировка пыльного цвета. Отец отводил бархат в сторону и за ним возникала высокая дверь. Костяшками пальцев он с стучал в нее и тут же отворял, не дожидаясь ответа.

И сразу мы попадали в другой мир. В мир волшебный и необыкновенный.

Большая, очень длинная комната была вся заставлена и завалена картинами, рамами и старинной мебелью. Там было и огромное зеркало, но такое пыльное, что я с трудом могла различить в нем себя. Там были лампы и канделябры, кресла и столы, там со стен смотрели портреты. Но самое главное, что там было — это Марк Карлович Юхневич, реставратор картин и обладатель всех этих сокровищ. Я называла его Макарлыч.

Он выходил из глубины помещения, огромный, тонкий и согнутый, как удочка, на которую попалась рыба. Он стоял в луче солнца и вокруг его серебряной головы плясали и золотились пылинки. Прекрасные пятна разных красок украшали его блузу. Я твердо верила, что Макарлыч был волшебником.

— Кого я вижу! Маленькая дама пришла! — восклицал он, размахивая своими руками-крыльями.

Я делала ему глубокий реверанс, прихватив обеими руками юбочку, так как, по моему разумению, он был одним из самых главных людей на свете и безусловно заслуживал придворного реверенса.

— Танечка, не сопи, когда делаешь реверанс, не устраивай сквозняк, — тихо говорил мне папа. (Легко ему было говорить — не сопи, когда я выделывала правой ногой невероятную загогулину и приседала так низко, что стукалась коленкой об пол.) Хоть отец и насмешничал, но голос его был не строг —

скорее одобрителен. Волшебнику Макарлычу тоже, видимо, нравилось мое приседание, потому что он, выставляя ногу вперед, наклонялся и подметал правой рукой пол. Этот ритуал был неизменен. Нас никто не учил, мы сами с Макарлычем изобрели это «здоровывание».

Покончив с балетом, папа, волшебник и я двигались к окну, а там, у окна, ждало меня самое удивительное. Там были ящики и язычки с красками. Кисти и кисточки. Бутылки и флакончики. Там стояли мольберты с картинами. Там обязательно откуда-то из воздуха возникала плитка шоколада. Но не до шоколада мне было, он делался мягким и липким в моей руке. Обжора и лакомка — я забывала о нем. Открыв рот, я смотрела на чудеса и фокусы этого удивительного старика. Засучив манжеты, он брал в руки тампон, смачивал его каким-то лексиром из какого-то таинственного и безусловно заколдованного флакона — и этим волшебным тампоном гладил маленький участок на большой темной доске, стоящей на одном из его мольбертов; и тут было очень трудно удержаться от визга. Из пыльного, почти черного пространства, на котором ничего не было видно, вдруг ярко и неожиданно появлялась чья-то рука или глаз. А за глазом нос, рот старика или улыбка красавицы. Люди старые и молодые, деревья, стада, моря и парусники возникали на всех этих пыльных и черных досках. Это было настоящее колдовство, еще не виданное в жизни.

У стены стояли уже отмытые картины. Красавицы и кавалеры в париках, надушенные свежим лаком и лишенные тайны преображения, нравились мне меньше…

Поколдовав с картинами, Макарлыч садился в кресло и начинал разговаривать с папой, а мне было разрешено водить кисточкой по листу картона, тыча ее предварительно в странную, круглую доску, на которой лежали червячки незнакомой мне масляной краски. Однажды за этим занятием меня посетило такое высокое вдохновение, что папа привел меня домой измазанную до ушей масляной краской и шоколадом. Нам обоим влетело. После этого случая прекрасный Макарлыч, к сожалению, перестал давать мне краски и кисточку. Но мы с папой продолжали ходить в гости в Румянцевский музей к старику-волшебнику. К тому же у нас с ним завязалось другое дело.

Однажды, это было уже много месяцев спустя, отец пришел домой и быстро пронес в кабинет довольно большую, но легкую доску, завернутую в бумагу. Мама — за ним. Короткий разговор, дверь распахивается — я получаю шишку на лбу — и из кабинета выходит, нет, не выходит, а вылетает разгневанная, негодующая мама.

— Я не понимаю, Александр Федорович! — (Александр Федорович, а не Саша — это было уже серьезно!) — Я не понимаю, как ты можешь вносить в дом такую грязь и заразу! — неслось уже из передней. И снова — уже в гостиной:

— Это ужасно, немедленно выкинь эту гадость! У нас дети! Они могут заразиться!

Мама с растрепавшимся шиньоном кружила, как птица, по комнатам, восклицала, стонала, ломала руки; папа тихо сидел за письменным столом, а я подглядывала и пряталась, когда мамин голос возникал снова в кабинете, и сразу же ее стремительная тонкая фигура молнией проносилась мимо меня. Наконец мама осела где-то на другом конце квартиры, голос ее затих, и отец негромко позвал: Таня!

Я вошла быстрее, чем было нужно. Он сидел в кресле и держал перед собой обеими руками грязную и порванную в нескольких местах картину. Глаза у него были веселые, под усами пряталась улыбка.

— Таня, иди сюда скорее, смотри, что я купил. Это Левицкий, портрет генерала Петра Кирилловича Хлебникова. Ты понимаешь, что это Левицкий!!! Помнишь, мы с тобой смотрели Левицкого в Третьяковской галерее?

Да, я помнила Левицкого в Третьяковской галерее. Я помнила красивую девушку в кокошнике не то с караваем хлеба, не то с кружкой в руках. Но на этой картине была нарисована не девушка, а человек в седом парике с необыкновенными глазами, одной щеки у него не было, вернее, она была, но оказалась оторванной от лица. Он ранен, догадалась я. Вторая рана была на мундире. Глаза генерала смотрели внимательно и настойчиво. Куда бы я ни вставала, эти глаза смотрели на меня неотрывно…

Я сразу полюбила раненного генерала Хлебникова.

— Его надо лечить, — посоветовала я.

— Обязательно надо, — сказал отец, — мы отнесем его к Макарлычу Юхневичу, и он его вылечит, он его реставрирует. (Тут я узнала, что реставрировать и лечить одно и то же.)

— Мама сердится, она говорит, что он грязный, она, наверно, плачет, — тихо сказала я.

И отец ответил так же тихо:

— Она не будет сердиться, когда Юхневич его вылечит и починит…

Мы шептались в кабинете, мы были в заговоре, мы понимали друг друга. Генерал смотрел на нас с насмешкой и надеждой. Кружево золотилось у него на груди, и зеленый с красными отворотами мундир был красив, несмотря на дыры и грязь.

— Завтра же пойдем к Юхневичу, — сказал отец и поцеловал

меня в лоб. Он очень редко целовал меня. Не давал шлепков, но и не целовал. И я поняла, что мы никогда бы не смогли так шептаться и понимать друг друга, если бы до этого не смотрели вместе Саврасова…

И началась наша новая жизнь с генералом Хлебниковым, которого мы ходили навещать к Макарлычу в Румянцевский музей. Уже зашились его раны, загрунтовался осыпавшийся холст, и наш друг, волшебник и кудесник Юхневич, соединил его оторванную щеку с лицом. Прекрасный, помолодевший и повеселевший генерал Хлебников был принесен домой и повешен в кабинете на радость всем. Особенно радовалась ему мама. Она даже просила у него прощения за то, что не хотела принять его в дом, когда он был так грязен и несчастен.

Он и сейчас висит в нашем доме, в кабинете моего мужа, и улыбается неуловимой улыбкой XVIII века, которая возникает и кончается где-то в уголках его губ. Глаза его стали насмешливей за эти годы, но я знаю, что он добр, что он любит нас и приносит нам счастье.

МАМА

…Очень хочется вспомнить маму. Она любила больных. Если в доме кто-нибудь заболевал, ее руки моментально устраивали все так чисто, красиво и удобно, что сразу и мне хотелось болеть.

Болезни детства — это целый мир, состоящий из снов, звуков, видений, жара, холода и мамы.

Чаще всего они назывались инфлюэнцей (только раз скарлатина).

Приходил добрый доктор Бородин, появлялись пахнущие анисом капли датского короля и такие чудесные, блестящие, с красивыми картинками аптечные коробочки с порошками и клюквенный морс в розовой фарфоровой кружечке. И мама…

Жаром дышит печка в ногах кровати, и жар болезни иголочками пробегает по спине. А в голове что-то жужжит и рвется, и опять начинает жужжать жалобно и тонко, как муха в паутине, а сама паутина почему-то заползает в горло и мешает дышать и глотать. И сонь, и слабость. Что-то растягивается, растекается, куда-то летишь.

Я уже не дома, не в постели, не в детской… Но почему все твердое кругом? Твердая, голубоватая, прозрачная бесконечность окружает меня. В этой светящейся голубоватым светом твердости вырублено узкое пространство, в котором я едва могу поместиться. Я в голубом, прозрачном, небесном гробу! Он длинный — не видно конца. Выхода нет и воздуха нет. Мне надо

куда-то двигаться. Не то плыть, не то лететь. Мне узко, мне тяжко. И этот слепящий, незнакомый, неестественный свет кругом ужасен! Но самое большое страдание — это стон: вибрирующий, тонкий, неземной, он возникает, едва я касаюсь этой небесной тверди, окружающей меня со всех сторон. Стон усиливается и дрожит, он мучит и угнетает. Я погибаю от звука, который сама создаю прикасанием своим к похожему на сплав голубого стекла небу. Пространство сужается. У меня уж нет сил не задевать этих стен небесных, этого потолка небесного, этого пола небесного. Звучание звона-стона невыносимо. Я погибаю. Конец мне… И вдруг чьи-то невидимые, но ощутимые руки обнимают меня и выносят из этого твердого, стонущего, прозрачного ада. Звук — стон обрывается… Все ушло… Голубой свет меркнет, от него остались только жилки, они текут, как ручейки, и я их когда-то видела на чьих-то руках. Эти руки обнимают меня и гладят. И снова я оказываюсь в детской, в своей постели. И опять эта муха жужжит в голове, а может быть в печке? Сколько времени прошло — час или неделя?..

Лампа опущена низко и закрыта платком, и в этой полутьме не видно маму, но она здесь, я это знаю, я это чувствую. Она тут, и долго еще будет сторожить меня и класть на мой лоб свою прохладную руку и стирать тряпочкой, смоченной в уксусе, с моей головы этих нахальных мух и пауков, танцующих, стучащих и жужжащих так невыносимо. Мама тут и никуда не уйдет, ни днем, ни ночью, пока не кончит топиться эта печка в моей голове.

А когда дело пойдет на поправку, именно она принесет мне чашку куриного бульона с сухариками, будет гладить мои слипшиеся волосы и говорить, что скоро мне завяжут бант и поведут в цирк…

Прекрасные болезни детства и отвратительные болезни старости — как они не похожи друг на друга. Ничего не было страшно в детстве, потому что была мама — прибежище от всех зол, защита от всех обид и успокоение от всех печалей мира. Такая надежная, сильная и прочная, она всегда была на месте.

Только один раз в детстве я видела ее слабой и беспомощной.

Однажды, совсем маленькой девочкой, я вбежала к ней в комнату с каким-то радостным известием, со всего размаху уткнулась в ее коленки и сразу погрузилась в душную, уютную темноту.

Надо мной сомкнулись ее руки и жалобный, всхлипывающий, не мамин голос сказал:

— Танечка, я прошу тебя, пожалуйста, переживи меня — ни папа, ни Володя, ни Нина не соглашаются похоронить меня — я прошу тебя, деточка, согласись умереть после меня.

И я ее утешила. Я с радостью согласилась пережить ее (чего мне это стоило в пять-то лет!).

И она успокоилась и благодарила меня, и перестала плакать.

Вот тогда я тоже была для мамы защитой, но это так мало — за все детство всего один раз…

Чаще всего она была веселая, сильная и озорная красавица.

Вот она, нарядная и надушенная, с видом победителя открывает обе половинки двери в гостиную, где вся в огнях и игрушках, выросшая до самого потолка стоит елка. И мама как бы открывает праздник, объявляет его открытым…

Или она одевается, чтобы ехать в концерт, и Маня затягивает на ней красивый розовый корсет, а она заложила руки за голову и даже не может обнять меня, прибежавшую полюбоваться на ее наряд, потому что ей нужно быть тоньше и красивее, ведь она едет в концерт и будет там петь…

Мама считала красоту самой большой ценностью. Деньгам она не придавала никакого значения.

Бывало, вбежит к отцу в кабинет, откроет правую тумбу письменного стола и, сощурив свой лукавый глаз, запустит руку в семейную кассу, помещавшуюся в шкатулке из карельской березы, да и выгребет из нее все, что там есть: все последние серебряные денежки (а до получения новых еще не так-то скоро) — и сразу устраивает пир, посылает няню в кондитерскую и носится по всей квартире и радуется, что так весело истратила эти копейки. А уж как она потом выкручивалась, нам было неизвестно. Эти чаепития с пирожными она называла «поставить ребром последнюю копейку». Ставить ребром последнюю копейку всегда было безрассудное, но большое удовольствие. Если забежать вперед, то я вспоминаю, что с такой же радостью и хохотом и без всякой трагедии, во время голода в 1918 году, она выменивала на продукты свои колечки и сережки, не только не жалея их, но даже удивленно радуясь, что их можно было съесть.

— Вот как хорошо, — говорила она, приехав из подмосковной деревни. — Вот как хорошо, что я любила кольца, подумайте, как они нам пригодились! Вот уж никогда не думала, что их можно так хорошо обменять на муку. — И ликуя, начинала печь лепешки, прибавляя в обмененную муку перемолотые картофельные очистки.

…Из нас, детей, она, по-моему, любила больше всех брата. Она никогда не признавалась в этом, но мне кажется, что это было так.

Они были похожи и все понимали друг про друга.

Если ссорились, то мирились через пять минут, наполненные новой волной любви и необходимости друг в друге. Брат не мог

прожить без матери и никогда с ней не разъезжался. Мало кто знает, как мучительно тяжело он пережил ее болезнь и смерть, а произошло это уже во время войны, в Ташкенте.

Теперь, когда я старше их обоих, теперь, когда их уже нет на свете, я уверенно утверждаю, что мать была самой большой любовью в жизни моего брата.

Мама была переменчивая — красивая и дурнушка, добрая и сердитая, веселая и грустная. Слабая в мелочах и сильная в трудностях, но самая главная — это, конечно, поющая мама (по всем поводам жизни). Мне кажется, что ей легче было выразить себя пением, чем словами.

Хорошо запомнилась мама, поющая при гостях, на музыкальных вечерах, которые бывали в моем детстве у нас дома.

Ей тогда аккомпанировала ее подруга Вера Ивановна Троицкая. Мама стоит около фортепьяно, молодая и статная. И такие удивительные звуки начинают заполнять нашу гостиную — высокие, как у птицы, и низкие, завораживающие, бархатные. И все слушают с закрытыми глазами. И лица у всех светлые, как под солнцем. А когда она замолкнет, то долго бывает тихо, только слышно, как она листает ноты, отыскивая, что ей нужно. А потом сразу, как прорвавшаяся плотина, все в один голос: «Еще, еще, пожалуйста, еще!» А если выйти в переднюю, то там и Лиза, и няня, и прибежавшая помогать соседская горничная, забыв про ужин и гостей, стоят и плачут…

Все подчинялись ее пению, нельзя было вырваться из его плена. Оно заставляло плакать и ликовать…

Сидишь где-нибудь в уголке и слушаешь, а она вдруг начнет забираться на такую высоту, что дух захватывает, и постепенно, все закругляя и углубляя звук, спустится вниз. И волна счастья заливает тебя с головой, и все думаешь: «Как хорошо, что я тут сижу и все это слышу и что мама так повелевает и владеет всеми, без крика и угроз, одним только голосом и музыкой!»

И, кажется, прикажи она всем этим людям, которые ее слушают, сделать то, что она хочет, и они все так и сделают — только бы она пела.

НАША НИНА

Старшая сестра Нина была загадочная фигура. В ней было все наоборот, чем у меня. Больше всего поражала ее длинная и толстая (толщиной в мою руку) русая коса, тогда как у меня вместо волос на голове росла какая-то чахлая белая трава, подстриженная, как тогда называли, «пажиком». С большим трудом фрейлейн удавалось захватить в руку пучочек этой травы

и завязать мне бант на макушке. Волосы над бантом тут же распадались фонтанчиком. Эту прическу я называла «пальмой» и очень ею гордилась. Но недолго удавалось мне покрасоваться: волосы мои были такие тонкие, мягкие и жиденькие, что бант не держался на голове. И подхватив его с полу рукой, я снова начинала канючить, чтобы мне сделали новую пальму. Между тем у нашей Нины заплетенная утром коса ровной блестящей змеей лежала вдоль спины и была такая длинная, что она могла на нее садиться. Вторым моим удивлением, возводящим Нину в какой-то другой, высший ряд девочек, было пристрастие сестры к уксусу. Она любила уксус больше, чем конфеты. Непостижимо!..

Мама говорила, что Нина положительная девочка, а папа говорил, что с Ниной поедет хоть на край света. А все наши знакомые в один голос твердили: «Ваша Нина будет красавица». Но наша Нина совершенно не понимала, что она будет красавица…

Конопатая, рыженькая Маня рассказывала, что за ледяной горой на Красном дворе гимназист старшего класса хотел угостить возвращавшуюся из гимназии Нину пирожным. А наша Нина заревела и убежала домой, не взяв пирожное. Конечно, реветь было всегда приятно, но как можно бежать домой, не прихватив пирожного? Необъяснимо!

Да, в нашей Нине было много загадочного. У нее, например, никогда не было грязных рук и пятен на платье. Ее тетрадки были так чисты и аккуратны, что их можно было вешать на стену, как картины. Все ее вещички и безделушки лежали каждая на своем месте. К тому же она играла на рояле, как взрослая, и у нее была большая папка для нот, украшенная двумя шелковыми ручками и красивой золотой лирой. Даже почерк у Нины был особенный, не такой как у папы, мамы или Володи — с наклоном в правую сторону, а наоборот — все строчки у Нины склонялись влево. И буквы были не круглые, а острые.

И еще одна подробность: в столовой на столе, под скатертью, лежало сукно, а под этим сукном похвальные листы брата и сестры. Мама показывала мне их, когда меняли скатерть. Конечно, Нинины похвальные листы (их было два) не были так красивы, как Володины. На Володиных вились цветные ленты, сияли золотые завитушки, и среди этих украшений в больших овалах помещались царь и царица, а внизу еще много всяких портретов, цветов и бантов. А сами листы блестели так, словно были намазаны клеем. Похвальные листы Нины были скромнее, на них были только золотые и черные буквы: царей, завитушек и лент, всего этого, к сожалению, на них не было. Но ведь Нина была девочкой, да и училась она не в Первой Московской

казенной мужской гимназии, а в частной французской гимназии Констан. Мама говорила, что это надо понимать. Я старалась это понимать: конечно, ведь не у всякой девочки в столовой под скатертью лежали похвальные листы.

Еще наша красавица Нина была очень смешлива и доверчива. Мы сидели с ней на противоположных сторонах обеденного стола. Она рядом с Володей, а я — с фрейлейн. Нина приходилась против меня. Мне часто удавалось, загородившись рукой от старших, подмигнуть ей или сделать свинячью рожу, и она всегда фыркала и тут же получала замечание. А свои свинячьи рожи я умела так быстро смыть с лица, что никто не понимал даже, почему фыркала наша Нина.

Няня говорила: «Наша Нина в девках не засидится, ее минтом посватают». Потом тяжело вздыхала и, разрушая своей корявой рукой пальму на моей голове, печатала: «А тебе, Танечка, быть за вдовцом, у тебя постанов такой — ты спишь, окунувши нос в подушку».

НАШ ВОЛОДЯ

Если про сестру Нину все говорили, что она будет красавица, про меня, что я Орала-мученица, то про Володю все знакомые в один голос заявляли: «Ваш Володя хотя и трудный, но незаурядный мальчик». Наш Володя, наверное, таким и был — трудным и незаурядным.

Я стала замечать его, когда ему уже было лет 12–13. Он подрастал как-то странно. Скачками. Несоразмерно.

Сначала у него страшно выросли ноги. Потом голова за одно лето сделалась такая большая, что новая, купленная весной фуражка осенью уже не налезала на его голову и пришлось покупать ему другую. Потом и сам он к 14 годам так вырос, что когда мы все трое заболели скарлатиной и нас отправили в детскую клинику (в связи с тем, что мы жили при гимназии и могли распространить заразу), то там, в клинике, не нашлось кровати по Володиному росту. Пришлось родителям покупать большую новую кровать и дарить ее потом больнице на память.

Только-только у Володи сравнялись руки, ноги, голова и рост, и казалось, что маме уже можно вздохнуть спокойно, как вдруг у него отрос нос! Вместо хорошенького и небольшого нос его стал огромный и круглый.

Дальше больше, и как только нос вернулся на свое старое место, дали знать о себе волосы: они стали жесткими и начали торчать во все стороны (именно в тот момент, когда брату уже можно было ходить с пробором). Все в нем росло наперегонки и

вразнобой, а глаза остановились на месте и отказывались увеличиваться. Ну, что тут будешь делать! Просто сладу не было с этим трудным мальчиком! Одно, пожалуй, оставалось неизменным на Володином лице — это брови, да и то, конечно, они менялись, — но не так заметно, как другие черты.

Потом вдруг, в один прекрасный год глаза у Володи увеличились, волосы снова стали мягкими, руки, ноги, голова, рот и нос уравновесились, все встало на место, и он сразу сделался стройным, высоким и даже, как говорили, красивым юношей. Но все это было позже. А до семнадцати лет он был нехорош, прямо скажу, не хорош собой.

Правда, еще с четырнадцати лет «наш трудный, но незаурядный» Володя умел показывать фокус со своей физиономией. Он подходил к зеркалу, тянул за какую-то невидимую ниточку свое лицо, и оно становилось другим: брови свирепо сдвигались и закрывали глаза, невидимые глаза должны были подозреваться злыми, рот ужимался внутрь, нос горбился, и на переносице выступал хрящик. И сразу из милого, доброго Володи он становился грозным человеком. Мы с сестрой этот вид его лица называли «Володя натягивает нос». А мама говорила: «Володя ранимый мальчик, он даже придумал себе лицо для защиты от плохих людей».

Наверно и правда, наш Володя нуждался в защитном свирепом лице, потому что был беззлобным мальчиком. Пользуясь мягкостью брата и любовью ко мне (была вредная девчонка) я вечно донимала его и фискалила маме. Утром, когда он умывался, я смотрела в щелочку и тут же на всю квартиру начинала истошно орать: «М-а-м-а, Володя опять не мыл шею» или — если шея мылась — «М-а-м-а, Вовка не мылил уши». Володю хватали, совали под кран, и мама с Аделиной заново мылили его. Он отбивался, говорил, что опаздывает в гимназию и что мыться — это не мужское дело, но все равно его мылили и обливали водой. Я скакала тут же в восторге, как мячик, а Володя показывал мне кулак, но никогда не пускал его в ход. Да, конечно, наш Володя был добрый мальчик. Это безусловно!..

Однажды мы с няней наблюдали, как Володя играет в крокет с другими гимназистами. Володя играл удачно, быстро вышел в разбойники и мог начать закалывать всех подряд. Но он почему-то не стал никого закалывать, а нарочно (я же видела, что нарочно!) закололся сам, вышел из игры и ушел домой читать. Мы с няней даже подпрыгнули на лавочке от возмущения. Потом я слышала, как Андрюша Лобанов, которого он не заколол, сказал: «Володя Луговской великодушный человек». А Шура Парусников сказал: «Володя Луговской не может быть

разбойником!..»

Дома я стала приставать к брату:

— Володь, а Володь, что такое значит великодушный?

— Великодушный значит великая душа.

— Володь, а Володь, а у тебя великая душа?

— Отстань, не знаю.

— Володь, а Володь, а что такое душа?

— Душа — это ум и доброта.

— Володь, а Володь, а у меня есть ум и доброта?

— Нет ни того, ни другого.

Трудно, конечно, было жить без ума и без доброты. Трудно, но приходилось мириться с этим…

Наш Володя больше любил читать, чем драться. Но уж если приходилось ему вступать в драку, то так лупил товарищей — был сильный, — что их родители приходили к нашему папе жаловаться. Да и сам он являлся после драки домой окровавленный, а няня прятала его в кухню и смывала с него кровь перекисью водорода, которую всегда держала для этого случая на полочке за иконой. Но драки бывали редко, чаще всего брат сидел у себя в комнате и читал. Читал он совсем по-другому, чем папа. Папа сидел в кресле или за письменным столом, красиво держал книгу в руке и внимательно водил глазами по страницам, а Володя почему-то во время чтения подгибал одну ногу под себя, а рукой делал какие-то странные и смешные жесты. То вроде угрожал кому-то кулаком, то качал рукой, будто бы взвешивая своей пятерней невидимый мяч, то рисовал в воздухе извилистые волны. Очень было интересно подглядывать за ним во время его чтения, что мы с сестрой и делали частенько. Смотрим, толкаем друг друга, хихикаем, а он, как глухой: ничего не слышит. Он даже не слышал, когда его кликали. Я читать еще не умела и думала, что книжки его очень интересные, потому он ничего не слышит, но сестра Нина пожимала плечами и говорила, что она смотрела Володины книжки и что они совсем не интересные.

Однажды, когда родителей не было дома, мы с Ниной придумали одну штуку: взяли мамин пульверизатор с душистой водой и через дверную щелку начали прыскать ею на брата. Он очнулся только тогда, когда душистая вода полилась ему за шиворот, а то сидел, как истукан, и ничего не чувствовал, хотя по всей квартире уже давно пахло, как в саду…

Когда Володе исполнилось 14 лет, он вдруг заявил, что больше не хочет заниматься музыкой. Это сообщение огорчило маму, так как наш Володя обладал прекрасным слухом, хорошо пел и играл на рояле уже довольно прилично. Уговоры ни к чему

не привели. Наконец мама затребовала у него расписку с отречением от музыки, чтобы он никогда не винил родителей в том, что они его не учили. Расписку он дал, и занятия музыкой прекратились.

Но на этом дело не кончилось. Прошло какое-то время — после отречения от музыки — и наш трудный, но незаурядный Володя выступил с новым, на этот раз письменным заявлением, более угрожающим, чем первое.

— В связи с тем, что я решил посвятить свою жизнь службе на флоте, — провозгласил он, — я должен изучать английский язык, так как он является международным языком моряков…

Подумайте только — наш неуклюжий Володя и вдруг моряк!

Было проведено заседание у папы в кабинете, на которое затребовали и Володю. Меня не позвали, но из столовой все было хорошо слышно, особенно если приложить ухо к двери.

Брат на заседании держался стойко и не желал свернуть с намеченной дороги. На флот! Только на флот и никуда больше! И точка!

Спорить не стали, это было не в правилах отца. Он просто сказал, что учить английский язык неплохо, но в связи с тем, что нас уже учат немецкому и французскому, третий язык потребует новых затрат. И Володе, если он хочет учить английский и действительно готовит себя к морской службе, необходимо взять уроки, точнее репетировать гимназистов младших классов. Тем более что морская служба требует самостоятельности, а он уже большой…

Мама потом говорила, что она пережила трагически это решение отца. Ей было страшно неудобно, что сын обеспеченного преподавателя и инспектора Первой гимназии вдруг будет бегать по урокам, хотя всем было ясно, что Володя может заработать разве что одну четвертую часть той суммы, которую надо платить англичанину. Но папа был непреклонен, и Володя стал важно ходить на занятия с маленьким гимназистом Мишей Абрамовым и еще к кому-то другому. А в нашем доме два раза в неделю стал появляться англичанин в котелке и белом кашне, а на трости у него был круглый набалдашник из слоновой кости. После занятий дома англичанин и наш моряк, громко разговаривая по-английски, одевались и степенно отправлялись на прогулку. И нашему Володе не доставало только тросточки и котелка, чтобы быть как две капли воды похожим на своего англичанина.

На письменном столе у брата появились купленные на заработанные им деньги узкие и длинные альбомы с кораблями — на русском и английском языках. К нему стали приходить товарищи, которые зачарованно слушали объяснения Володи про

разные корабли и морские сражения. И вообще про войну, которая уже шла. Сводки с фронта жадно читались у нас в доме, и только мы с Ниной совсем не интересовались ими…

«Я УМРУ, И МЕНЯ НЕ БУДЕТ»

От какой-то болезни умерла Леля Коновалова, дочка гимназического священника. Это была девочка значительно старше, во-вторых, она уверяла, что дети заводятся в животе, и это сообщение не нравилось моей маме… Я плохо помню ее: немного неряшливая, какие-то значительные всезнающие глаза, хоронила птичек и бабочек в углу сада — и вдруг умерла.

Нас повели днем в гимназическую церковь проститься с ней.

Близко меня не подводили. Было немного страшновато. Большой голубой куклой Леля лежала в гробу, ее отец читал что-то перед аналоем рыдающим голосом. Мне не было ни интересно, ни трогательно, мне хотелось скорее уйти на улицу, в сад. Я обратила внимание, что Люся Сироткина (которая была еще младше, чем я) пришла за ручку с мамой и тетей, и ее белое платьице было подпоясано широкой черной муаровой лентой с большим бантом сзади. У меня не было такого траурного кушака, и это было обидно. Помню еще холод и окостенелость церкви и теплую ласковость улицы. Была весна, деревья уже зеленели, в саду было так хорошо и радостно, и если бы не Люсин черный кушак, то я была бы совсем спокойна.

Вскоре мы уехали в Оболенское и все окончательно забылось…

А осенью было даже лучше без Лели во дворе — она из всего делала какие-то тайны и заговоры и отстраняла младших от шептания. Но, в общем-то, я забыла Лелю Коновалову. Единственно, что болезненно и странно иногда напоминало мертвую Лелю, это какой-то особенный, необычный оттенок голубого цвета. Он почти не встречался в моей жизни, но иногда мелькал в тенях на белой скатерти или в складках белого передника горничной. И сразу становилось как-то холодно и неуютно и хотелось выскочить на солнышко…

Была зима (мне было лет шесть), тревожное и радостное ожидание владело мной, так как должны быть «большие гости» и мама уехала в Охотный ряд за покупками и ей уже было время возвращаться… И вдруг ликующий мамин звонок пролетает по всей квартире, он звенит во всех ее закоулках, он наполнен счастьем и чудесными неожиданностями. И я бегом — в переднюю. А она уже тут, и извозчик вносит за ней свертки и

корзинки. Мама поднимает вуалетку над большим ртом, чтобы поцеловать меня, от нее пахнет зимой, и снежинки тают на ее короткой шубке. Боже мой, какое преддверие счастья!

Все привезенное несут в кухню, все нагружены покупками. Мне тоже можно идти со всеми вместе, и у меня в руках какой-то пакет.

Весь стол, все табуретки завалены привезенной провизией. Масса интересного! Шпроты в плетеных лубяных корзиночках, рябчики — такие бедные и убитые, рыжики в маленькой игрушечной кадушечке, печенье, которое будет распухать в молоке и превращаться в мягкие цветы; похожие на поленья, мороженные судаки, но главное и самое прекрасное — моя страсть и любовь — это красная икра в большой железной банке!

И тут началось нарушение всех норм. Полный разгул — потому что мама мажет белый хлеб маслом, потом икрой (я глотаю слюни), берет маленькую тарелочку, кладет на нее бутерброд. (Боже мой, как томительно ожидание!) и, вопреки всем установленным правилам, говорит: «Таня, можешь пойти в столовую, сесть за стол и съесть этот бутерброд». Это первый раз в моей жизни, чтобы перед обедом, и чтобы одной в столовой, и чтобы икра, а не рыбий жир.

И я иду и несу перед собой свое счастье, сосредоточенное в красном, бугристом, необыкновенном ломте. Я буду одна в столовой и, конечно, я не буду есть хлеб. Я буду слизывать языком каждую икринку отдельно, прижимать язык к нёбу и давить там эти сладостные красные пузырики. И это счастье будет бесконечным…

В столовой все залито солнцем, и бисерная бахрома на абажуре переливается зеленым и красным. Снегирь завистливо смотрит на меня из клетки, а маятник солнечным зайчиком мелькает за стеклом часов. И как велик стол, накрытый белой крахмальной скатертью, оттого, что за ним буду сидеть только я одна! Я могу сесть на любое место. Я выбираю. На папино? Нет, это спиной к окну, и я не увижу снега. Конечно — на мамино, какие могут быть сомнения!

Сажусь, и солнце ударяет мне в лицо. Скатерть под руками живая и теплая, косой снег кружевной сверкающей занавеской пролетает за окном. И на белом фоне стола мое красное блаженство: бутерброд с икрой! Недостающие до пола ноги скрючены от ожидания наслаждения. Напряженная тишина и полное счастье — Я СЛИЗЫВАЮ ПЕРВУЮ ИКРИНКУ!..

Все остановилось… Маятник замер… Снег перестал кружиться… Солнце перестало греть… Снегирь застыл в клетке… Ужасная мысль сковала меня, и я не дышу и не давлю языком

икринку, я не радуюсь тому, что сижу на мамином месте в столовой. Теплый стол превратился в голубоватую снежную пустыню, не имеющую никакого отношения к нашему дому и к нашей семье. Мне холодно, мне ужасно! Я вдруг поняла, что умру и меня не будет… Сколько я просидела одна в обледенелой столовой, съела ли я икру и что было потом, я уже не помню. Знаю только, что этот холод, этот ужас, эта скованность мучили меня долго — и я не могла, не смела никому про это рассказать.

Днем страха не существовало. Но вечером, когда няня, раздев меня и рассказав что-нибудь интересное, уходила, и мама, подоткнув под все углы одеяло и поцеловав меня, тоже уходила, и все было так хорошо — «ОНО» начинало тихо шевелиться во мне.

В детской было не страшно и не темно: свет проникал с улицы от фонаря через окно и из-под двери, которая вела в столовую, и лампадка мерцала маленькой звездочкой, и печка дышала жаром, и я почти засыпала. Все было так покойно и уютно. Но недолго, потому что я знала, что «ОНО» придет — это холодное, неподвижное, бесконечное и конечное, которое называлось: «я умру, и меня не будет». Эта мысль измучивала и отравляла меня. Не было сил преодолеть самой и не было смелости рассказать об этом старшим. После нянькиной «казенки» в моей детской жизни появилась вторая тайна…

Мука эта вошла в привычку, и страх постепенно переставал уже охватывать меня своим леденящим холодом. И вот настал вечер, когда я сама себе ответила на этот ужасный вопрос. Я сказала себе: «Ну и что? Тут нет ничего страшного, все это обыкновенно», — легла носом в подушку и уснула.

Я сама, одна, преодолела свой страх и ужас перед небытием.

ВРАНЬЕ И ВЫДУМЫВАНИЕ

На улице снег и солнце. Гора на красном дворе словно сделана из сахара, а политый водой и застывший скат ее, как стеклянный. А когда лезешь на гору, снег так и хрустит, так и поет под ногами.

Мы вдоволь нагулялись с фрейлейн Аделиной. Сегодня нам разрешили взять Нинины шведские санки, а не мои на высоких полозьях с ватным красным сиденьем, обшитым помпончиками. Уж как они мне надоели, эти дурацкие санки с помпончиками, и неужели никто не понимает, что с них можно упасть даже на ровном месте, а уж с ледяной-то горы совсем нельзя на них кататься! А на Нининых шведских мы садились вдвоем с Аделиной: я спереди, а она сзади. Мои ноги на передке санок, ее на полозьях. Веревка в ее руках. Толчок — ррраз — только

снежные искры летят, и мы уже внизу, на раскате. Мы много раз лазили вверх по сахарным ступеням на гору, и много раз скатывались вниз, и совсем не падали.

Радость этого катания была немножко омрачена тем, что Володя, бежавший за чем-то во время большой перемены домой, даже не посчитался с тем, что я сижу на Нининых шведских санках, и ущипнул меня за щеку. Да к тому же еще сказал, что за обедом на третье подадут рыбий жир. Я, правда, в суматохе катания забыла об этом. Но, возвратившись с ослепительно сиявшего двора в сумрачную переднюю и раздеваясь в ней, сразу вспомнила, как все девочки фыркнули, когда он щипался за щеку, и решила, что наступило самое подходящее время для хныканья и жалоб…

Мама сидела у окна в своей комнате и что-то шила. Ей нездоровилось, на плечах у нее был накинут пуховый платок, а ее милое наклоненное лицо было освещено солнцем. Задержавшись в дверях и набравшись свежих сил, я взвыла: «М-а-м-а, меня обидели! Вовка щипался за щеку и сказал, что на третье будет рыбий жир. Правда ведь, он все врет?»

Мама опускает работу на колени. Она поднимает голову, и солнце сползает с ее лица. Брови ее поднимаются. Они ползут все выше и выше по лбу (это дурной знак). Вот они поместились уже совсем около волос, и из-под них недобро смотрят ее удивительные, косо прорезанные глаза. И голос не певучий, а жесткий и высокомерный:

— Таня, запомни раз и навсегда: Володя никогда не врет, он выдумывает. Он выдумывает — сумей это понять — ты уже большая девочка. А если ты не отучишься фискалить, то действительно получишь вместо киселя рыбий жир.

Ее заявление было так неожиданно, что это событие царапающим осколком врезалось в мою память.

И мамины глаза бывали такими же чужими, если я при гостях сама тянула руку за пирожным, не дожидаясь, пока мне его положат на тарелочку. Вот тогда, стоило только маме посмотреть этим взглядом из-под высоко поднятых бровей, как моя рука застывала в воздухе и мир становился не мил. И Бог с ним, с этим эклером, зачем он мне? Я буду пить чай просто с вареньем, только не смотри на меня этими чужими глазами, которые неизвестно кому принадлежат, но не твои они, не твои они! И ничего мне не нужно, я уже не маленькая, ничего мне не нужно, только не ледени меня этим взглядом. И пирожное, которое она протянет мне на красивой маленькой тарелке, уже не пирожное, а безвкусная гадость, застревающая комом в горле. И реветь нельзя, потому что за столом пьют чай гости, идет оживленный разговор,

и ложечки звенят в стаканах и чашках, и все улыбаются, и дамы щебечут, и на столе новый кузнецовский сервиз, и ваза, на которой лежат эти гадкие пирожные. И если бы не было этого маминого взгляда, как все было бы прекрасно и весело… Но взгляд был, и он все — все зачеркнул. И стол, и гостей, и звон ложечек, и вазу с белыми, коричневыми и розовыми пирожными. Замечания не будет, но взгляд был — и это тяжело. Это невыносимо…

Был взгляд и сегодня, когда она говорила: «Володя никогда не врет — он выдумывает. Ты должна это понять!..» Что такое вранье, я знала. Но как отличить выдумывание от вранья? Нянька врет про Додона или выдумывает? Володя врет про зайцев или выдумывает? А нянька про казенку тоже выдумывает? Или врет? И почему сказать про рыбий жир — фискальство, ведь я не врала, это правда, он же так говорил. И Веруша Грунау слышала и смеялась, и другие девочки тоже смеялись. (Может быть, если бы засмеялась и я, то необходимость фискалки отпала бы, и мне не было бы обидно?) Почему фискалить нельзя, если это правда? Я ведь не врала, что он щипался за щеку (хоть и не больно, хоть и слегка, но все-таки щипался?). Почему же сказать маме, что я ушибла коленку, — можно, и это правда, а что Володя щипался — это дрянь и фискальство, и ее сердитые глаза? Почему правда про себя — всегда правда, а правда про других бывает иногда фискалкой? Почему выдумывание — это не плохо? А вранье плохо? Почему мама сделала сердитые глаза на правду? И спросить не у кого. К маме не подступишься, и с Володей поговорить неловко, потому что я фискалила на него.

Утешение пришло от няньки Екатерины Кузьминишны. Мучающие меня вопросы я задала ей, когда она раздевала меня на ночь (вернее, рвала пуговицы на моем белье).

— Дите еще врать не может, Танечка, оно еще в ангельском чине находится. А на щипание ты зла не таи. Тебя ведь не швейцар Савельич щипал, а брат родной. И без зла он щипал, а с любовью. Манька, горничная, барынин корсет мерила, когда ее дома не было, враз — это вранье есть.

— Про Додона же я, однава дыхнуть, всю чистую правду сказывала. И это не вранье есть, — а сказ. Сказ — дело святое. Вранье дело грешное.

— Нянечка, а Володя тоже не врет, а сказывает?

— И Володя, Танечка, тоже не врет, а сказывает.

Вот какую мораль преподала мне моя няня Екатерина Кузминишна Подшебякина.

В ПРИЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Скверы около Храма Христа Спасителя (их было, кажется, три) весной покрыты бело-розовой пеной: цвели яблони. До отъезда на дачу в Оболенское меня водили гулять на правый сквер. Иногда одну, иногда с сестрой. С нами шла наша немка.

Ненавидела я эти прогулки, ненавидела и презирала. Игрушки для дома и для улицы были разные. Уличные игрушки были безликие, скучные и глупые: обруч с палочкой-погонялкой, серсо, волан или большой мяч, который нельзя было ни окунуть в лужу, ни прижимать к себе — словом, тоска. К тому же и одежда для прогулки на сквер была дурацкая: шляпа величиной с решето, узкое неудобное короткое пальто, платье с крахмальными оборками. Ни повернуться, ни прыгнуть, ни поиграть с удовольствием в «классы» в этой кукольной одежде было нельзя.

Наряженные такими же куклами, как и мы с сестрой, чинно ходили по дорожкам или сидели на лавочках другие девочки. Некоторые были поразительно похожи на кукол, другие были ряженные под кукол. Я хорошо понимала, что сестра настоящая кукла, а я ряженая. Это угнетало и отнимало свободу и непринужденность…

Игра на сквере возникала как-то чинно, откуда-то из центра, почти из клумбы.

Самая главная, самая настоящая девочка-кукла, пошептавшись со своей бонной, вставала и подходила к той девочке, которая ей больше всего приглянулась. Книксен.

— Девочка, вы будете играть в «гуси-лебеди» или «ходи в петлю ходи в рай», или в «Сеньку Попова»?

Приглашенная девочка вставала, делала ответный книксен, и ходить с приглашением начинали уже двое, трое, четверо, и, наконец, возникал большой кукольный хвост, который одновременно делал книксен перед очередной девочкой. (Некоторые, побойчей, сами просились в игру, но я не смела.) Попадались и мальчики. Они шаркали ножкой. Для игры в «Сеньку Попова» мальчик был просто необходим. Его завлекали в игру предложением: «Мальчик, вы хотите с нами играть? Вы будете Сенькой Поповым!» Книксен, шарканье ножкой.

Ах, если бы меня хоть раз назначили Сенькой Поповым, я была бы счастлива, я бы показала им всем! Но этого не случилось ни разу за всю мою длинную детскую жизнь…

И вот начинались глупые игры с унылым пеньем, без беготни, без азарта. Все, чинно, все скучно.

Больше всех игр мне нравилась игра в «Сеньку Попова» (она имела и другое название «Краски»). Быстрее других разбирались краски золотые, серебряные, голубые и розовые. Гадким голосом я желала быть черной или серой краской. (Очень хотелось быть

заметной, хоть в черном цвете.) И если Сенька Попов был мальчик с головой, он-таки и выбирал черную краску назло всем золотым и серебряным куклам. Но это бывало очень редко. Чаще всего по усыпанной лепестками отцветающих яблонь дорожке бежали хорошенькие ножки в белых башмачках, обладательницей которых была серебряная или золотая краска. А рядом с ней, заложив одну руку за спину, словно в мазурке, словно на балу, гарцевал Сенька Попов, увлекая ее в другой конец сквера, где уже не цвели яблони, а где росла еще нераспустившаяся сирень.

Эти прогулки на сквер, к храму Христа Спасителя, оставили в душе какой-то нерадостный след, какую-то боль, ощущение своей неполноценности и тайную зависть к девочкам-куклам.

Не набегавшись, не накричавшись, не победив никого в игре, мы так же чинно, как и приходили, возвращались домой в положенный срок, неся в руках ненужные, не пригодившиеся нам игрушки.

ФРЕЙЛЕЙН ТОМБЕРГ

Вышедшую замуж миловидную фрейлейн Аделину сменила Анна Мартыновна Томберг. Она приехала из Берлина, и мама очень гордилась, что новая фрейлейн так быстро выправила наше неважное произношение. Ведь Аделина была родом из Прибалтики и ни по-русски, ни по-немецки говорить как следует не умела.

Итак, в нашем доме появилась Анна Мартыновна Томберг (по прозвищу Томбергша). Тут уже пошли разговоры другие — и сплошь на немецком языке.

Она называла меня Тания, брата — Вольдемаром, сестру — Нина, ходила летом в Оболенском в причудливой треугольной соломенной шляпке, умывалась ледышками, которые ей приносили из погреба, и вообще была противная и какая-то пыльная, хотя и мылась каждый день ледышкой.

Летом, когда все вокруг цвело и тысячи наших подмосковных птичек копошились в деревьях, когда дятел стучал целый день в парке, малиновка раскачивалась на бузиновом кусте, за рекой под вечер плакала иволга, а птенцы сыпались из гнезд, и Володе приходилось лезть на дерево, чтобы сажать их обратно, а синицы нахально лезли на террасу и клевали хлеб со стола, когда все эти и еще разные другие птицы переговаривались, пели и их хотелось слушать и наблюдать, — именно в этот момент, фрейлейн Томберг, отбивая каждое слово ударом выгнутого в обратную сторону указательного пальца, скрипела скучным голосом:

— Тания, заг мир, битте, вас ист дас пфефферфрессер?

Так тоскливо, так незнакомо, так не к месту были эти вопросы про какого-то Перцееда — Пфефферфрессера. Да я такую птицу и в глаза не видела! И причем тут был пфефферфрессер, когда сегодня раненого птенца пеночки, которого я выхаживала, отыскала его птичья мать, принесла ему червяка и кормила его прямо у нас на террасе, когда по поступившим от водовоза Игната сведениям в низинке, около казенного леса, уже скосили всю траву и там сложены стога, и на них можно залезть. Причем тут пфефферфрессер, если купанье происходит уже два раза в день, а белые лилии замирают над омутом в реке Протве, и над ними, чуть-чуть дрожа, но не двигаясь с места, висят в воздухе стрекозы, а из желтых кувшинок можно делать такие прекрасные ожерелья, надламывая и разделяя надвое их длинный влажный стебель, когда под молодыми сосенками в конце парка вся трава обслюнявлена маленькими маслятами, а на черном крыльце скрипит и крутится мороженица с мороженым, когда папа сидит у себя в кабинете за некрашенным, пахнущим свежим деревом столом и занимается, а на его плечах подряд сидят четыре маленьких желтых шарика — это цыплята, у которых маму задрал коршун. Господи, причем тут пфефферфрессер, когда на лугу перед дачей выросла такая высокая трава, что даже если Нина станет там на колени, то ее не будет видно, а уж обо мне и говорить нечего, когда в доме появились слепой совенок и ежик, который прячется под буфетом, и если ситцевые занавески на моем окне каждое утро бывают так пронизаны солнцем, что цветы на них оживают? Какая глупость этот пфефферфрессер, если, по предсказанию той же Томбергши (так как у нее ломит коленки), завтра будет дождь, а я точно знаю, что когда его последние капли начнут образовывать на лужах большие радужные пузыри и солнце уже брызнет из-за облаков, то безусловно мама разрешит шлепать по лужам босиком. Боже мой, сколько счастья и интереса кругом, а эта немка пристает со своим пфефферфрессером!..

Хоть фрейлейн Томберг говорила, что она любит природу, но на самом деле она не хотела ее любить. Ее интересовали только муравейники: она настаивала муравьиные яйца на спирту и мазала этой смесью себе коленки. Она безжалостно разрывала все муравейники зонтиком или палкой, пока не докапывалась до маленьких, как рисинки, беззащитных муравьиных яиц. И жалко было смотреть, как сходили с ума муравьи, и бегали, и суетились в своем разрушенном государстве. Томбергша была совсем не фрейлейн, а просто старый разбойник с больными коленками. Прогулки с ней были отвратительны. Среди скошенного сена, ржи с васильками, леса с грибами и колокольчиками ее черная соломенная треуголка выглядела прошлогодним вороньим

гнездом, всеми воронами покинутым и смоченным всеми осенними дождями.

В Москве ее еще можно было как-то терпеть, тем более что в Москве она была приходящей. Придет, отстучит пальцем свой урок, выправит произношение, пообедает — и нет ее. Но маме вдруг пришла идея взять немку жить на лето в Оболенское, как раньше жила Аделина, которая помогала варить варенье, мариновать грибы, делать смокву и готовить необыкновенный сыр из сметаны, который закапывался на несколько дней в землю и вынимался таким, что пальчики оближешь.

Еще Аделина научила нашу кухарку Лизу печь рижский хлеб. Это было очень интересно: куски теста делились на толстые обрубки и ими били по столу не меньше часа. Била вся прислуга и все дети по очереди. Дом сотрясался, и казалось, что в кухне колят дрова. Словом, с уходом Аделины, кроме плохого немецкого произношения, из нашего дома ушло еще много уютных и вкусных вещей (и зачем только эта Аделина захотела выйти замуж!)…

К счастью, Томбергша не вынесла чудесной, райской жизни на даче в Оболенском. Ее начали тревожить не то вороны, не то грачи, которые, защищая нас, выплясывали на рассвете по железной крыше дома какие-то свои птичьи танцы. Танцевали они только над комнатой Анны Мартыновны. Берлинская немка перестала спать, кончила умываться льдышкой и стала лютовать с пфефферфрессером еще сильнее. Потом зачахла, сдалась и попросила расчет…

Провожали мы ее радостно. Мы даже любили ее, когда она, завязавши свою бессонную голову полотенцем, укладывала вещи в огромный, старый, кожаный чемодан с деревянными планками.

Был жаркий летний день, все плавилось на солнце. Линейка, которую подали для фрейлейн Томберг, была горячей. Володя и Маня вдвоем выволокли ее грузный и неуклюжий багаж.

Одетая в теплое драповое пальто, застегнутое на все пуговицы, немка вышла из дачи. На руках были митенки, в руках зонтик (побывавший во многих муравейниках) и пакет с пирожками. На голову было поставлено треугольное соломенное воронье гнездо.

Она клюнула меня в лоб, просила не забывать ее, потом прослезилась и сказала маме, что она не уехала бы, если бы русская природа не была такой дикой, и села на линейку. Лошади тронулись, немка качнулась и поехала. Наша собака Белка (сеттер с длинными ушами) из вежливости побежала за линейкой, но тут же вернулась назад. Линейка закрылась пыльным облаком, и в

Оболенском наступил рай и приволье, а немкину комнату отдали мне под осиротевших цыплят, им там сделали гнездышко, и они перестали нуждаться в папиных плечах.

ЧУЙКА

Он называет меня на «Вы». Он здоровается со мной за руку и тянет мою руку куда-то вверх, так, что мне очень трудно бывает присесть перед ним.

Он мал ростом, но ловок, как кошка.

Он прыгает с места через стул, даже не опираясь на него рукой.

Наш Володя выглядит рядом с ним маленьким медведем и сломал стул, когда тоже попробовал прыгать через него, как Чуйка.

Этого Володиного товарища зовут тоже Володей, Володей Чукаевым. Но все товарищи и вообще все кругом зовут его Чуйкой.

У этого Чуйки волосы похожи на папину каракулевую шапку, носику него так мал, как лесной орешек, и по всему лицу рассыпаны коричневые веснушки. Гимназическая форма сидит на нем, как приклеенная: ни складочки, ни морщинки. Глаза у Чуйки, как два гвоздика, вбиты в его пестрое от веснушек лицо.

Словом, он безусловный красавец! Это не только мое мнение, наша Маня думает так же. (Мы с ней говорили на этот счет.)

Чуйка приходит к брату показывать разные гимнастические фокусы.

Читать книжки или говорить про корабли он, по-моему, не любит. Если мамы нет дома, то Чуйка хватает Володино ружье «Монтекристо» и целится в нашу Маню.

Маня визжит на всю квартиру, но из комнаты не уходит, а стоит в дверях и только крутит своими крахмальными юбками. Если она визжит уж очень пронзительно, то из кухни приходит няня и грозно говорит:

— А ну, Марья, минтом иди у кухню, а то я тебе враз все винты кочергой завинчу! — Тогда Маня, фыркая, как кот, убегает.

А Чуйка опять начинает показывать гимнастику или объясняет, как маленький мальчик может положить на лопатки большого мужчину. Показывает он это на нашем Володе. Тому нравится это занятие, и он явно поддается Чуйке. Но иногда, как мне кажется, нашему Володе надоедает лежать на лопатках, и он стряхивает с себя Чуйку как букашку. Чуйка шлепается, но не теряется и начинает доказывать, что брат применил неправильный прием, что он не дождался, когда он Чуйка, окрутит ему руки. При этом Чуйка дырявит Володю своими глазками-гвоздиками и злится, а Володя наш улыбается. И опять все начинается сначала…

Я не понимала, зачем Чуйка лезет бороться с Володей, когда всем совершенно очевидно, что брат может прихлопнуть Чуйку одной рукой. Ну, уж прыгал бы через стул или вставал на руки, нет, поди же, он все хочет показать, что может положить Володю на обе лопатки.

Несмотря на эти маленькие изъяны, Чуйка покорил мое сердце. Я не уставала любоваться его фокусами и его каракулевой головой, которая даже от стояния на руках не могла растрепаться…

Я любила Чуйку…

Я подкарауливала в передней брата, когда он, накинув шинель, бежал утром в гимназию, совала ему в руку серебряную бумажку с осколками шоколадной бомбы и умоляюще просила:

— Вова, отдай это Чуйке. — Потом подсматривала из окна, не жует ли брат мой подарок. Но Володя бежал через двор так быстро, что я ничего не могла разглядеть…

Приходили и другие товарищи к брату, но никто из них не мог прыгать через стул и ни у кого из них не было ни каракулевой головки, ни веснушек, поэтому они были мне неинтересны.

Нашей Мане тоже было неинтересно с ними, и она никогда не визжала и не крутила юбками во время их визитов.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

По-видимому, силовые упражнения с Чуйкой повлияли на Володю, потому что в один из вечеров, когда родители уехали в Художественный театр, а няня и Лиза играли в кухне в «свои козыри», он, отложив в сторону книги, предложил Нине и мне устроить народное гуляние с аттракционами.

Под номером первым шел аттракцион — «катание по паркету на Нининой косе». Мне велено было держаться обеими руками за длинную косу сестры, как за вожжи, и не двигаться при этом, а ей бегать вокруг стола в столовой. Мне этот номер чрезвычайно нравился, но Нина почему-то возражала и даже хотела плакать. Второй номер назывался «головой вниз». Меня поставили на четвереньки и поднимали в воздух за ноги, но я так орала, что пришлось перевернуть и поставить меня обратно головой вверх, как я и была до этого. В связи с моим ором концовка этого номера осталась невыясненной.

Вслед за этим Нина должна была изобразить «женщину со змеей». Женщина была сама Нина, а змеей — ее коса. Она махала косой, как палкой, чуть не сбила чашку со стола, и брат сказал, что к сольным номерам у нее нет таланта. Пробовали все втроем

скакать через стул, но так, как у Чуйки, ни у кого не получилось.

Разгоряченный неудачами, Володя принес из детской кочергу, вставил ее одним концом в толстую медную дверную ручку, другой конец взял в руки. Мне и Нине было предложено сесть на кочергу, а Володя должен был, показывая силовой номер, качать нас на этой кочерге. Сидеть на кочерге было крайне неудобно. Качать нас было, по-видимому, тоже неудобно и тяжело. Но Володя поднатужился, качнул как следует, дверная ручка крякнула и сломалась, и мы с сестрой здорово шмякнулись об пол.

Разбитые коленки и носы, стон и вой, но главное — это сковавший нас ужас при виде сломанной, бывшей красивой ручки на двери столовой.

В наступившем затишье (после оказания нам первой помощи) справедливая Нина сказала, что ручку мы ломали все трое, но Володя рявкнул, что он не желает делить наказание с девчонками, и ушел к себе в комнату, хлопнув дверью со сломанной ручкой.

На этом народное гулянье закончилось. Эту ручку почему-то не заменили новой, не знаю — из педагогических соображений или из каких-нибудь других? Хорошо помню ее изуродованную половинку — сама она была золотая, а середина ее оказалась серой и блестела, как каменный уголь.

Мама часто вздыхала, когда смотрела на сломанную ручку, а Володя хмурился, краснел и уже больше никогда не играл с нами в «народное гулянье». И это было очень обидно.

БЫЛИНЫ

Прошло время, я в совершенстве овладела заячьими «просказками» и могла уже сочинять их сама. Теперь у Володи появились другие герои. Начались рассказы про трех богатырей и вольное изложение былин…

— Вова, можно мы пойдем с тобой в гости к былинам, — робко спрашивала я сидящего за письменным столом брата.

— Можно, — говорил он, не отрываясь от книги. — Только лесом иди одна, без меня, а я пока почитаю.

И я шла. Я шла в переднюю, где углом на двух стенах висела большая вешалка. Остальное пространство большой передней было занято дверьми: кухонной, гостиной, столовой и входной. В углу вешалки висела длинная мамина тальма, подбитая лисьим мехом (в ней мама ездила только в театр и в баню).

Я зарывалась в ее пушистую, темную духоту и начинала пробираться дремучим лесом в гости к былинам. Солнце не

проникало сюда даже днем, стволы деревьев обросли мягким мхом. Иногда мимо меня мелькали на земле опасные тени, состоящие из одних ног. Огромные, молчаливые птицы, пролетая мимо меня, хлопали крыльями, как кухонными дверями. Неподалеку, шумно, как из крана, задыхаясь, лилась вода из родника. Иногда родник затихал, и тогда с той стороны леса слышались какие-то глухие нечеловеческие, зловещие голоса. А я все шла и шла. Рыжая белка, перескакивая с дерева на дерево, стучала каблучками и указывала мне путь. А на самой высокой елке сидел одноглазый филин. Стеклянный глаз его зловеще мигал и был похож на голубоватый плафон, висящий на потолке в нашей передней. Мясорубкой скрипел притаившийся за кустами леший, и баба-яга толкла в ступе не то миндаль, не то человеческие кости. Но мне не было страшно, потому что теплый лес был заодно со мной, он хотел, чтобы я скорей пришла в гости к былинам.

И вот наконец начали редеть деревья, немного разомкнулись створки леса, и солнце стало просвечивать через ворсистую листву. Замелькали цветы на ковре в гостиной и запахли маминым духами Кор-де-Жанетт. Еще немного, и что-то закачалось, задвигалось наверху, и сразу уже все солнце, которое было на небе и у нас в доме, обрушилось на меня. Разом запели птицы маминым голосами, цветы с ковра поднялись во весь рост, и налетевший ветер заиграл на рояле.

Я вышла из леса на поляну и направилась к Володе. Не теряя ни минуты, мы пошли с братом в гости к былинам…

Илья Муромец сидел, задумавшись, на большом липовом пне. Солнечный свет не золотил, а серебрил его. Могучие плечи старика прикрывала старая, дырявая кольчуга, вокруг головы роем вились пчелы, но никогда никого не жалили. (В володиных сказках Илья Муромец почему-то был пасечник.)

Очень рад был нам Илья Муромец, угощал хлебом с медом, рассказывал про Владимира Красное Солнышко, про Соловья-Разбойника и предлагал отдохнуть на перинах из мха.

Тихо и хорошо было у старика Муромца. Пригревало солнце, и пчелы убаюкивающе жужжали. Клонило ко сну, но нам было некогда отдыхать, нужно нам было повидаться и с другими былинами.

Полями и лугами, через овражки и ручейки шли мы к Добрыне Никитичу.

Добрыня Никитич ждал нас у Ильмень-озера. Он сидел на бережку и рыбачил, карий конь его ходил неподалеку и щипал траву. Глаза у того коня были человечьи, а уздечка шелковая, и щипал он не простую травку, а плакун-траву. Трава та была

вредной, так как от нее происходили все людские слезы. Вот этот конь с человечьими глазами и шелковой уздечкой и старался вырвать всю плакун-траву из земли, чтобы она не множилась, чтобы и духу ее не было, чтобы все детки (и я, конечно, в том числе) перестали плакать. Конь знал свое дело, а Добрыня Никитич сидел на бережку и рыбачил. Рыбы сами подплывали к нему и уговаривали его их поймать, но он не соглашался, так как рыбы ему были не нужны, а нужна ему была раковина, на дне которой находилось жемчужное зерно, а в том жемчужном зерне было спрятано все человеческое счастье — этого я уже не помню, но самого его помню отчетливо и в цвете: коричневая круглая борода и коричневые усы, а волосы посветлее, глаза золотистые и добрые, на голове шишак, в одной руке удочка, в другой палица, а рубаха под кольчугой красная и яркая, как мак.

Очень нравился мне Добрыня Никитич. Я считала, что если он Добрыня — значит добрый, Добрый Никитыч! И хотя добрый Никитыч ничем не угощал нас и был неразговорчив, я больше всего любила ходить в гости к нему…

Озеро, рябь на нем от пробегающего ветерка, рыбы, которые все время высовывали свои блестящие головы и просили их поймать, а главное, сам добрый Никитыч — такой надежный, задумчивый и в то же время воинственный и сильный — все это привлекало меня.

Удивительно было спокойно и приятно сидеть с ним на берегу озера и молча следить за его поплавком, сделанным из скрученной в трубочку березовой коры… Но нельзя было нам засиживаться и здесь, надо было нам спешить — мы шли дальше…

Богатырь Алеша Попович жил не на поляне и не у воды, а в новом тереме, сложенном из белых, пахнущих сосной бревен. Дорога к этому терему шла через березовую рощу. Стволы берез были так белы и шелковисты, что от них шел свет. Когда березы расступались, за ними возникал красивый Алешин терем.

Мы ходили с братом по разным горницам этого терема и не переставали удивляться.

Там ученая кукушка сидела на окне и куковала время, а дятел забивал гвозди в стену, чтобы можно было развесить Алешины доспехи. Там муравей-сапожник — в очках и кожаном фартуке — шил Алеше голубые сапожки, а паучихи-ткачихи ткали голубой шелк в белую полоску для его рубашки. Именно в полоску хотел носить Алеша Попович рубаху. Он был большой франт и одевался во все голубое. Складно сидел на нем голубой кафтан, русые волосы кольцами вились у него на голове, а голубая шапка была сдвинута на одно ушко. Он всегда улыбался

и никогда не горевал. Любил петь и плясать, но стоило кому-нибудь из хороших людей попасть в беду, Алеша тут же брал в руки голубую палицу, садился на своего белого коня и скакал на помощь пострадавшему так быстро, что искры летели из-под копыт его коня.

Искры те вертелись и кружились в воздухе, потом ложились на землю золотыми березовыми листьями. Их никто и не замечал совсем, но стоило только на дороге показаться нищим или калекам-перехожим, как листья те обертывались золотыми деньгами…

Так и запомнился мне Алеша Попович голубым красавцем, верхом на белом коне и весь в золотых искрах. Был он очень хорош, но все-таки задумавшийся добрый Никитыч со своей таинственной удочкой нравился мне больше.

Илья Муромец — тот был не в счет, тот был как бы на покое. Он уж слишком интересовался своими пчелами и рассказами, а вот Добрыня Никитыч стал на всю жизнь моим тайным героем, и творителем этого героя был мой брат Володя.

РИСОВАНИЕ

Я любила рисовать. Кроме разных картинок, я рисовала бумажные куклы, вырезав их, и наряжала в бумажные платья.

Когда меня спрашивали перед очередным праздником, что мне подарить, я неизменно отвечала: альбом для рисования, цветные карандаши и краски.

Подарки клали на стул около кровати ночью, когда я спала.

Помню мучительное напряжение и желание не заснуть и подкараулить маму. Иногда удавалось не спать до той минуты, пока щель в двери не увеличивалась и в светлой полосе показывался силуэт мамы, но в момент ее продвижения к моей кровати я все-таки засыпала. Ни разу я не могла увидеть водружение подарков на мой стул. Но ночью или под утро, когда было еще темно, мне случалось просыпаться…

Темно. Нина тихо спит на своей кровати. Темно, но чувствую, что подарки уже лежат. И начинаешь шарить рукой. Боже мой, как много, целая гора! Внизу что-то длинное и плоское… Неужели большой альбом? Какие-то коробочки, всегда неузнаваемые, всегда другой формы, чем ожидаешь, чем были в прошлый раз. Ну уж сейчас-то я зацепила краски, это определенно краски. Крышка имеет три отделения, сомнений нет, краски подарены! И тут же моментально, после вспышки счастья, сон обрушивается и накрывает меня с головой…

А утром, еще в постели, все начинаешь разглядывать заново,

и все оказывается наоборот. Длинное и плоское — это картонка с кукольной посудой, а альбом для рисования переплетен в холст, а я думала, что это игра, а краски не краски, а цветные карандаши, словом, все заново.

Но нужно скорее вставать, потому что на столе за утренним кофе будут лежать еще разные «подарки — добавки»: булочка от Лизы и что-нибудь от няни и от фрейлейн, и еще раз от мамы. Словом, очень много счастья…

Мне нравилось рисовать огонь и снег. Тепло и холод. Уют дома и зимнюю улицу.

Я рисовала домик с большой, открытой настежь (вопреки всем зимним правилам) дверью. В доме пылает печка. А на улице снег, сугробы и дети катаются на коньках и санках. К сожалению, как бы велика ни была дверь, кроме пылающего огня, в ней ничего больше не помещалось: ни няни, ни Тани, никакого другого человека. И все-таки этот мотив я повторяла бесчисленное число раз и мучилась муками творчества. Как нарисовать белый летящий снег на белой бумаге? Как нарисовать, чтобы в доме было тепло, несмотря на открытую дверь? Как нарисовать, чтобы даже было весело? Какого цвета должен быть дым? Как нарисовать пылающий очаг?.. и т. д.

Я трудилась и, как мне казалось, достигала совершенства. Но приходил Володя и говорил, что в доме у меня пожар, а не топящаяся печка, и что нужно срочно вызывать пожарных. Я очень огорчалась и начинала все рисовать заново…

Однажды, долго листая и разглядывая мой альбом, Володя сказал голосом, закрывающим детство:

— Довольно, хватит, тебе пора начать учиться рисованию, я сам буду тебя учить. — И смелой рукой, почти не отрывая карандаша от бумаги, нарисовал мне два римских профиля — женский и мужской. Дама была в кудряшках, господин в шлеме. Римские профили, корабли всех видов и систем, собак и котов на крыше он рисовал в совершенстве. Вообще Володя рисовал очень своеобразно, лаконично и с большой легкостью. Этот врожденный дар он совсем не развивал, а пользовался им всю жизнь в минуты рассеянности или для выражения смешного…

Итак, в моем альбоме появились два римских профиля, которые мне велено было копировать. Я копировала. Я даже сделала некоторые успехи, и носы у моих профилей перестали напоминать нянины полусапожки, а глаза тоже отдаленно начали напоминать глаза, а не чердачные окна. Мне очень хотелось угодить Володе…

Следующий урок был посвящен собакам. С не меньшей выразительностью и легкостью Володя нарисовал несколько собак

разных пород. Тут дело у меня пошло ловчее, чем с римлянами, но собачьи ноги мне решительно не удавались. Я вышла из положения и закрыла ноги собаки низеньким заборчиком. Брат издевался надо мной, но все же мы перешли к изучению котов на крыше. Дальше котов наши занятия не двинулись… То ли Володе надоели эти уроки, то ли я, соскучившись без огня и снега, снова вернулась к своему излюбленному мотиву… Сейчас, вспоминая свои картинки, я думаю, что дома у нас всегда топились печки, а за окнами всегда (как мне казалось) шел снег, и мне это нравилось больше всего на свете, а коты и римские профили мне не нравились, и рисовать их я так и не научилась.

РОБИНЗОН

В детстве я не любила фарфоровых кукол, нравились мне больше бумажные, нарисованные. Исключение составляла только одна фарфоровая небольшая куколка под названием «Робинзон». Куклу эту нельзя было раздеть, так как она вся была обклеена серой кроличьей шкуркой, ноги ее были одеты в байковые черные сапожки.

Этого Робинзона я нежно любила, пеленала в простынку поверх шкуры, возила по полу, уча его ходить, и довозила до такого состояния, что он стал похож на грязного бездомного котенка. Просто весь облепился грязью, а ведь его не вымоешь: он меховой.

Отнять Робинзона у меня было невозможно — и заменить нечем. Искали в магазинах подходящую куклу, но не находили.

И вот однажды, в день моего рождения, приехал огромный, обросший бородой дед (мамин отец), вручил мне апельсин (всегдашний его подарок) и продолговатую коробку, перевязанную лентой. Я поцеловала деду руку, поблагодарила и ушла в детскую разглядывать, что там в этой коробке. Сняв крышку, я обнаружила двойника моего милого, старого, грязного Робинзона.

Новая кукла была чистая, пушистая и всем похожа на старую. Пожалуй, только лицо у нее было позлее, чем у моего любимца, да и ростом она была чуть побольше.

Я положила обоих Робинзонов — старого и нового — рядом и начала изучать их. Ужасен был вид старой куклы: плешив, облезл, грязен и жалок. Новый был чист, красив и высокомерен.

И вспомнилась мне наша трудная, но содержательная жизнь со старой куклой. Вначале, когда он только появился, мне рассказали про Робинзона Крузо и объяснили, почему мой Робинзон был обклеен шкурой. Учили играть в него. Я поиграла в

Робинзона по-ученому, а потом все сделала наоборот. То он был моим котенком и я совала его в кружку с молоком. Потом сделался ребенком, и я свивала его старым маминым чулком, учила ходить, таская по полу, учила плавать, спустив его однажды на веревочке в уборную. Я подкладывала его вместо мыши в заряженную мышеловку и переломала ему ногу на всю жизнь. Желая прочистить ему глаза, сделала его кривым. Как я его мучила, как наказывала! И все-то он терпел, все выносил. Никогда не давал сдачи, не фискалил…

Трудно понять и объяснить, откуда, из каких глубин моей души пришло решение. Нетерпимость и жестокость овладели мной. Спокойно, обстоятельно, с полным сознанием того, что я делаю, я взяла за байковые ноги нового Робинзона, примерилась… прицелилась… и ударила со всего размаха куклу об угол окованного железом сундука, стоящего в детской. Р-а-а-а-з!.. и в руке у меня оказались только байковые ножки и обмякшая кроличья шкура, наполненная фарфоровыми осколками.

Я дрожала, как от холода, меня трясло от ужаса совершенного. Я ясно сознавала, что сделалась убийцей.

Без слез я бросила остатки подарка в угол. Осколки в меховом мешочке жалобно звякнули… Старого Робинзона я поцеловала, посадила в кресло и ушла из детской, не оглядываясь…

Стоя в углу и колупая стену, я все думала, что меня наказали мало. Почему меня наказали мало, когда я так нуждаюсь в наказании? Почему никто (даже мама) не поняла, что я убила нового Робинзона? Одна я понимала, что я его убила. Не разбила, а убила!

ВДРУГ ЕСТЬ — ВДРУГ НЕТ

Меня начала интересовать черта, отделяющая горе от радости. Граница хорошего и плохого. Откуда берется радость? Откуда берется горе? Где оно заводится? Нянька говорила: «Бог наказывает». Ну хорошо, он наказывает, а за что — если я хорошая? Да ведь и наказывает меня мама, а не Бог. Мама говорила, что я сама виновата: плохо себя вела, вот меня и наказали.

Тогда я начала думать, что и горе, и счастье помещаются во мне самой? Но где? В животе? В голове? В руках?

Если бы знать — где, то всегда можно бы было доставать оттуда только хорошее, только радость. Все это нуждалось в проверке…

Я целую неделю была хорошей девочкой, и меня ни разу не

наказали. Но сегодня, заглянув в кухню, я увидела, что няня стоит у плиты — прислонив лоб к навесу над ней — жарит котлеты и плачет. Рыданья клокочут у нее в горле, а слезы капают на раскаленную сковородку и шипят вместе с котлетами. Я онемела, увидев эту картину.

Оказывается, ее рассчитали!..

Вчера она напилась до полусмерти и вытрясла помойное ведро в гостиной на ковер…

Ее рассчитали, а у меня горе. И я реву, чтобы отхлопотать няню обратно. Зачем только она это сделала?

Говорит — «черт попутал». Но это она, по-моему, выдумывает, ведь все знают, что черта нет.

— Няня, что значит попутал?

— Вдруг с панталыку он меня сбил, Танечка!

Еще трудней понять. Что такое панталык? «Он» ее сбил с панталыку, а я реву. И у меня горе еще большее, чем у нее, как мне кажется. Ведь не я, а она вдруг взяла и вытрясла помойку на ковер. А страдаю я. Как это объяснить?

В Оболенском, на даче, к нам приносил на кукане свежих карасей древний старик Егорыч. Ему платили за рыбу деньги и подносили стопку водки. Дед выпивал водку, крякал, закусывал, — потом тревожно начинал щупать себе грудь, задумывался на минуту и вдруг заявлял, что у него «зачинается грысть».

С этой «грыстью» он садился на лавочку и начинал плакать. Мама присаживалась рядом, утешала деда Егорыча и гладила его по сгорбленной спине. Но он не утешался, а вынимал из-за пазухи дудку, которую называл «жилейкой» и начинал дуть в нее. Получалось так жалобно, что всех нас прошибала слеза. Дед был такой несчастный, босые его ноги такие грязные и синие, руки, держащие жилейку, узловатые и тоже синие, веки закрытых глаз белые и сборчатые, как у курицы, а бахромка седых волос вокруг загорелой до черноты макушки такая жиденькая, что невозможно было смотреть на деда без содрогания. И еще эта заунывная мелодия на жилейке тоже рвала душу! Казалось, нет предела горю деда Егорыча…

Но как это ни странно, отыграв на жилейке положенный срок, дед вдруг обрывал музыку, разом переставал тосковать, прятал жилейку обратно за пазуху, светло улыбался беззубым ртом, вставал и… пускался в пляс! Плясал дед всеми суставами рук и ног, лихо переступая с носка на пятку, а заканчивал присядкой: откуда сила бралась!

Уходил Егорыч всегда неожиданно и продолжая

приплясывать. Самодельные удочки подрагивали на его плече. Грязные, похожие на серую растрескавшуюся землю пятки деда мелькали на дорожке, потом скрывались в траве. Через поле, в овражек — и вот уже виднелась только одна его плешивая голова и концы удочек. Еще минута, и дед Егорыч исчезал совсем. Поплакал, поиграл на жилейке, поплясал — и нет его…

Что заставляло деда Егорыча вдруг впадать в «грысть», жалобно играть на жилейке и тут же, без всякой связи, вдруг плясать и смеяться? Этого я понять никак не могла.

Припоминаю, как я крошечной девочкой сижу в обнимку с папиными удочками на дне лодки, тихо покачивающейся на реке Протве. Мне уютно, тепло и мягко, так как под меня, как под собачку, подложили толстый соломенный матрасик.

Окруженная дощатым забором лодки, я не вижу реки, но зато с интересом наблюдаю, как с положенного вдоль борта весла тонкой веревочкой стекает вода на дно лодки. От мерного покачивания эта водяная веревочка все время меняет направление и цвет. Вот потекла налево, попала на солнце и посветлела. Не успела я удивиться, как ручеек этот уже сделал петлю, попал в тень и потемнел. Направо — налево, темное — светлое, и новая петля уже нарисовалась на дне лодки. Все ближе ко мне придвигается нарисованный водой узор, а начало его уже стерто солнцем. Мне бы очень хотелось рассказать об этом интересном наблюдении что-то делающему на корме отцу, но он почему-то запретил мне оглядываться, а велел сидеть тихо и спиной к нему. Это сонное покачивание и изучение водяного узора было прервано оглушительным всплеском воды, от которого лодка подпрыгнула, удочки выпали из моих рук, водяной ручеек стекся в лужицу, а я, забыв о запрете, оглянулась и приподнялась. А приподнявшись, вдруг неожиданно увидела широкую, сияющую картину другого мира: искрящийся простор реки, залитый солнцем берег и обнаженную спину отца, который в пене сверкающих искр — молодой и сильный — мощными саженками быстро удаляется от меня…

Прошел год, и вдруг ничего этого нет и не может быть. Папа заболел. Он сразу сделался старым и не в силах уже плавать по Протве-реке саженками. Он не может даже нести в руках одну-единственную книгу, которую купит в магазине, а прикручивает эту книгу веревочкой к пуговице пальто. Да и то через каждые пять шагов останавливается и дышит, как рыба, вынутая из воды.

Плавал, катался на велосипеде, поднимал меня на руки, и я могла видеть вблизи его пенсне, бегал — и вдруг все разом оборвалось, и он стал старым и больным. Совсем недавно был молодым и сильным и вдруг все это пропало куда-то… Опять это

«вдруг».

Мысль про «вдруг», как это ни странно, первый раз пришла мне в голову за обедом. На первое блюдо был суп с саго. (Теперь это саго исчезло из употребления, но во время моего детства частенько делали суп и пироги с саго).

Я этот суп любила до крайности и называла его «вдруг есть, вдруг нет». Посмотришь в тарелку и видишь чистый и прозрачный бульон — шевельнешь ложкой, и сразу, как по волшебству, великое множество перламутровых шариков появятся на поверхности бульона. Пока ты отправляешь ложку в рот, все саго опустилось на дно, и перед тобой опять чистый бульон. И так все время: вдруг есть — вдруг нет.

И вот однажды, глядя в суп с саго, я и задумалась над словом «вдруг».

— Вдруг я чихну?!

— Вдруг обольюсь супом!

— Вдруг мама рассердится.

— Вдруг фрейлейн мяукнет.

— Вдруг я подавлюсь.

— Вдруг мама меня накажет.

В результате этих размышлений я действительно вдруг подавилась, вдруг облилась супом и меня вдруг выгнали из-за стола.

«Может быть, это слово „вдруг“ и есть та черта, которая отделяет радость от печали? — думала я, сидя в детской и доедая свой обед в скучном одиночестве. — Возможно!..»

Прошли годы, и теперь мне кажется, что именно этот опасный суп с саго и породил во мне тревогу на всю жизнь и вечное ожидание этого «вдруг».

ЭЛЛАДА

Еще немного двинулось время вперед. Володя перешел в другой класс. Подрастала и я. Уже буквы из таинственных закорючек начали превращаться для меня в слова. Спотыкаясь, как слепая, я ощупью находила их в темноте, с восторгом произносила вслух и соединяла с другими. Уже и няня с гордостью всем во дворе говорила про меня:

— Наша Танечка шибко грамотная. Она, однава дыхнуть, весь букварь, всю «тышу» букв назубок знает.

Подрастали не только мы. Володины «просказки» тоже росли вместе с нами. Они помещались теперь в большой зеленой с красным корешком книге. На обложке этой книги золотыми буквами было написано незнакомое слово «Эллада».

Как бы мне хотелось теперь где-нибудь встретиться с той книгой. Говорят, надо идти в Ленинскую библиотеку, но не хочется — лень. Да и сама книга уже не будет той книгой, той Элладой.

В той Элладе жили красавцы греки, среди них было очень много голых, правда, попадались в хламидах и тогах, но без брюк были все поголовно. Это обстоятельство немножко смущало меня, но Володя советовал не обращать внимания на наготу, а обращать его на красоту. И я обращала внимание на красоту.

Брат учил меня сощуриться, вглядеться в картину и оживить ее. Занятие это было новое и трудное.

Первым ожил и вышел из листа согнувшийся молодой человек, под названием Дискобол. Он зашевелился, выпрямился, и диск, отделившись от его руки, прочертил по детской серебряный пунктир. Вслед за Дискоболом стали оживать и другие картинки. Безбрючные греки и гречанки с удивительными кудряшками на голове дружно выходили из «Эллады» и прохаживались вокруг нас. Одни из них превращались в богов и богинь, другие в царей, иные просто в людей. Чужие, странные имена: Посейдон, Тезей, Лаокоон, Афина-Паллада — вырывались из зеленой книжки и клубились вокруг меня. Я начала знать, узнавать, любить и жалеть этих людей и богов.

Некоторые картинки не хотелось, просто даже мучительно было оживлять. Лаокоон со змеями, узлами, связывающими его тело, доставляли страдание. Стоило только вообразить, что Лаокоон живой, змеи тотчас же начинали гадко шевелиться, множиться и побеждать его. И уже не оставалось никакой надежды на то, что он от них освободится. Вообще грустное лучше было не оживлять, а перелистывать эту страницу поскорее…

Брат мне рассказал много историй, которые назывались мифологией. Это были совсем новые рассказы, ничего общего не имевшие с зайцами и былинами. Рассказал он мне также про греческие храмы и орнаменты.

Именно тогда я узнала, что красивая непрерывная завитушка (так часто встречающаяся в книжке «Эллада») у изображает волну и называется меандром. А верхушка на одной колонне срисована с бараньих рогов, а на другой с цветка, и что эти верхушки имеют общее название капитель (я называла их «капель»).

Неслыханное волнение охватило меня, когда Володя научил понять, что такое Акрополь. Всю книгу «Эллада» я вдруг увидела в объеме и цвете. Меня совершенно перестали беспокоить разрушенные здания и отсутствие рук или голов у некоторых богов и людей. Обломки колонн склеивались, новые руки

прирастали к телу, все соединялось, освещалось солнцем и морем и выстраивалось так красиво, как было нужно. Это было чудо! И чудо совершенно новое. Мир стал другим.

Уже не зайцем, а девочкой Таней я стояла со старшим братом на высоком холме Акрополя. Внизу лежал порт Пирей. Свежий морской ветер дул нам в лицо, и черные косые паруса мелькали на горизонте. За нашей спиной, как перламутровая раковина, переливался и сиял мрамор Парфенона, и золотая Афина-Паллада поднимала к небу свое копье…

Мы были высоко, весь мир лежал у наших ног. Чтобы не упасть и не разлучиться в этом мире, мы крепко держались за руки.

Когда я стала взрослой, мне не удалось побывать в Греции. Зато девочкой я путешествовала по ней, как ни один турист в мире!

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛОДИ

С появлением в нашем доме Володиного англичанина в моих отношениях с братом многое изменилось: он явно стал пренебрегать моим обществом. Я приставала, тянула из него, вымогала: давай просказки, давай истории, разговаривай со мной, занимайся мной, увлекай, открывай, показывай, удивляй, — но он был занят уже чем-то другим, а не мной.

Пользуясь тем, что брат мой не выносил слез, я принималась реветь. Он прибегал, рассказывал про морские сражения, про войну, но это было уже не то, совсем не то, что раньше.

Правда, иногда Володя всовывал свою голову в детскую и таинственно манил меня указательным пальцем. Я, натурально, тут же являлась к нему в комнату, и он, глядя не на меня, а куда-то вбок или в окно, читал мне стихи. Я понимала, что стихи эти он сочинил сам, но по негласному договору с братом почему-то надо было делать вид, что я об этом не догадываюсь. Слушать стихи было скорей приятно, чем интересно. Некоторые строчки я запоминала. Мне, например, очень нравилось:

Тишь лесов голубых и воздушных
И небес золотая река…

Было неожиданно, что про небо можно было вообразить, что оно река, да еще не просто река, а золотая река, а про облака, что они воздушный и голубой лес…

Но редко происходили эти тайные чтения стихов, и брат все

дальше и дальше стал уходить от меня в какой-то незнакомый мне мир. Я трепыхалась, старалась поспеть за ним и тоже войти в эту новую неведомую мне страну, но он уходил так поспешно, так быстро, что я уже не могла его догнать.

Володя перестал заниматься мной, и я поступила в ведение отца…

Однажды от сестры я узнала, что в гимназии Констан готовится концерт, на котором выступать будут ученицы. Потом стало известно, что маму попросили подготовить к этому концерту ученицу последнего класса Шуру Мартынову, у которой был прекрасный голос.

И вот высокая, полноватая, рыжеватая и хорошенькая Шура Мартынова стала ходить к маме на занятия пением. Эта Шура была не только старше Нины, но и старше Володи: она была уже совсем взрослая девица, и у нее действительно оказался прекрасный голос. Когда она пела под мамин аккомпанемент, то стояла посреди гостиной, а руки держала в маленькой, рыженькой, как ее голова, муфточке.

Шура с мамой все пели и разливались в гостиной, а Володя в это время почему-то прекратив свои занятия с книгами, стоял в умывальной комнате перед зеркалом и примазывал душистым мылом Брокар свои непослушные волосы, разделяя их на косой пробор. Он так густо мазал волосы мылом, что они у него становились седыми, но это его нисколько не смущало, и когда Шура кончала занятия с мамой и выходила в переднюю, то Володя тоже выходил в переднюю и подавал Шуре пальто. Я не понимала, зачем надо было мазать голову мылом, чтобы подать Шуре пальто, но мама понимала: она смеялась и учила Володю мазать голову не мылом, а фиксатуаром, а он краснел и говорил, что это его совершенно не интересует. А если не интересует, зачем тогда мазаться мылом?..

В один прекрасный день я заметила, что Володя сидит у себя в комнате и ломает свою новую красивую гимназическую фуражку, превращая ее в какой-то кривой домик. «Чего он хочет от этой несчастной фуражки?» — подумала я.

Всем приходилось видеть гимназистов последнего класса первой мужской гимназии. Они шли на занятия, заложив тетрадки за борт шинели и заломив набекрень измятую старую фуражку. Мне казалось, что их фуражки за долгую гимназическую жизнь испортились от дождя, а новую им не было смысла покупать, так как они кончали гимназию в этом году. Если Володя хочет быть похожим на гимназиста старшего класса, то ему определенно нужно сунуть свою фуражку под кран,

соображала я, с интересом наблюдая за разрушительной работой брата.

— Может быть, хочешь пофискалить, заяц-Таня? — любезно предложил мне Володя.

Фискалить я не хотела, но и советовать ему совать фуражку под кран тоже не стала. Пускай, подумала я, ломает ее по-своему, а мне дела нет, и ушла в детскую.

Но на этом дело не кончилось. Назавтра наш Володя опять подал Шуре ее шубку и, напялив на свой намыленный пробор сломанную фуражку, пошел провожать домой эту взрослую барышню.

К сестре ходили подруги, но он их никогда не провожал, а тут — надо же — оделся и пошел.

Я удивилась, почему мама допустила такое безобразие, но мама совсем не была сердитая, а скорее какая-то задумчивая. Она с печалью посмотрела на загубленную Володину фуражку, простилась с Шурой Мартыновой и ушла в гостиную петь какой-то грустный романс.

ГИМНАЗИЯ КОНСТАН

Я поступила в младший приготовительный класс (что-то вроде детского сада) гимназии Констан. Мне сшили форму, как у Нины: коричневое платье с белым воротничком и черный фартучек Я очень гордилась этим костюмом.

Первый день моего пребывания в гимназии ознаменовался тем, что я, бегая во время перемены по нижнему залу, врезалась со всего размаха головой в живот классной даме старших классов мадам Савуар. Это была рыжая, краснолицая, противная и злая дама: ученицы прозвали ее Совой.

Эта самая Сова, взвизгнув, цепко схватила меня за плечо и, руля мною между бегающих девочек, повела к кабинету начальницы гимназии Наталии Ивановны Воронцовой-Вельяминовой.

В этом кабинете, устланном коврами и ковриками, заставленным креслами и креслицами и похожим скорее на будуар, чем на кабинет, я и раньше бывала с мамой. Вообще я уже была знакома с начальницей, потому что мама помогала ей устраивать музыкальные вечера в гимназии Констан и, заходя к ней по делу, иногда прихватывала и меня. (Мама была, как теперь говорят, общественницей — а раньше не знаю, как это называлось.)

Подрулив со мной к кабинету, Сова постучала в дверь, отвела бархатную портьеру и, вцепившись еще крепче когтями в мое

плечо, ввела меня к начальнице.

Несмотря на то, что был день и сияло солнце, в этой комнате окна были закрыты шторами и горели настольные лампы под кружевными абажурами. Пахло кофе и духами.

Большая, полная с корсетной фигурой Наталия Ивановна неудобно сидела бочком на маленьком креслице и пила кофе из маленькой чашечки. Напротив нее сидел седой господин и тоже пил кофе из маленькой чашечки.

Сова сделала книксен (это меня удивило, ведь она была уже старая) и быстро залопотала что-то по-французски, но я сумела разобрать, что она жалуется и требует наказания для меня. Тогда я решила перешибить Сову и вместо того, чтобы стоять столбом, взялась двумя руками за форменный фартук и сделала глубокий реверанс, такой, как делала когда-то волшебнику Макарлычу.

Начальница посмотрела на меня в лорнетку, и я поняла, что произвожу на нее хорошее впечатление. Не лишне было бы отвесить такой же реверанс седому господину, — смекнула я. Пожалуйста: я присела и седому господину. Он закивал мне и заулыбался. Сова оставалась в явных дураках.

— Поди сюда, милочка, — ласково сказала мне Наталия Ивановна, — как твоя фамилия?

— Луговская, — отрекомендовалась я, не моргнув.

— Ах, — заохала начальница, — это же младшая Луговская, она прекрасная девочка. Возьми, милочка, конфетку, тебя, кажется, зовут Ирочкой? Иди, милая Ирочка, играй и больше никогда не толкай мадам Савуар.

— Хорошо, мадам, — быстро согласилась я и с Ирочкой, и предложением не толкать Сову и, опять отвесив два придворных реверанса, ушла из кабинета в сопровождении посрамленной и шипевшей от злости Совы.

В коридоре я нагло развернула конфетку и отправила ее в рот.

— Не смей бросать бумажку на пол, — завизжала диким голосом мадам Савуар. А я и не думала бросать бумажку на пол, так как уже давно решила приберечь ее, чтобы показать дома маме и Нине, прекрасно понимая, что ведь не каждый день я буду ходить запросто в кабинет к начальнице и угощаться ее конфетками…

В младшем приготовительном классе учиться было легко по той простой причине, что мы почти и не учились. Сидя за партами, мы разучивали французские стихи и пели французские песенки. Хорошо помню нашу классную даму, милую, добрую Евгению Михайловну. Она никогда не визжала, как мадам Савуар, а говорила тихо и мягко, учила нас басням Крылова и всех

девочек любила. Помню еще уроки рисования, на которых мы рисовали азбуку. На каждую букву нужно было придумать рисунок. Я очень отличалась на этих занятиях, и учитель рисования меня все время хвалил, развивая во мне тщеславие.

Девочки в младшем приготовительном классе были, по-моему, разного возраста, мне запомнилось, что одна была так мала, что не могла выговорить свою фамилию и назвала себя вместо Соколова — Саталова.

Когда мы стали знакомиться между собой, из общего кружка вывернулась небольшая вертлявая девочка. Белый воротничок висел на ней хомутом и явно принадлежал старшей сестре, пальцы в чернилах, остренькое беличье личико тоже в чернилах, голова косматая, а тонкая, как крысиный хвостик, косичка, завязана мятой ленточкой. Глаза у этой девочки были быстрые и темные, как у зверька. Эта неряшливая и бедно одетая девочка заявила нам, что она не простая девочка, что у нее есть княжеский титул. Первое впечатление было ошеломляющее, но, очнувшись, мы все дружно не поверили лохматой девочке. Потом мы и забыли, что она княжна. Но прошло какое-то время, и однажды возбужденная, разрумяненная княжна торжественно вынула из ранца смятую, старую большую бумагу с печатями и гербами, где черным по белому было написано, что ее родители (не то деды — уж не помню точно) имеют княжеский титул. Все эти сведения задыхающимся голосом нам прочла косматая княжна, сопроводив свой рассказ увлекательными подробностями о том, как она выкрала эту бумагу из бюро своего отца.

Княжна она была или нет, но мы с ней подружились. Была она девочка озорная, очень сообразительная, способная и музыкальная. (Кстати, со временем она превратилась в известную музыкантшу.) На всю жизнь запомнились ее руки — гибкие, подвижные, не детские, крючковатые.

Эта девочка была зачинщицей всех наших шалостей…

Большой мечтой было попасть в актовый зал на верхнем этаже, где во время перемен гуляли старшие гимназистки и с ними моя сестра Нина. Нас наверх не пускали. Правда, раза два Нина со своей подругой Аделей Шрейдер приходила вниз навестить меня, но это было не то! Совсем не то! Мы стремились наверх, и тут в растрепанной голове княжны созрел адский план. В связи с тем, что только у меня была сестра в старших классах, мне нужно было прикинуться больной. Почему-то я должна была держаться за свой нос и закатывать глаза, а другие девочки поддерживать меня под руки. А классным дамам надо было говорить, что я больна и что меня ведут наверх к старшей сестре на излечение. Сказано — сделано, и под предводительством

княжны груда малявок двинулась по лестнице наверх.

Дверь верхнего коридора закрылась за нами, и весь нижний шум и гам отрезался, как ножом. Мы вступили в царство чинности и тишины. По широкому коридору, как маятники, фланировали классные дамы в синих форменных платьях. Было страшно, что меня разоблачат, но княжна бойко объяснила цель нашего прихода, и одна из верхних классных дам, отцепив от меня гроздь девочек и выбрав из толпы малявок одну сопровождающую, разрешила нам вдвоем войти в зал. И мы вошли…

Боже, как там было прекрасно! Все гимназистки чинно и тихо, парами и по трое, ходили по залу, взявшись под руки.

Ослепительное солнце било в огромные окна, а на правой стене висели два больших (во весь рост) портрета — царя и царицы. И все старшие девочки показались мне уже не девочками, а барышнями… Мы растерялись, как и где найти сестру Нину среди этого венка гуляющих и как бы танцующих гимназисток? И тут (о, счастье!) меня увидела и узнала Шура Мартынова, та самая барышня, ради которой Володя тер себе голову мылом. Она кинулась ко мне, вслед за ней появилась и наша Нина. Все старшие гимназистки показывали нам зал, дарили конфетки, картинки и облатки для промокашек.

Это был незабываемый день в моей гимназической жизни. Очень захотелось стать скорее старше, закладывать волосы в пучок или завязывать на верху косы большой черный бант и также чинно прохаживаться, сложив руки на талии, в большом, торжественном и светлом актовом зале с портретами царя и царицы…

Больше воспоминаний о гимназии Констан у меня не сохранилось, да и мало я там была, потому что произошла революция и гимназия закрылась.

Помню еще сыроватый, идущий под гору сад с большими липами, находящийся сзади здания гимназии, и швейцарскую, где у каждой девочки была своя вешалка…

Любила я дорогу из Второго Ильинского переулка, где находилась гимназия Констан, домой на Волхонку. Путь не длинный, но интересный. За мной всегда кто-нибудь приходил, так как я кончала занятия немного раньше сестры.

Если приходила мама, то мы очень часто сворачивали на Пречистенку, там в бельэтаже дома (где помещается и ныне на втором этаже аптека), был писчебумажный магазин под названием «Привет». Этот «Привет» притягивал и завораживал всех детей Луговских, о нем даже написал стихи мой брат:

У каждого есть заповедный дом,
Для памяти — милый и важный —
А я обхожу с огромным трудом
Магазин писчебумажный.

Совсем незаметный и скучный такой —
Он рай пресс-папье и открыток.
Пройду — и нальется забавной тоской
Душа, на минуту открытая…

Мы поднимались по небольшой, казавшейся тогда широкой лестнице (она и сейчас цела) и открывали находящуюся по правую руку от нас большую дверь. И сразу начинал мелодично звенеть колокольчик. Чем шире открывалась дверь, тем громче и веселее он пел, предвещая счастье и необыкновенные впечатления. Пожалуй, больше всего это было похоже на театр, и колокольчик звенел, объявляя начало представления.

Мы входили, и одновременно с нами, по зову колокольчика, с противоположного конца магазина появлялась из-за портьеры, как из-за театрального занавеса, улыбающаяся немолодая дама, украшенная невероятной, похожей на большую шляпу прической. Дама была и хозяйка, и продавщица, и жилица этого маленького магазина.

Мама покупала тетрадки для меня (в три линейки по косой), а я замирала перед стеклянной витриной.

Нигде в мире, никогда в жизни, ни тогда, ни после, я не видела столько писчебумажных чудес…

Краски в ящиках и врассыпную, золотые и серебряные перышки (тонкие и толстые), перья Рондо и № 86. А эти мутные, молочные, полные тайны и неизвестности, сводные картинки! Ведь не знаешь, что из них проявится, когда окунешь их в воду и дрожащей от нетерпения рукой начинаешь переводить на бумагу?.. И мало еще знакомые, но манящие географические карты, на которых ярко синели океаны, тонкими жилками голубели реки и земля лежала такими удивительными желтыми пряниками, что трудно было поверить, что мы живем на ней. Там были открытки с собачьими, кошачьими, цыплячьими головами и с головками красивых барышень. Пеналы, копилки и чернильницы в виде зайцев, лисичек и слонов. Чинилки для карандашей и перламутровые перочинные ножички. Ручки — простые, фарфоровые и из камня «кошачий глаз». Записные книжечки, украшенные цветными стеклами. Пресс-папье, резинки и опять перья, перья, перья всех сортов и размеров. Но

царствовали над всем цветные карандаши Фабера и огромные альбомы для рисования в холщовых переплетах. Всего не перечислишь. Глаза разбегались, столько интереса, открытий, занятий, проникновения в новый мир ожидало нас, детей, в этом магазине.

Милая дама с корзинкой взбитых волос на голове! Кто ее научил так необыкновенно все устроить в этом маленьком, уютном, домашнем, приветливом магазине? Оглядываясь назад, я благодарю ее за ту удивительную радость, которую она принесла в наше детство своим сказочным магазином под названием «Привет». Я до сих пор иногда вдыхаю запах этого магазина, я его не забыла. В «Привете» хотелось быть, жить, находиться всегда, всю жизнь…

Но мама расплачивалась, дама кивала своей неправдоподобной прической, колокольчик на дверях уже не звенел радостно, а грустно, прощально стонал — мы выходили на лестницу и дальше на улицу. Жалко, конечно, было покидать «Привет», но в кармане у меня лежала какая-нибудь очередная, добавочная к тетрадкам покупка, и, в общем, я была счастлива.

Я была счастлива, и мир сиял вокруг меня. Солнце горело в стеклах домов, снег искрился, извозчики лихо скользили по мостовой и кричали «но-о», из булочной Филиппова так упоительно пахло сдобными плюшками и ванилью, а веселые воробьи, пронзительно чирикая, как оглашенные, налетали на лошадиный навоз и, видимо, были так же, как и я, вполне довольны своей жизнью…

Мое детство было до краев наполнено счастьем, а между тем развивающийся характер захотел проверить себя в страдании и горе. Но ни того, ни другого не было. Были огорчения, но драмы не получалось. Не складывалась драма! И все же необходимость несчастья червяком начинала шевелиться во мне…

Если за мной в гимназию приходила няня, то перспектива услышать мелодию колокольчика из «Привета» ускользала, и все радости, связанные с этим звонком, потухали. В эти дни я старалась увидеть мир печальным и мрачным. Солнце хоть и сияло, но освещало только грязные окна подвалов, обшарпанные фундаменты и морщины домов. Снег становился серым от грязи. И эта нищая старушка около булочной Филиппова опять была на месте, и мне нечего было ей подать, так как денег у меня не было. Не было их и у няньки, судя по ее вздохам и тоскливым взглядам, которые она бросала в сторону переулка, в котором раньше помещалась «казенка».

Ах, как все некрасиво, и убого, и бедно кругом! И воробьи — дураки — сели в навоз и радуются. А чего тут радоваться? Это же

навоз, а они считают, что это счастье. Дураки они! А из открытой форточки слышен пятый номер Ганона, а это уж самая унылая музыка на свете! Даже дама из «Привета» не радовала, а была похожа на кукушку из часов, когда кивала из своего окна. Словом, все было мрачно вокруг, и наступал самый подходящий момент сделаться мне несчастной… Я начинала хромать, сильно припадая на левую ногу. Мне нравилось выдумывать, что я бедная и хромая, и вот иду, горемычная, из гимназии, и нога у меня не действует. Если мне удавалось немного отстать от няни, я оттопыривала языком щеку изнутри, чтобы быть не только хромой, но и криворожей. И тогда уже почти все прохожие непременно обращали на меня свои сочувственные взоры. Фантазия моя разыгрывалась, я сочиняла, что я подкидыш, что родители мои, графы, подкинули меня и исчезли, что в младенчестве по мне проехала телега, и я стала хромая и криворожая. И теперь никто меня не любит и никому я не нужна. Но мне и не надо — потому что я гордая. Я старалась отстать от няни еще больше, чтобы все думали, что я иду одна, что вообще я совершенно одинокая девочка. У меня нет ни брата, ни сестры, а «графы-родители», подкинувшие меня, — злодеи. Из глаз моих начинали капать слезы, и я бесконечно жалела себя.

Однажды, увлекшись своим одиночеством и криворожием, я не заметила, как столкнулась недалеко от дома с мамой.

— Танечка, что с тобой случилось? — раздался надо мной ее певучий и ласковый голос. Вторжение реальной действительности в мой несчастный, но гордый мир, был столь неожиданным, что я, грубо отпихнув маму, закричала, что она мне уже не мать и что я прошу оставить меня в покое в связи с тем, что я подкидыш. С моим бешеным характером вспыльчивая, но добрая мама не в силах была сладить: тут нужна была другая управа. И я была отведена домой и посажена в кабинете отца на стул около печки. Наказание углубило мое несчастье, и, сидя в ожидании отца, я продолжала обдумывать и развивать мысль о своем сиротстве и покинутости.

Наконец папа вернулся из гимназии. Он вошел в форменном мундире в кабинет, взял стул, поставил его рядом со мной, сел и мягко спросил:

— В чем дело, Таня, почему ты хромаешь на улице и делаешь гримасы? Расскажи мне, пожалуйста, — голос его был так добр и задушевен, глаза такие милые, а я так уютно пригрелась около печки и уже устала быть подкинутой сироткой, что характер мой не выдержал — я разрыдалась и поведала ему свою горькую судьбу. И как меня подкинули родители-графы, и как меня переехала телега, и я стала хромая и криворожая, и никому

ненужная, и всеми нелюбимая и покинутая!

Я хлюпала носом, прижавшись к его колючему мундиру, и мне казалось, что он и есть тот самый граф, который подкинул меня, и вот он нашелся, и оказался не злодеем, и теперь будет любить меня вечно…

Папа совсем не рассердился, снял с меня наказание, спросил, что я читаю, с кем дружу в гимназии (особенно заинтересовался моей дружбой с «княжной») и посоветовал больше не выдумывать, что я графский подкидыш, а выдумывать что-нибудь более интересное, и не про себя, а про других. А выдуманное рассказывать ему, когда он будет ложиться отдыхать после обеда.

— Каждый день, — спокойно, но строго сказал папа, — я буду ждать от тебя новую историю. А сейчас ты пойдешь и попросишь прощение за свою грубость у мамы.

Не умеющая долго сердиться мама тут же меня простила, и при ее участии я стала с большим волнением придумывать для папы рассказы. Про графов и подкидышей я забыла, это отскочило от меня, как блоха.

Часть вторая

1917 год

Как произошла революция — этот день, это утро, этот час — я не помню совершенно. Помню ее продолжение и измененный быт нашего дома. Главный интерес для меня заключался в том, что стреляли. (Наш дом оказался под перекрестным огнем, так как на колокольне Храма Христа Спасителя находились большевики, а в Александровском училище на Воздвиженке юнкера, — а мы жили на Волхонке, посередине.) Пули непрерывно летали через наш дом, окна в кухне были разбиты, свет в ней не зажигался. Два окна в отцовском кабинете загородили матрацами и подушками, там и днем горела настольная лампа, а папа сидел за письменным столом и занимался. Он был спокоен и невозмутим.

Главная жизнь дома переселилась в умывальную комнату, не имевшую окон. Булочные не работали, и нянька целый день сидела около печки в умывальной, пекла лепешки, мешала угли кочергой, ну и конечно, рассказывала про Додона. Додон, как всегда, был главным в происходящих событиях. Когда со звоном рушилось очередное стекло, няня говорила: «Ишь, Додон бесится — опять стекло бьет — предупреждение нам дает». Додоновское предупреждение было неясно, но новая жизнь нравилась мне чрезвычайно. Помню гречневую кашу, сделавшуюся главной едой

в нашем доме, которую варили в голландской печке, и нянины бесстрашные походы через двор в погреб за капустой и в сарай за дровами. Помню мамино волнение по поводу исчезновения из дома на целый день Володи, его оживленное возвращение с пустыми гильзами в руках, и заявление, что юнкеров наконец отогнали от Храма Христа Спасителя…

И опять начинали стучать пули в наши окна и стены, и опять исчезал Володя, и опять волновалась мама. Мне казалось, что все это длится давно и бесконечно и никогда не кончится, и так прекрасно было жить без немки, без режима, без гуляния, с вечно топящейся печкой, нянькой и Додоном, который ожил и крушил теперь стекла в нашем доме и стучал в наши стены…

Два происшествия случились со мной в эти дни.

Движимая любопытством, в один из вечеров я решила пробраться в необитаемую кухню. Никто меня не заметил. В кухне было темно, но какой-то голубоватый свет время от времени, как зарница, освещал стены, и искры, похожие на трамвайные, пробегали по зеркалу печки. Было тихо, не стреляли. Только я наладилась пробраться ощупью к окну, как где-то совсем близко страшно ударило, загрохотало, кухня вздрогнула, а я споткнулась и упала в огромный медный таз с вылитым в него, запасенным впрок керосином. Няня, мама и весь дом извлекали меня из керосинового озера, ощупывали, оглаживали, раздевали, мыли в умывальной, утешали и бранили одновременно. Теплой воды не было, керосин очень сильно щипал меня, и я ревела.

И опять забухало, застреляло кругом. И опять няня начала креститься и уговаривать Додона не беситься, а я, наполнив всю квартиру керосиновым запахом, заснула…

Второе впечатление было зрительное. Уже днем, но тоже потихоньку, на цыпочках, пробираюсь в темный кабинет отца и лезу головой под матрац, загораживающий окно. И сразу ослепительный свет солнца в Знаменском переулке, а внизу по мостовой бегут юнкера.

Одни хромают, другие в крови, у третьих забинтованы головы и бинты тоже в крови. Вообще очень много крови — на руках, на лицах, на бинтах — так мне показалось. Какие-то они все были молоденькие и недобрые. Некоторые оглядываются и стреляют в сторону Пречистенских ворот. А около одного, который уже не стреляет, а только ковыляет, опираясь на ружье, как на костыль, вьется белая лайка, тоже перепачканная кровью. И все бегут — и люди, и собака. Так ясно помню эту картину, что могла бы нарисовать ее и сейчас: красное, белое и серое. Белые лица, повязки из бинтов и кровь на них. Белая собака и кровь на ней, и серая булыжная мостовая. И горе, и ужас, и ощущение гибели…

Все это видела я меньше минуты, потому что тут же опустила матрац и убежала, но запомнила на всю жизнь.

Помню ощущение счастья, что меня от этого солнечного ужаса отделяет стена и волосяной матрац, и дом, и сумрак папиного кабинета…

Больше попыток наблюдать революцию я не делала, но на Володины исчезновения начала смотреть как на подвиг, и волновалась вместе с мамой.

Помню еще какие-то летающие тревожные слухи: Нету хлеба, закрыты магазины, нет занятий в Первой гимназии, тяжело ранена через окно знакомая барышня Таня Беруля, ранен в голову гимназист Первой гимназии, носивший хлеб для большевиков на колокольню Храма Христа, и так далее.

Но в нашем доме пока все были целы и установившийся быт не менялся: няня пекла лепешки, а Володя доказывал маме, что он взрослый и что его не надо опекать. Это «печь» и «опекать» для меня соединилось в одно, а все вместе с первыми днями революции.

Больше воспоминаний не осталось: была мала и ничего не понимала в происходящем.

1918 год

1918 год был трудным и голодным. Мы голодали очень сильно, впрочем, так же, как и другие семьи, похожие на нашу, где ничего не запасено: ни деньги, ни вещи, ни продукты. Где никто не умеет торговать, менять и выгадывать. Где жили одним днем. Где все богатство заключалось в книгах да нескольких хороших картинах и где продажа книг была равносильна продаже человека.

Словом, жизнь была так себе. Но и в этой трудной жизни открылось для меня много интересных и необычных вещей. Например, у папы в кабинете поставили маленькую железную печку под названием «буржуйка», и мне ее разрешали растапливать. (При моей страсти к огню это было подлинное наслаждение.) На этой буржуйке мама с няней пекли прекрасное печенье из кофейной гущи и картофельных очисток С этим печеньем пили морковный чай. А на Рождество вместо елки я нарядила цветок араукарий. Получилось очень красиво, и мама меня хвалила, что я так хорошо все устроила.

Но жить становилось все труднее. Быстро были выменены на хлеб все мамины немногочисленные колечки и сережки. Остались неприкосновенными только золотые часики с цепочкой (подарок деда), их, как мама говорила, есть было нельзя, их нужно было

оставить на черный день. Но еще до черного дня мы все очень похудели и стали какие-то очень зеленые.

Семья наша поубавилась. Брат Володя уехал служить в Полевой контроль Западного фронта. Маня убежала к родителям в деревню еще в семнадцатом году. Кухарка Лиза нашла себе другое, более «сытное» место, хотя все время забегала к нам, и только няня продолжала еще суетиться в нашем доме. Толку, правда, от нее было мало. Стара стала наша нянька, силы у нее поубавилось. И начала она тосковать. И вот настал день, когда няня, обливаясь слезами, заявила, что мочи ее больше нет, что дите (это я) выросло и что едет она к своему сыну Ваське на отдых, на покой в деревню Непрядву, на Куликово поле. Завязала она свои вещи в узел и уехала. Очень стало пусто в доме без няни.

Но не успела я еще вдоволь нареветься, не успели мы извести в буржуйке изрубленные няней стулья, как она явилась обратно, веселая, помолодевшая, с большим мешком на спине и с заявлением, что «жить на неге» у Васьки ей невмоготу, в то время как здесь ее «сродня» (то есть мы) «горе мыкает». В мешке оказалась картошка и пшеница, из которой няня тут же сварила очень хорошую кашу. Привезла она даже десяток яиц, и они были необыкновенно вкусные, гораздо вкуснее, чем до революции. Сама нянька яйца есть отказалась.

— Я у Васьки яишню ела и «самгон» пила, а эти яички я для вас, как для сродни везла. И точка, — сказала она.

Оживление няни еще объяснялось тем, что в Непрядве она просватала сыну Васе невесту.

— А хороша ли невеста, нянечка? — интересовался папа.

— Ох и хороша, барин, ох и хороша, хоть и перестарок, — нараспев отвечала няня. — Толще девки во всей округе не найдешь, на всем Куликове не сыщешь. Ножищи — во! Ручищи — во! Обширная девка, однова дыхнуть…

Вечером, сидя около печки, няня пригорюнилась: жалела сына Васю.

— Вот, Танечка, вы все у отца с матерью детки ровные, как ягодки, все из себя ладные, а Васька мой в четырнадцатом годе из войны вышел поврежденным на левую ногу и без отца рос. Отца-то деревом придушило. И рос он у меня без гнезда, как щегленок махонький, а я все по людям, все по людям.

— Нянечка, ты же не по людям, а у нас живешь!

— Эх, милок, а до вас-то я столько горя мыкала, не счесть моих кручиною. — Няня плакала.

Но долго пребывать в тоске няня не любила; поплакав, она начинала строить планы Васиной свадьбы, которая была не за

горами, и в деревне Непрядве спешно готовились к торжеству.

Няня прожила у нас до нашего отъезда из Москвы. Денег ей, разумеется, уже никто не мог платить. И жила она на правах «сродни» — точнее говоря, самой главной в доме…

Иногда, мешая угли в печке-буржуйке, она вдруг задумывалась, принюхивалась к угару и проникновенно заявляла: «Сайгоном отдает, однова дыхнуть, на Куликовом его варють»! На Куликовом, может быть, его и варили, но у нас в Москве самогону не было, водки тоже не было, и стала наша няня трезвенницей. Не знаю, от свалившейся на нее добродетели или от голода, только ушел вместе с пьянством от няни удивительный ее сказочный дар. И Додон, наш с ней общий герой, видимо, переселился из Москвы в деревню Непрядву на Куликовом поле. Нас он покинул. А может быть, просто мы стали старше?..

После революции Первую московскую мужскую гимназию слили с Мариинским женским институтом и в ней стали учиться мальчики с девочками вместе. Гимназию Констан закрыли. И наша Нина стала теперь учиться в Первой мужской гимназии. Вот потеха-то! А я уже нигде не училась. Меня ни с кем не слили, и я осталась без места. Нину-то папа принял в мужскую гимназию, а меня — нет.

К этому времени нашего отца выбрали председателем школьного совета, и он стал получать на большой перемене в гимназии какой-то не то суп, не то кулеш. А весной 1918 года всем преподавателям Первой гимназии дали маленькие участки земли на «Зеленом дворе»…

Лето 18-го года было томительное. В Москве душно и тяжко. На огороде у нас, кроме редиски, ничего не выросло: отец был человек больной и копать не мог, Володя уехал на Западный фронт, мама занята, няня стара, я мала, Нина, правда, что-то ковыряла, но из этого ковырянья получился небогатый урожай.

Помню, как приехал в Москву в отпуск (или в командировку?) повзрослевший, грязный и веселый брат Володя. Он привез два каравая хлеба нам в подарок. Караваи эти очень выручили нашу семью. Были они круглые: четверти две в диаметре. Сверху сероватые, а с боков темно-коричневые, почти черные. У одного хлеба бок был треснут — от жара печки — и корочка на трещине обгорела и обуглилась. Оба каравая были довольно низкие (в центре не выше ладони, поставленной ребром), а к их дну припеклись кленовые листья, пожелтевшие и подгоревшие. (В тех местах, из которых приехал Володя, хлеб пекли на кленовых листьях.) Черствый, плотный, совсем без пор, немного сыроватый, посыпанный сверху тмином, хлеб этот был восхитительно вкусный. Больше половины века прошло с моей

встречи с этим хлебом, но я отчетливо помню его вид, вкус и запах.

1919 год

Лето жаркое, зима холодная, и то и другое голодное и скучное. Что-то разладилось в жизни, а новое еще не наладилось.

В конце зимы 1919 года мне стало известно, что отец хочет организовать загородную сельскохозяйственную школу или, как тогда называли, детскую колонию. В эту колонию зачислят неимущих и голодных детей из Первой гимназии в возрасте 15–16 лет. Они научатся работать в поле, на скотном дворе, в огороде и вообще выучат всю сельскохозяйственную работу и будут сами себя обслуживать, а педагоги будут их учить (как учили бы в нормальной школе) разным предметам.

Было уже определено, где будет колония. В четырнадцати верстах от Загорска (тогда он назывался Сергиев Посад) находилось чье-то бывшее имение. В барском доме расположился туберкулезный санаторий, снабжавшийся из Москвы, а службы: скотный двор, молочная, овин, небольшой дом с мезонином (предназначенный в прошлой жизни для рабочих), молотилка, сарай и баня, а также земельные угодья — все это отдавалось в собственность колонии, то есть 8-й сельскохозяйственной загородной школе второй ступени.

Опыта в организации таких школ не было. Особенно трудно было с преподавателями. Старые, дореволюционные учителя не соглашались ехать вместе с папой в деревню, в неизвестность, новые учителя еще не народились, а весна приближалась, и отец заметно волновался. Ведь нужно было обработать огород, посеять зерновые культуры и обеспечить всех детей едой на следующий год. Нужно было достать кровати, матрасы, подушки, одеяла, лекарства, книги, миски, ложки, вилки, одежду, семена, мыло, керосин и так далее. А папа был один. И все-таки он принял решение ехать в колонию с голодными детьми, надеясь, что за лето ему удастся найти преподавателей, тем более что в готовую, оборудованную и налаженную школу люди поедут скорее и охотнее.

Мы должны были ехать вчетвером — папа заведующим, мама — зав. хозяйством, педагогом и лекарем. Нина ученицей, а я, сбоку припека, неизвестно при ком — при папе или при маме, или при колонии.

Совершенно не помню ни подготовки, ни переезда, ни поезда. Но если очень прищурить память, то вдалеке, в каком-то тумане времени, встает почти обесцвеченная картина: довольно большая

группа — даже толпа — мальчиков и девочек стоит на фоне какого-то здания. Под ногами у них не земля, а булыжная мостовая. Жарко. Пыльно. Печет солнце. Все эти подростки держат в руках какие-то вещи. У них одно общее усталое лицо, они похожи не то на пленных, не то на новобранцев. И среди них папа (тоже худой и усталый) с тетрадкой в руках. Он кого-то выкликает, кого-то пересчитывает, что-то отмечает в тетрадке. А я волнуюсь о нем: зачем он стоит на солнце без шляпы, ему же нельзя этого делать, он же больной. Вот и все, что помню…

А потом уже сразу — как в воду с разбега — Сергиево-Игрищево. И колония.

Тут уж ничего нельзя описать — это было не впечатление, а ошеломление. Вся природа вокруг меня — и вся моя! Ни на дачу в Оболенское, ни гулять на скверы к Храму Христа Спасителя, а тут она, эта природа, рядом: во рту, в ушах, в носу, в глазах! Каждый день, каждый час, каждую минуту! Ногами, руками, зубами чувствовала я ее. В дождь и в ведро, зимой и летом, весной и осенью! То, что было раньше лакомством — третьим блюдом, стало повседневностью: земля под босыми ногами каждый день, а не после дождя с маминого разрешения; теплый бок лошади, а не угощение ее сахаром с руки; на лыжах без палок по насту до Новоселок в рваных валенках с босой пяткой, а не катанье с горы на шведских санках. Купаться в дождь. Как собака, по запаху узнавать, где есть грибы. Копать картошку по щиколотку в грязи. Зимой с горы на розвальнях, без лошади. В грозу бегать в поле под ливнем… Объедение, обжирание природой. Не любование, а полное соединение с ней…

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАПЫ

Я заглянула к папе в комнату — он сидел за столом и клеил что-то круглое из большой географической карты. На столе стояла бутылка с клеем и лежали большие ножницы. В правой руке у папы была лучинка, которую он совал в клей, а левой — придерживал бумагу. Мне стало очень интересно, что такое он выклеивал? Ведь папа всегда все делал очень аккуратно и красиво. Хорошо было бы разглядеть все это поближе, и я подошла к столу. Но папа холодно посмотрел на меня и строго сказал:

— Иди, Таня, займись делом или посиди на солнышке. Когда будет нужно, я тебя позову.

Ну, конечно, я тут же ушла и села на крыльцо на солнышке. Делать мне было нечего, бегать много я не могла, так как была еще слабой после московской голодовки, а трудпроцессы уже

кончились. Сегодня девочки, которые послабее (и я с ними), пололи и продергивали морковь на огороде. Тетя Груша нам показала, как это нужно делать и на каком расстоянии должна расти морковка от морковки. Выдернутую морковь мы вытирали об траву и ели. Эти морковки были бледно-желтенькие и еще маленькие — величиной и толщиной со спичку, — но очень вкусные. Девочки говорили, что они — эти морковки — еще к тому же питательны. Думаю, что они действительно были питательные, потому что я ясно чувствовала, в каком месте моего живота были сложены все эти морковки, залитые водой из колодца.

Итак, я села на крыльцо рядом с бывшим сенбернаром Желтым, обняла его и стала выдирать из его шкуры репьи. Вначале Желтый ударил несколько раз хвостом по крыльцу, а потом перестал совсем шевелить им: видимо, ему не очень нравилось, как я вытаскиваю из него колючки.

— Ничего не поделаешь, братец, — сказала я ему, — надо терпеть.

Через некоторое время вышел папа и позвал меня к себе. Когда мы пришли к нему в комнату (он жил один, потому что мама находилась еще в Москве с больной Ниной), папа почему-то запер дверь на крючок. Это было странно. Не менее странно было и то, что у него топилась печка, хотя было лето. В папиной комнате была не голландка, а русская печка. В ней-то и горела слабым огнем лучина.

— Чего только не придумает этот папа, — подумала я и почесала в затылке, — ведь если бы тут была мама, он никогда бы не затопил в такую жару русскую печку.

Папа был серьезен и строг, и, как мне показалось, несколько смущен. Он взял со стола огромную сковородку, склеенную из карты и, надрезав ее, вырезал в середине кружочек. Получился воротник с загнутыми краями, который папа и надел на меня. «Если он хочет мне сделать маскарадный костюм, зачем же он волнуется и стесняется?» — думала я. А папа явно был взволнован, и мне очень хотелось ему помочь. Я опять почесала голову, потому что вошки, которые завелись у меня в голове (я это знала) все время кусались.

— Не поднимай руки, ты сомнешь воротник, — еще строже, чем раньше, сказала мне отец. — Потерпи, сейчас голова у тебя перестанет чесаться.

Тут он вынул из ящика стола огромный частый роговой гребень (где только он такой достал? Наверно, это лошадиный) и принялся чесать мне голову. Вошки начали часто падать на бумажную сковородку и стучали по ней, как капли дождя. Мне

было удивительно, как в такой лысой голове, как у меня, могло поместиться столько вошек.

— Бедный папа, — думала я, — не его это дело вычесывать меня. Зачем он это делает, он же все устроил неправильно. Я же видела, как девочки вычесывают себе и друг другу вошек: ничего похожего, никакого клея, ни сковородки, ни топящейся печки, ни лошадиного гребня и в помине у них не было. Не его это дело — ловить вошек. Он ведь заведующий школой, и не надо ему меня чесать. Ну сказал бы мне: Таня, ты обовшивела, попроси кого-нибудь из старших девочек заняться твоей головой. И все было бы сделано.

А так как-то нескладно все получается: он дерет мне голову, а я должна делать вид, что не понимаю, зачем он меня дерет. Я же вижу, что он стесняется, что ему неудобно. Ведь он думает, что я не знаю ничего про вшей и что это стыдное. Ну как мне ему объяснить, что я все знаю про них и что почти у всех девочек есть вошки, и ничего тут стыдного нет, потому что это, как они говорят, не от грязи, а от голода. Но объяснить все это было невозможно, так как отец делал вид, что он просто решил меня причесать, а вошки тут ни при чем, вошек нет. Уж он чесал меня, чесал — пока не расцарапал этим лошадиным гребнем всю мою голову, а потом снял с меня бумажную сковородку и бросил ее в печку. После того как он сжег моих вошек, он причесал меня почему-то на прямой пробор — хотя у меня была челка — помазал мою расцарапанную голову какой-то вонючкой и очень довольный собой отпустил меня… Я ушла, но сердце у меня обливалось кровью от жалости к нему. Я все твердила себе: «Не его это дело вычесывать меня, не его это дело. Это я должна за ним следить, пока не приедет мама, а не он за мной. Ах, Господи, не его это дело! И больше я никогда, никогда в жизни не буду чесаться при нем. Пускай я хоть вся обовшивею, но он никогда не узнает об этом», — думала я. И даже поплакала по этому поводу за амбаром у дороги.

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА МАМЫ

Как весело пошло у нас дело в колонии, как только приехала мама с Ниной! Приехали они совсем новые и непохожие на себя. Нина стала высокая и совсем взрослая. Ей отрезали косу во время тифа, а мама тоже отрезала, за компанию, свою длинную, толстую косу, про которую наша Маня говорила, что волосы у нашей барыни, как лошадиный хвост. И вот теперь наша мама отрезала под самый корень свой лошадиный хвост (в девятнадцатом году все отрезали волосы, потому что вши

одолели людей. Были даже выпущены плакаты против вшей). Теперь мы все трое: мама, Нина и я стали стриженые. Все уравнялись…

Я передала маме заботу о папе и, конечно, подробно рассказала про лес и поле, про коров и лошадей, и вообще про все счастье, которое ее ждет в колонии.

Мама, засучив рукава, начала наводить порядок. В комнате у них с папой сразу стало уютно и красиво. Сделали из пустого ящика комодик, достали откуда-то три стула. Мама привезла с собой мягкие московские подушки для папы и его одеяло. С бревенчатой стены заулыбался портрет Хлебникова (без рамы).

С приездом мамы в колонии откуда-то появился рояль, вслед за ним из-под земли выскочила учительница музыки Анна Павловна Орнатская, и сразу зазвучала музыка, и запело все кругом. Мама привезла лекарства и начала лечить больных и делать перевязки (в молодости она училась два года на медицинском факультете. Медицина и музыка были ее страстью).

Постепенно в колонии налаживалась жизнь. Каждый человек и каждый предмет обрели свое место. Вывешивалось расписание с дежурствами и назначениями на работу (работу тогда называли трудпроцессом). Установился строгий режим. Летом: подъем, завтрак, работа, купанье, обед, отдых, работа, ужин и совсем поздно веселье.

Зимой: подъем, завтрак, занятия, работа (пока светло), обед, занятия, ужин, а вечером занятия по музыке в кружках и репетиции спектаклей и концертов. Главная работа, конечно, была летом — зимой меньше. Какая зимой работа? Ну, мальчики валили в лесу деревья, привозили, пилили и кололи их на дрова, чистили скотный двор, лошадей и конюшню. Девочки — мыли полы, дежурили по кухне, доили коров, пекли хлеб, мыли посуду. Вот и вся работа! Зимой главным образом учились.

Тогда казалось, что весь этот распорядок и порядок возникли сами по себе, только потом я поняла, что всю эту жизнь организовал отец. Он вставал раньше всех и шел с дежурными в амбар отвешивать продукты на предстоящий день. Он окружил себя книгами по сельскому хозяйству. Подолгу беседовал с тетей Грушей относительно корма скотины. Следил за всеми «трудпроцессами». Он нанял заведовать сельским хозяйством немца Эрнеста Карловича, который засадил огромное пространство турнепсом, за что и был прозван Турнепсом Карловичем. Правда, этот турнепс (потом я его никогда не ела) выручил в те голодные годы не только коров, но и детей. Когда Эрнест Карлович куда-то рассосался и исчез, отец и сам уже усвоил все виды сельского хозяйства и знал, когда пора начинать

косить, сеять, жать, сажать или копать картошку.

Из Москвы продукты поступали все скуднее и экономней, а между тем мы в колонии начали питаться все лучше и лучше. У нас появилась своя мука, своя картошка, своя гречиха, свои огурцы, капуста, морковь и молоко. Не было сахара, чая, мыла и масла. Плохо обстояло дело со спичками, керосином, обувью и одеждой. Но в общем мы жили хорошо, и время это вспоминается, как одно из самых прекрасных и поэтичных. Весело мы жили и дружно.

НАША КОЛОНИЯ

Как описать нашу колонию? Смотрю на выцветшую любительскую фотографию. Пять старых берез на голых, высоких — в небо — стволах похожи на пять метелок, воткнутых в землю палками, а кругом игрушечные строения: овин, скотный двор, молотилка, молочная, амбар, сарай и несуразный дом (изба в три связи), на котором, совсем уж не кстати, шапкой поставлен мезонинчик в три окна…

Дом был мал для колонии. Он был наполнен нами, как улей пчелами, он содрогался и дрожал от многоголосья. От тесноты его распирало изнутри, и иногда казалось, что убогая корка этого дома лопнет и вся начинка, состоящая из нас, нашей юности, веселья и пения, вывалится наружу. Словом, для коров и лошадей было много места в колонии, а для школы и детей — не хватало.

По четырем щербатым ступенькам мы поднимались на крыльцо, половину которого занимал пес Желтый. Желтый раньше носил гордое имя Нерон, но голод, старость и бездомность превратили сенбернара Нерона в дворового Желтого. Этот пес так много прожил и пережил, что был уже не собакой, а человеком. Когда мы приехали в колонию, Желтый был нам представлен скотницей тетей Грушей, маленькой коричневой старухой, которую папа называл инструктором по сельскому хозяйству, а она смущалась, хихикала и, закрывая свой беззубый рот корявой рукой, говорила: «Зачем дирехтур меня структором именует, ни гожается это! Не структор я, а рабочий человек, скотница я!» — И, сокрушенно махнув рукой, уходила к коровам на скотный двор. А между прочим, эта самая тетя Груша и научила всех наших колонисток доить коров, жать серпом, вязать снопы, молотить, навивать стога, шевелить сено, окучивать картошку и капусту, полоть и даже косить. Ведь никто ничего не умел: городские все приехали жители.

Про тетю Грушу мы еще вспомним, а сейчас, потревожив Желтого, откроем дверь в дом. Длиннющий, узкий, светлый (в

три окна) коридор тянется во всю длину этого несуразного дома. Можно разбежаться и прокатиться по половицам, как по льду, не боясь занозить ноги: так они накатаны. Налево дверь в столовую-кухню. Темноватая столовая перегородкой, не доходящей до потолка, отделялась от кухни, половину которой занимала русская печка. В этой кухне готовили еду на всю колонию — на людей и на скотину.

Дежурные девочки ставили и пекли хлеб, развешивали его утром (по 400 г.) и выкладывали на стол. Очень важно было встать пораньше и занять горбушку. (Занять — значило воткнуть в понравившийся тебе кусок лучинку). Если же горбушки все были заняты, то хотя бы «притиск» (кусок, имеющий корку с трех сторон), а уж если и притиска нет, то просто середину с двумя корочками нечего было и занимать: все равно все хорошее уже разобрано, а на эти куски никто не польстится. Тут уж нечего зря толкаться в кухне, и так там тесно.

Войдешь в кухню-столовую рано утром до звонка, а там на небольшом столе все лучинки и лучинки, разной высоты стоят, как свечки в церкви около иконы. Начнешь отыскивать себе не занятый кусочек, а дежурная девочка скажет: «Я тебе уже заняла, Туська, вот твоя горбушка». И вприпрыжку обратно в постель. Удача!

В этой кухне-столовой стояли грубые самодельные столы (буквой «Г») и лавки. На узком конце стола, на председательском месте сидел заведующий школой А. Ф. Луговской. А когда ему надо было что-нибудь сказать, он тихонечко стучал ложкой по своей миске — и наступала абсолютная тишина. Говорил А. Ф. Луговской всегда очень тихо, возвышать голос он не умел и не мог…

Готовить в русской печке и вынимать из нее ухватом огромные чугуны учила наших девочек Александрушка. Откуда она взялась, эта Александрушка, я не знаю. Была она небольшая, полная и хорошая женщина. Наши девочки вначале не умели доставать ведерный чугун из печки и часто расплескивали суп. Тогда Александрушка брала ухват и, приговаривая: «два рыла в печку не суются, а ну пасунься», — вытаскивала чугун сама. Садясь обедать, Александрушка крестилась на пустой угол и, вместо молитвы, говорила: «Что потопаешь, то и полопаешь».

Как я уже сказала, еду готовили в чугунах. Сервировка тоже была небогатая: оловянные миски и ложки, да железные кружки. Хлеб раздавали утром на весь день. Съешь его утром, будешь обедать без хлеба. Утром же давали морковный чай (без сахара) и кружку молока. Чай почти никто не пил, а молоко выливалось в миску, туда же крошился хлеб и ложкой, как суп, мы ели эту

дивную, вкусную еду. Утренняя еда была основная и самая хорошая. Обеды и ужины, особенно в первый год нашей жизни, прямо скажу, были неважные. Так, баланда какая-то из селедочных голов и чечевицы. Через год, когда был снят первый урожай, еда наша стала куда лучше. Совсем недурная стала наша еда! Получалось, что Александрушка была права, говоря: «Что потопаешь, то и полопаешь».

За кухней-столовой по коридору шли две двери, обе вели в одну комнату, которая была культурным центром всей колонии: в ней учились, давали концерты, ставили спектакли, читались лекции по истории музыки, ну и еще, к сожалению, в ней же спали. Носила она название «комнаты нижних девочек», а девочки, которые в ней жили, назывались «нижними девочками». Раньше (до нас) эта комната была разделена пополам, теперь же о перегородке напоминала только огромная беленая мелом квадратная печка, несуразно стоящая посередине помещения.

Памятная и многоуважаемая эта печка была очень важным предметом в нашей жизни — все вертелось вокруг нее. Она давала тепло, в ней — в первый голодный год мы варили «варганку» (об этом я расскажу потом). Печка условно делила комнату на спальню и класс, на зрительный зал и сцену, об нее грели руки зимой после работы, об нее же старшие девочки потихоньку пудрили носы перед концертами: вырвут из стены паклю, потрут ее сначала об печку, потом об нос — и очень хорошо получалось! И, наконец, вокруг печки танцевали. Танцевали мы много, разумеется, только вечером, после работы и ученья. Танцы бывали торжественные (назначенные) и возникающие стихийно.

Для концертов, спектаклей и «назначенных танцев» из комнаты нижних девочек складывали и выносили в коридор все кровати, а матрацы и подушки громоздили в угол к стене. В результате этой перестановки выстраивался прекрасный «зал» с могучей печкой посередине. Если давали концерт или разыгрывали спектакль, то лавки ставили рядами с двух сторон печки, а правая, меньшая половина комнаты (где стоял рояль) была сценой. При «назначенных танцах» никаких лавок не ставили, просто кружились вокруг печки.

Танцевали разные танцы: краковяк, венгерку, лезгинку, падекатр, падеспань, модный в те годы тустеп, ну и, конечно, вечный, не умирающий вальс. Танцевали до изнеможения, до одурения… Уже у тапера Анны Павловны Орнатской сводило руки, и ее заменяла мама. Потом маму, которая сама была не прочь потанцевать, сменял кто-нибудь из девочек или мальчиков, и опять неугомонная, отдышавшаяся Анна Павловна садилась за

рояль, и все начиналось сначала. Приносили ведро с водой и березовым веником кропили пол, чтобы осела пыль, которая поднималась от нашего топота, как на столбовой дороге. А мы все танцевали и танцевали, до тех пор пока керосин в лампе-молнии выгорит и фитиль начинал обугливаться, или приходил А. Ф. Луговской и молча убавлял света в лампе: это значило, что пора ложиться спать и кончать веселье. Но как не хотелось!..

Были в колонии классные танцоры, вроде Кости Когтева, но большинство мальчиков танцевали плохо, приходилось их учить, приходилось танцевать девочке с девочкой «шерочке с машерочкой», как тогда говорили.

Лампа-молния пылает, пыль стоит столбом, вокруг печки «летают и кружатся пары». А по углам топчутся новички. Вот Таня Шабашова учит венгерке Федю Чиркова, рядом Юра Осекин, прозванный «тумбочкой» (тихий мальчик с круглым лицом и тумбообразной фигурой) разучивает в одиночку вальс и сам себе считает: раз-два-три, раз-два-три…

У нашей Нины свой метод обучения танцам: ничего не показывать, не считать раз-два-три, а хватать неумельца и вертеть его во все стороны, благо сил у нашей Нины хоть отбавляй. Нинин метод обучения широко применяется и другими девочками крепкого сложения.

Танцуют девочки главным образом босиком, хоть Володя Иванов сшил многим туфли на веревочной подошве с каблучком из пустой катушки. Но в этих туфлях можно было только сидеть «ножка на ножку», потому что каблучок-катушка отлетал после первого танца.

Если танцуешь босиком, то тут нужна была сноровка, так как мальчики иногда «для фасона» норовили обуться. Как пройдется такой Юра-Тумбочка каблуком по твоей босой ноге — если не успеешь увернуться — тут уж будет не до танцев. Но шли, шли героини-девочки на этот риск и жертвовали своими ногами…

Кончалось веселье, вносили из коридора кровати, ставили их на левой половине комнаты — так близко друг от друга, что вдвоем в проходе и не разминешься — клали на них сенники, застилали грубыми солдатскими одеялами: получалась спальня. А в правой половине комнаты делали класс: двигали на место рояль, ставили длинный стол и две лавки. Потом тушили лампу и засыпали, еще не успев положить голову на подушку из куриных перьев…

Если пройти дальше по коридору, то за углом скрипучая лесенка поднимала вас в мезонин из двух комнат. В первой крохотной светелке жила самая молодая особа в колонии — учительница музыки Анна Павловна Орнатская. Откуда она

появилась — неизвестно, просто, видимо, завелась, как гриб от сырости. Сколько ей лет, тоже было неизвестно. Шептались, что 90, но другие утверждали, что 80 — точно не выяснено. Но сколько бы ей ни было на самом деле, все равно она, была самая молодая и веселая.

Эта дивная, незабываемая старуха смеялась так самозабвенно, что вставные челюсти подскакивали вверх и вниз между ее сморщенными, лиловыми губами. Плакала, как ребенок, если читала грустную книжку или если ученики ее плохо играли, всем интересовалась (особенно секретами девочек), любила всех людей без исключения и любое веселье. Когда-то, в XIX веке, она окончила Институт благородных девиц, видела нескольких царей, обожала музыку, а когда выходила замуж, то была уверена, что детей вынашивают и родят не женщины, а мужчины.

Играла она великолепно и необыкновенно темпераментно. Цепкие, подагрические руки ее вырывали звуки из рояля и отскакивали от клавишей, как от горячих углей. Треснутое пенсне дрожало на носу, потерявшем от времени всякую форму. Она грозно смотрела в ноты, тряслась и подпрыгивала на табуретке как дикий воин в седле — когда было «форте», и, замирая, начинала крутить по-лебединому своей жилистой шеей, переходя на «пьяно». Она играла нам на концертах и просто по вечерам — Бетховена и Баха, Листа и Шуберта, Чайковского и Бородина, Скрябина и Равеля. Мы слушали. Она аккомпанировала маме, когда та пела, мы тоже слушали и мало-помалу начали проникать в музыку.

Анна Павловна учила музыке чуть ли не всю колонию (мечтала обучить нотам и тетю Грушу, которую находила музыкальной), ликовала, если кто-нибудь быстро продвигался вперед. Увлекала лентяев и страдала за неспособных. Она была уверена, что революция произошла исключительно для того, чтобы все учились музыке…

В комнате у нее было две ценности: огромная гора нот и ночная ваза ручной работы с маркой Севрского завода, предмет первой необходимости, место которому было безусловно в музее, но уж никак не у нее под кроватью…

Затянутая в корсет, с накладными волосами на плешивой голове, со старой, истертой серебряной ложкой в руке (не могла есть казенной оловянной), она важно приходила обедать и с завидным аппетитом ела и похваливала суп, сваренный из селедочных голов и турнепса. Анна Павловна распространяла вокруг себя добродушие и музыку, и мы все ее очень любили.

За тонкой перегородкой, отделявшей светелку учительницы музыки от соседней комнаты, жили старшие девочки и с ними

наша Нина. Их комната называлась комнатой «верхних девочек». По стенам, или, как говорила тетя Груша, «в продолжку», там стояли кровати, а на стенах висели почему-то (где только они выкопали!) репродукции Франца Штука в рамках из еловых веток Повернуться там было негде, но все-таки это была прекрасная комната, безусловно красиво украшенная. И еще у верхних девочек было настоящее овальное зеркало и щипцы для завивки волос, а сами верхние девочки были все красотки одна к одной. Все они пели и все играли на рояле. Их было пять: Нюра (она же «Барка»), Нина, Катя, Люда («Цыпленок») и Людмила Барютина. Потом каким-то чудом удалось втиснуть к ним шестую кровать вместе с Ольгой Грибаковой — по прозванию «Ганнибобель». Ганнибобель красотой не блистала, характер тоже имела спорный и пружинистый, но пианистка была отменная и лучшая в колонии…

Зазвонил колокол… С топотом бегут по лестнице на работу или на урок верхние девочки, но на последних ступеньках задерживаются и усмиряют свой пыл, дабы не схлопотать по лбу дверью, ведущей в комнату зав. школой А. Ф. Луговского.

В этой комнате Александр Федорович живет, работает, принимает посетителей, распекает провинившихся, устраивает ежедневные обсуждения плана сельскохозяйственных работ и еженедельные заседания педагогического совета (в этой же комнате живет его жена Ольга Михайловна). По звонку он так же, как все колонисты, выходит из своей двери, но не спеша, без топота и крика. Вообще он любит тишину и порядок, и перед его дверью лучше не шуметь.

Дальше, в конце коридора, было помещение со странным названием «докторская». Почему докторская? Правда, там мама принимала больных и делала перевязки, но главным образом это был класс, где училась старшая группа, а вечерами отец вел там кружки: по истории драмы, истории искусства и поэзии.

Докторская когда-то была неплохой комнатой, но от нее все время откусывали кусочки для вновь появившихся учителей — они тогда назывались шкрабами, (школьные работники). Вообще в хвосте дома непрерывно что-то переплывало и перемещалось с места на место: то перегородки, то шкрабы. Н. А. Арсеньев (историк), К. В. Арсеньев (французский и немецкий языки), М. М. Кубларова (физик), Милентьев (математик) и еще разные другие. Вот и все обитатели нашего «главного дома».

Мальчики там не жили. Они, как тараканы, жили по щелям в разных местах: в бывшей молочной, в сарае (переделанном в спальню), в отвоеванном от сеновала закутке, который они сами оборудовали под жилое помещение.

Тесно было в нашей колонии, мало в ней было места, а обитатели ее росли и множились, как на дрожжах. Тесно было нам, но мы не обращали на это внимания и не страдали, тем более что летом мы почти не находились в помещении: все больше на улице.

Зимой неказистый участок перед нашим домом сильно заносило снегом и пять растущих на нем берез принаряжались в кружево инея. Осенью земля хлюпала от грязи, грязно было и весной, пока не проклюнется первая травка. Хорошо помню летнюю, теплую, вытоптанную вокруг берез землю, неказистые кусты сирени по «фасаду» дома, дырявый забор и калитку в огород, куда мы гурьбой устремлялись после работы. И дальше по тропинке, между грядок (с вырванной морковкой в руке), с горки, под откос к реке Таргоше и с высокого берега бултыхание в воду, и брызги, и крик, и сразу в реке тесно от мокрых голов и голых спин. С нашей стороны обрыв и омут, а на том берегу, чуть наискосок, отмели и дали необъятные, а левее желтые кувшинки и ивы голубым водопадом падающие в воду. Искупаемся и, как солдаты, толпой вылезаем на берег. На ходу застегивая пуговицы и отжимая волосы, бегом назад, чтобы не опоздать к обеду. Где-то на половине пути уже слышен первый басовый удар колокола.

Этот висящий на крыльце нашего дома колокол был сердцем и часами колонии. Он тревожил нас и успокаивал. Звал на работу и на отдых, на завтрак, обед и ужин, на ученье и на собрание. Как ясно я помню его форму, размер, язык и веревку, конец которой развился и превратился в лохматую кисть. Летом колокол накалялся на солнце, как горячий утюг, и голос его становился низким и важным, зимой он покрывался сединой инея, а веревка, привязанная к его языку, костенела от мороза. Зуб на зуб не попадал у нашего колокола, и его замерзший голос был тонкий. Холодно было ему, холодно было и нам звонить в него под ветром и вьюгой: на крыльце продувало со всех сторон, а звонить нужно было долго, чтобы везде, во всех уголках колонии и даже в лесу было слышно. Чтобы стук топора и пилы, которой наши мальчики пилили дрова за молотилкой у оврага, не заглушали его.

Когда солнце поворачивало на весну, наш колокол хорошел. Обвешанный тоненькими сосульками, он блестел и переливался, как люстра. К сожалению, от первого его удара вся эта сосуличная хрустальная красота с легким звоном падала на крыльцо и разлеталась во все стороны ледяными брызгами. Осенью наш колокол обливался дождем, чернел и мрачнел, веревка его раздраженно болталась на ветру, и он жалобно стонал, а ночью, если очень вслушиваться, можно было разобрать, как он жалуется

кому-то на что-то, а может быть, даже звонит — шепотом.

СТИЛЬ ВРЕМЕНИ

Откуда взялись эти слова в колонии: тырить, шамать, шамовка, варганить, заливать, фиг с ним, буза и т. д.? Наверняка, они летали в воздухе. Ведь жили-то мы среди леса, а не среди беспризорников, а все-таки долетели они и до нас. И еще долетело, что все друг друга звали: Нинка, Манька, Танька, Бубка, Катька и так далее. Это было, как сокрушенно отмечала мама, «стилем времени». Стилем времени, видимо, было и варить сахарный песок, который выдавался первое лето один раз в месяц по 300 грамм на душу. Этот удивительный сладкий день задался с нетерпением. Получив сахарный песок, все начинали варить его, большинство — чтобы полакомиться, некоторые рассудительные колонисты — из экономии.

Рецептов было множество. Варили сахар с молоком, с водой, с водой и лимонной кислотой, сахар крем-брюле, сахар-леденец, а некоторые лакомки (и я в их числе) варили тянучку. Тянучка была не экономна: добрая ее половина съедалась еще во время варки на пробах. Варили сахар в разных пропорциях и в разной посуде. Миски, кружки, консервные банки — все шло в ход, а у некоторых колонистов были даже привезенные из дома специальные кастрюльки. Весь двор в этот день дымился и курился. Два кирпича на ребро, между ними щепки или сучья, на них миска или кастрюлька с сахаром. Между кирпичами огонь, над кирпичами — струйка дыма, вертикальная, если тихо, и стелющаяся, если ветерок, а вокруг этих очагов на корточках, как индейцы, мальчики и девочки. (Говорят, что поварское дело — мужское. Возможно, потому среди мальчиков были просто виртуозы по варке сахара). Сваренный сахар выливался на облитую водой тарелку и остужался. Застывший, он раскалывался щипцами на малюсенькие кусочки и распределялся на месяц. Так должно было быть, но на самом деле этого не было. Из всех колонистов помню только Флорю Постникова, который, приходя пить чай, в течение целого месяца вынимал из коробочки по кусочку сваренного сахара. Большинство не могло растянуть этот сахар на месяц. А много было и таких, которые съедали весь паек в один день.

Заранее запасалась интересная книжка и приглядывалось местечко в тени под кустиком. Можно было лечь, можно сесть — как кому нравится. Часа через два результат был налицо: прочитано несколько десятков страниц, съеден месячный рацион сахара, получена легкая тошнота от непривычного обжирания

сладким, счастье от пережитого и тоскливая перспектива предстоящего. Анализируя в воспоминаниях все эти чувства, я утверждаю, что доминировало наслаждение. Особенно, если варилась тянучка. Растягивать тянучку на месяц было практически невозможно, так как она переставала тянуться. Тянучка годилась только для греховного и преступного удовлетворения неудержимой страсти.

— Таня, ты сварила сахар? — спрашивала мама.

— Да.

— Как ты сварила?

— Я сварила тянучку.

Мама сокрушенно махала рукой, и больше не было ни вопросов, ни ответов. Все было ясно!..

День кончился. Солнце близилось к закату, попахивало дымком и жженным сахаром, и вся я до самых ушей была наполнена счастьем и тянучкой. О будущем я, разумеется, не думала…

Однажды, сама того не желая, я стала свидетельницей разговора моих родителей. Разговор этот произвел на меня впечатление и запомнился.

В один прекрасный сахарный день я сварила тянучку, выклянчила у нашей колонистки Маргариты Греесс сказки Гофмана, облюбовала себе местечко за кустом сирени и разлеглась там вместе со своей миской, ложкой, тянучкой и «Щелкунчиком».

По другую сторону сирени стояли врытый в землю стол и две лавки. За этим столом отец вел занятия со старшей группой, но сейчас занятий не было, и лавки были пустые; сквозь гущу листвы едва просвечивало их серое выветренное дерево. Было тихо. Я с увлечением читала, ела тянучку и вдруг поняла, что совсем рядом со мной за кустами разговаривают отец и мать. Я и не заметила, как они пришли и сели за стол.

Мама говорила жалобно и просительно:

— За Нину я не беспокоюсь, она уже взрослая, но, Александр Федорович, давай возьмем Таню к себе, ведь она растет беспризорной девочкой.

— Оленька (по этой «Оленьке» я поняла, что отец не уступит — и обрадовалась), Оленька, она растет не беспризорной, она растет в коллективе.

— Саша, но ведь все девочки на пять-шесть лет старше, чем она, мало ли чему она может научиться? (Черта лысого, — подумала я, — научишься у них чему-нибудь! Стоит мне прислушаться, когда они шепчутся, как тут же кто-нибудь скажет: «Туська, уходи, ты еще маленькая!»)

— Оленька, во-первых, Маргарита только на три года старше Тани. А к зиме приедут девочки одного с ней возраста. Не надо отличать ее от других и не надо ее опекать. Она неглупая девочка и не научится плохому. Ей надо жить, как все. С учением, правда, неважно получается, нет для нее группы, но и это уладится. Не горюй, она растет хорошо и привыкает к труду.

Мама тяжело вздохнула. Папа кашлянул. И Александр Федорович и Ольга Михайловна Луговские поднялись и пошли, каждый по своим делам, а я еще долго не могла читать, все думала о том, что я — неглупая и хорошая девочка и угрызалась, что опять сварила тянучку. Уж если сам папа говорит, что я неглупая, надо бы мне было сварить крем-брюле, его ведь не съешь в один день: все зубы обломаешь.

«ВАРГАНКА»

В первую голодную зиму девятнадцатого года иногда вечером, потихоньку от старших, девочки варили в печке галок и ворон. Это блюдо называлось «варганкой». Дело это было запретное, тайное. Если кто-нибудь из мальчиков подстреливал из рогатки галку или ворону, то еще перед вечером девочки начинали шептаться, многозначительно переглядываться, что-то прятать, отсыпать соль из кухни, волноваться, уговариваться…

Я-то тут была сбоку припека, но все знали, что я не донесу на «варганщиков» и поэтому от меня не скрывали вечернего пиршества.

Вот хлопнула дверь, и Вера Белова принесла что-то под пальто: это турнепс. Одного здорового турнепса вполне хватало на одну варганку. Потом где-нибудь на скотном дворе ощипывали и потрошили галку или ворону (что было) и тоже тайком волокли под пальто в комнату нижних девочек. И вот, когда вечером начинали топить печку (а топку всячески оттягивали до после ужина), дверь закрывалась на крючок, разговор велся шепотом, и приступали к готовке.

Галку и нарезанный турнепс клали в посуду, заливали водой, задвигали в топку и возникало томительное ожидание. Все сидели на корточках перед печкой, а один заведовал «варганкой»: приоткрывал дверцу печки, нюхал (впрочем, нюхали все), пробовал, солил.

Не дай Бог, если кто-нибудь из преподавателей подергает дверь, желая войти в комнату. Особенно боялись маму. Другие дернут дверь, видят, что она заперта и уйдут. А мама обязательно постучит, да чтобы ей открыли, да войдет, да еще начнет принюхиваться и скажет: «Что это у вас, мадам, пахнет горелым — не попала ли в печку какая-нибудь дрянь?» Вот страх-то, что тут делать? Но всегда что-то делали и как-то умели отвлечь, оттеснить старших от печки.

А «варганка» тем временем кипит, томится и преет, начинает уже прекрасно благоухать. «Готово, готово?» — спрашивают все. — «Нет, — говорит главная, — еще надо подождать: ворона очень старая». — Боже мой, еще ждать!..

И наконец готово! Ложки и миски уже давно припасены, разливают всем поровну. И как это было вкусно! Это было вкусно, потому что сытно и еще потому что — тайно. Что может сравниться по вкусу с вороной, убитой из рогатки зимой девятнадцатого года!.. Ручаюсь, не было ничего вкусней!

Подумать грустно, что есть на свете люди, которые никогда,

ни разу в своей жизни не жили в колонии Сергиево-Игрищево, не сидели на корточках перед печкой и не ели из оловянной миски «варганку»!

БАНЯ

Сегодня топят баню! Дым валит из трубы столбом. Дверь в баню открыта, чтобы вышел наружу угар. Дымит наша баня, пока не разогреется как следует. Снег завалил ее до самых малюсеньких окошек. К дверям в сугробах прорыт коридор. Дежурные носят воду: в каждой руке по ведру. Надо натаскать целый котел и большую бочку. Топится наша баня вовсю, и скоро пойдем мыться. Баня маленькая и моются в ней по очереди. Перемоются все девочки, пойдут мыться мальчики. Мальчики будут мыться, когда уже стемнеет, потому что многие из них выскакивают из бани нагишом и прыгают в снег. В снег — и обратно в баню. Это удовольствие мне непонятно.

Я моюсь во вторую смену. Добрая Маня Лукьянова позвала меня:

— Туська, — сказала она, — пойдем со мной, я тебя потру, а то ведь ты сама не вымоешься как следует.

Мы идем и несем в руках узелочки с чистым бельем. Идти недолго, баня рядом. В маленьком предбаннике теснота и давка ужасные: кто-то отмылся, кто-то только что пришел, кто-то расчесывает волосы (у кого косы), а стриженые мотают головой, как собаки после купания, и брызги летят во все стороны. Ничего нельзя разобрать, крик, шум. Пар с улицы, пар из бани. Темно от пара и холодно от дверей, в которые входят и выходят.

А в самой бане жара и тоже шум. Стою и закрываю уши ладонями, потом открываю, потом опять закрываю. Получается очень интересно: чмокает что-то в ушах.

— Иди сюда, — кричит мне добрая Маня и начинает мазать мне голову зеленым мылом из баночки. Все мы моем голову этим мылом, чтобы не заводились в волосах вши. Это мыло общее: наверное, оно казенное.

И тут я заметила, что некоторые девочки берут мало мыла из баночки, а другие норовят захватить побольше, хотя зачем им лишнее мыло? Голову можно промыть, если его и немножко: даже лучше промывается — ведь это мыло очень едучее. И еще я заметила, что одни толкаются и все время хватают горячую воду из котла и льют ее на себя без толку, а другие девочки намылят себя хорошо и окатываются одним ковшом. А одна нижняя девочка начала стонать, что она не промыла голову. Она ее не промыла потому, что очень много зеленого мыла намазала на

себя, вот теперь и страдает от своей жадности. Эта не промыла голову, потому что перемазалась мылом, а рядом другая — только что не плачет и пристает ко всем, и сует всем обмылок настоящего прежнего туалетного розового мыла. И кричит на всю баню диким голосом:

— Девочки, помойте лицо моим мылом, оно же настоящее, оно же пахнет! Ой, девочки, миленькие, помойте, так приятно!

Так было ясно все в этой бане, когда все там были совершенно голые и одинаковые и мокрые — а вот все-таки разные. Одной потерли спину, а когда пришла ее очередь тереть, то она говорит: «Я уже чистая, а ты еще грязная, и поэтому я не будут тереть тебе спину. И вообще, я ухожу. Мне жарко!»

Если говорить по правде, то таких девочек, которые хватали всего побольше и лили воду зря, занимали по две шайки и говорили, что им жарко — было только две на всю баню, и на них никто не обращал внимания. А я обратила на них внимание.

— Подумаешь, им жарко! Присядь на корточки, и сразу станет прохладно. Жарко-то наверху, а около пола всегда прохладнее. Вот какие вредные девчонки, — думала я. Но тут Маня Лукьянова начала тереть меня от затылка до пяток с такой силой, что все думы вылетели у меня из головы, кроме одной: как бы не свалиться, как бы удержаться, стоя на скользком полу.

Здорово она меня вымыла, ведь мыльца-то было чуть-чуть. Главное мытье было в натирании, а натирать Маня была мастерица…

До чего же приятно после душной, жаркой бани бежать по морозцу в дом и разлечься в изнеможении на своей постели, а потом попить морковного чайку! Прелесть, как хорошо, как дружно мы пили чай из жестяного чайника! Все распаренные, красные, довольные и чистые. А главное, все веселые! Маня Лукьянова говорила, что после бани всегда бывает хорошее настроение. Это правда, настроение у всех было очень хорошее.

МЫ ЕДЕМ В МОНО

Мама и Нина нездоровы, и вместо них я еду с отцом в Москву, мы везем отчет в МОНО. Зима в этом году лютая, а путь наш долгий. Поезда ходят редко. Да еще неизвестно, какой будет поезд, может быть, подадут и товарный состав, а папа-то ведь больной и залезать ему в товарный вагон очень трудно. Вот ведь как мучились в прошлый раз, помогая ему взобраться в товарный вагон!..

Сборы долгие и сложные. Едем мы не обыденкой, а на несколько дней. Надо везти с собой продукты, топливо,

лекарства, портфель с отчетом и складную скамейку. Нужно все предусмотреть. Мама суетится, но я не допускаю ее до главного багажа. Я сама изобрела себе тару: сшила два мешка. Один заплечный, очень длинный, такой длинный, что если я стоя отклонюсь назад, он становится на землю (это очень удачное изобретение). Другой мешок, маленький и плоский, будет висеть у меня на груди, в нем много отделений. В одном бутылка с водой, в другом мензурка, а дальше лекарства: строфант, нитроглицерин и еще разные бутылки и порошки. Там же в отдельном кармане большой кусок черного хлеба и два соленых огурца: на случай, если дорогой захочется есть. Маленький мешок укладывает мама и не нахвалится моей изобретательностью: «Таня, — говорит она, — как ты все разумно сделала, все отделения точно по бутылкам, и даже красиво!» (Смешная мама, конечно, красиво — ведь я же старалась!)

Большой мешок я укладываю сама — это дело серьезное. Вниз кладутся мелко наколотые сухие полешки (на четыре топки), потом порядочный кусок мороженой конины. Конь по кличке Гарибальди сдох, но рабочий Юзеф — пленный австриец — сказал, что он помер от разрыва сердца и его можно есть. Конь этот был худоват, староват и жилист, но все-таки из него получится прекрасная еда. Вслед за кониной кладется мороженая картошка, потом буханка черного хлеба и на самом верху — деликатес — ржавая селедка. Это наш с папой паек.

Заплечный мешок получился очень длинный и порядочно тяжелый. В одной руке у меня будет портфель с отчетом, в другой складная скамейка, на груди лекарство. На руках хорошие, добротные варежки, сшитые из папиной старой тужурки. Они на вате, поэтому немного неуклюжие, но зато от любого мороза спасут.

Все уложено, все очень хорошо получилось и волнует меня только поезд. Как влезем в вагон? Наверное, там накурено махоркой, и папе станет плохо с сердцем. Буду просить, умолять не курить около него, но надежды мало. Ведь никто не знает, что папа такой больной и может умереть каждую минуту. Люди думают, что если он на ногах и едет с портфелем в Москву — значит, здоров. Как докажешь? Как убедишь?..

Мы уезжаем засветло. Поданы розвальни, устланные сеном, за кучера Миша Киселев. Нас все провожают, и мама все время твердит мне, как надо варить конину, и чтобы кусочек ее я отнесла доктору Льву Сергеевичу Бородину, и какие лекарства утром, и какие вечером. И — не дай Бог — если оттепель, а папа в валенках, что тогда ты будешь делать? Но какая тут может быть оттепель, когда мороз 25 градусов. Чепуха все это! Главное —

влезть в вагон, вот что важно, а не оттепель.

До Сергиева Посада 14 верст чудесной дороги — правда, версты эти черт кочергой мерил, может быть, их и больше было.

Солнце близится к закату, и наступает тот час, когда все объемы так рельефны, а тени такие длинные и синие.

Мы проезжаем деревни Дедушкино, Вихрево и Высокое. Мы едем цугом на двух лошадях, так как мальчики едут на вокзал получать продукты и повезут их обратно в колонию. Это прекрасно, что с нами едут два мальчика (Миша Киселев и Кирилл Розанов), они помогут мне поднять папу в вагон, может быть, даже сумеют занять для него место.

Лошади весело трусят, снег поскрипывает, а в лесу по бокам дороги полно заячьих и лисьих следов — особенно много заячьих «пятерок».

Если попадаются встречные, то сворачиваем прямо в снег и наши розвальни сильно накреняются. Я держу папу, чтобы он не вывалился: его закутали одеялом, и он полулежит в санях, как спеленатая кукла.

От Высокого долго едем лесом, начинает темнеть, но когда у Загорска выезжаем в поле, то сразу светлеет.

И все-таки в первых домиках уже кое-где видны огоньки…

Погрузились в поезд удачно: не теплушка, а нормальный — хоть и не топленный вагон, и ехать нам было хорошо, попались такие веселые мужики-попутчики. Папа с ними всю дорогу разговаривал, а главное, они послушались меня и не курили около него.

Пока доползли до Москвы, стало совсем темно. Вьюга и ветер. Трамваи не ходят, и от Ярославского вокзала до Волхонки надо идти пешком. И вот идем мы с отцом по темной, заваленной снегом Москве (прохожих раз-два и обчелся). Пять шагов — остановка — раскладываю скамейку, папа садится, я перегибаюсь назад и мой тяжелый заплечный мешок упирается в землю. Папа отдыхает, я отдыхаю и мешок отдыхает. Переведем дыхание — и дальше. Если ветер утихнет или начинает дуть в спину, а не в лицо — мы с папой идем гораздо дольше без остановки. Тихонечко, но идем. Молча идем. Сосредоточенно. Я знаю, что около Лубянской площади надо давать лекарство. Оно уже заготовлено и разведено в маленькой бутылочке. Примем лекарство и опять в путь. Пойдем — посидим. Посидим и опять пойдем. И так шаг за шагом и придем на Волхонку, дом 16 в бывшую Первую Московскую мужскую гимназию. Пройдем пустыми, заваленными снегом, с изрубленными на дрова скамейками и штакетами, тремя дворами — последний двор от холода вытянулся и стал бесконечным. Скорей бы кончился этот

двор. Наша цель — буржуйка и горячий чай, для ее осуществления мы и войдем в бывшую нашу, а теперь совершенно чужую, даже незнакомую квартиру. Никаких воспоминаний, никаких сожалений не шевелится во мне: вся душа в колонии. Этот дом уже ничего для меня не значит — дом мой там, в лесу, в колонии, а не в этой холодной квартире, которую мы отдали обратно в Первую гимназию. Теперь тут живет милый, но чужой человек, кажется, Тихомиров его фамилия. Володе оставили один папин кабинет, зачем ему больше? Все равно топить нечем. Да и вещей стало мало: одно изрубилось и истопилось в печке, другое обменялось на продукты и съелось, третье износилось, четвертое продалось или отдалось, и, наконец, все уместилось в одной комнате. В нее мы с папой и входим. Тускло загорается на потолке бывшая кабинетная люстра, похожая теперь на большущий, серый, грязный стакан. Хоть вещей и поубавилось, но нагорожено в этой комнате изрядно. Свободны только два угла — у кровати и у письменного стола. И холод, холод ужасный, такой же, как на улице, только без ветра. (Володя в командировке и тут не топилось уже очень давно.)

Теперь действовать нужно быстро: папу — прямо в шубе — на стул, мешок разобрать и вынуть из него дрова, полешки в печку-буржуйку, потом бегом (тоже в шубе) в кухню налить воды из обледенелого крана (еле-еле льется) и назад.

Какое счастье, что я не забыла взять лучину! Нянечка моя дорогая из деревни Непрядва с Куликова поля, спасибо тебе, что научила меня так быстро и хорошо разжигать буржуйку. Уже полыхает, уже гудит, вздрагивает и сотрясается от бушующего в ней огня эта маленькая железная печка, наполняя теплом промерзшую насквозь комнату. Краем глаза вижу, что отец сам снимает с головы шапку, — значит, уже начинает приходить в себя. Теперь, не теряя ни минуты, надо снять с него шубу, дать лекарство, напоить горячим морковным чаем (чайник уже запел на раскаленной докрасна конфорке) и постелить ему постель. Когда я все это проделаю и папа уже уляжется, он заговорит со мной (а пока мы молчим). Разговаривая с папой, я сяду на скамеечку и тоже попью, и чай горячей спиралью пробежит по моим обледенелым внутренностям. Я согреюсь и начну уборку этого странного, случайного помещения, которое, по-моему, никогда нашим и не было, а в голове я буду перечислять дела на завтра: проводить папу в МОНО, отнести доктору Бородину конину, истопить печку, сварить суп — много дел, очень много! А когда я лягу спать на холодный диван, то помечтаю, как бы поскорее убраться из этого чужого, враждебного дома к себе в колонию…

Проходят два тягостных московских дня. Каждое утро отец уходит в МОНО и возвращается чуть живой. Сегодня третий решающий день. Сижу дома, уже все приготовила к отъезду. В пустой мешок (содержимое которого мы съели и истопили) уложены книги, нужные отцу, и лекарства, полученные у доктора Бородина. Сижу и жду. Ожидание изнуряет. Сижу и волнуюсь, зачем не договорилась с папой встретить его. Сижу и думаю о нем. Как? Что? Цел ли? Принял ли лекарство? Как дойдет один в мороз и вьюгу?.. И именно в тот момент, когда в своих мыслях я ушла куда-то в сторону от папы, куда-то далеко, тут он и появляется неожиданно.

Не надо ни о чем спрашивать, уже по его лицу видно, что в МОНО все получилось хорошо. Отец явно доволен совершенными делами.

— Мы едем, Таня, собирайся, постараемся успеть на пятичасовой, как обещали, — говорит он радостно и хрипло (одышка ужасная).

— У меня давно все готово, папа.

Кормлю его остатками похлебки, а сама думаю: «Ну, хорошо, керосин, тетрадки и мыло он отхлопотал — это ясно, почему же он смотрит на меня так хитро и значительно? Что-то еще он приберег в себе, какой-то есть секрет».

Но отец молчит. И только доев похлебку, как бы между прочим, как бы невзначай, говорит: «Мне в МОНО предложили взять маскарадные костюмы из костюмерной, как ты на это смотришь?» — Что за вопрос! И как на это можно смотреть? Тут только можно подпрыгивать и радоваться — ведь Новый год-то на носу.

— Много костюмов, папа, или мало? — спрашиваю дрожащим голосом.

— Всем хватит.

Подумайте, какое счастье! Всем хватит, всем! Вот будет крик и восторг в колонии, если даже сам папа не может скрыть удовольствия! Вот уж мы нарядимся на Новый год, будьте покойны!

А теперь поскорей бы удрать из этой чужой Москвы.

Стало быть, едем…

И опять мы с папой преодолеваем бесконечный путь с Волхонки на вокзал, опять холодный поезд, который еле-еле ползет и опаздывает сильно. Но все это уже не кажется тяжелым. Я отдышала себе кружочек стекла на замороженном окне вагона. И сердце мое начинает учащенно биться, когда в этом кружочке замелькают первые тусклые огоньки Сергиева Посада. Мы дома! Теперь тут уж будет все наше, свое, родное…

Пока вылезали из вагона, пока папа отдышался, еще прошло время, еле-еле бредем в толпе приехавших.

Плохо помню станционное здание в Сергиевом Посаде, но небольшую площадь около вокзала помню отлично. Вечно грязная и даже в снежные дни не белая, а серорыжая от растоптанного лошадиного навоза, крошек сена и подсолнечной шелухи, она была уже началом колонии, потому что среди других лошадей стоит весь покрытый инеем наш Буланый (видно, давно нас ждут), и идет к нам навстречу замерзший, но улыбающийся возница Андрюша Колонтаров. Он очень высокий, старая гимназическая шинель стала мала ему (рукава чуть ли не по локоть), руки спрятаны в длинные самодельные, как у меня, варежки, а голова по-бабьи завязана башлыком. Под замерзшим носом у Андрюши видны усы, еще не настоящие, но уже очень заметные. Он обнимает меня и папу — рад нам — и сразу дождем начинают сыпаться наши взаимные вопросы.

— Чего дома в колонии?

— Что в Москве?

— Как здоровье Ольги Михайловны? Тепло ли у мальчиков в сарае?

— Ходят в Москве трамваи или вы шли пешком?

— Получили ли мальчики керосин и подсолнечное масло?

— Андрюш, а Андрюш, — врываюсь я. — МОНО выдаст нам маскарадные костюмы! Всем хватит!

И опять папа:

— Сшили девочки рукавицы для работающих в лесу мальчиков?

— Александр Федорович, что говорят в МОНО насчет валенок? Очень ноги мерзнут.

— Андрюш, а Андрюш, приглядели ли вы в лесу елку для Нового года, и кто лечит глаз Желтому?

— Все ли здоровы, нет ли новых больных?

— Все здоровы, Александр Федорович, вот только Лешка Бахмачевский ухо отморозил, когда дрова пилил.

— Бедный Бахмач! А вы сильно замерзли, Андрюша? Долго нас ждали?

— Ничего, — говорит Андрюша и, смеясь, снимает с меня мешок, потом усаживает (вернее, укладывает) нас с папой в розвальни, подтыкает нам под бока одеяла.

— Откуда второе одеяло, Андрюша?

— Ольга Михайловна свое дала, — говорят, сегодня под тридцать.

Наш возница примостился у меня в ногах (я их поджимаю, чтобы ему было удобнее), разобрал вожжи, — но-о-о, Буланчик, —

и мы поехали… Буланый бежит споро, ровно: определенно знает, что едем домой.

Я чувствую себя абсолютно счастливой. Я очень люблю и папу, и Андрюшу, и Буланого, и себя, и зиму, и наш путь до колонии. Как хорошо, как прекрасно, что больше уже не будет никаких остановок до дома, что нас уже не двое, а трое, и я уже не должна больше отвечать за папу. Теперь за всех отвечает Андрюша, а я лежу себе и лежу, и смотрю на небо. А рядом со мной мой папа, он хоть и молчит, но я же вижу, что он тоже рад оказаться под опекой Андрюши Колонтарова. — «Но-о-о», — кричит наш кучер, дергает левой вожжей, и мы выкатываемся из Посада и поворачиваем в поле. Даже в темноте чувствуется, как белым-бело тут в поле. Говорить уже мы не можем: мороз лютый.

Сани заскрипели по-особому, запел снег под полозьями, глухо и ритмично ударяет копытами Буланый, метет поземка, и ее тоже слышно.

Полудрема, полудумы, и представляется, что метет уже по всей земле. Нигде нету солнца, нигде нет и никогда не будет лета, везде ночь, темно, метет поземка, снег завивается воронкой и уходит дымным столбом вверх. Никого нет в мире, пусто все кругом, только мы в санях, Буланый, зима и движущееся вместе с нами, огромное, увешанное редкими звездами небо.

Нас подкидывает на ухабе. Неужели я задремала? А на морозе спать нельзя. Сразу за ухабом пробежало в обратную сторону Вихрево. Мы въезжаем в лес, и здесь стало потеплее. Дорога так поднялась от снега, что конь наш то и дело задевает дугой ветки елок, стоящих по обочине, и снежная колючая пыль обсыпает нас. А мы все едем и едем, и мороз опять уже лезет со всех сторон, через все преграды, и начинает прохватывать нас насквозь…

А бедный Бахмач отморозил ухо, как же он теперь будет жить без уха? И так он некрасивый, а тут еще ухо мороженое… Леша Бахмачевский — застенчивый, работящий и молчаливый мальчик, а если когда говорит, то только пословицами:

— Бахмач, — скажут ему старшие, — зачем ты пилишь дрова без шапки, ведь холодно. — А он в ответ: — Ветер дул, шапку сдул!

— Бахмач, зачем ты принес в кухню гнилые пни, они в печку не влезут. — Леша пожмет плечами: — Гнило да мило. — Если мальчики затеют спор и поднимут крик, он подойдет, послушает и задумчиво скажет: «Корова ревет, медведь ревет, а кто кого дерет, сам черт не разберет». И, махнув рукой, уйдет.

— Леша, ты уж очень тихий. — А он: — Тих да лих!

Особенно мне понравилось, как он сказал однажды нашей

нижней девочке Вике: «Вика, ты глядишь вдоль, а живешь поперек». Так у нас и пошла эта поговорка: она к разным случаях подходила. Допрыгался теперь Леша Бахмач со своими поговорками «Ветер дул, шапку сдул», а ты ухо отморозил, вот тебе и прибаутка!..

Поскорей бы уж дом показался, — мечтаю я, и счастье откликается на мое желание: Дедушкино пробежало мимо, а мы спускаемся с горы и с разбега влетаем на старый, горбатый, дырявый мост, переносящий нас на другой — уже наш — берег реки Таргоши. Тут каждый кустик, каждая рытвина на дороге изучены досконально… Интересно, не остыл ли суп в печке? Думаю, что не остыл, ведь ждет нас в колонии девочка Анечка Соболева — вечная дежурная, вечный огонек в кухне. Если мальчики поехали за продуктами на станцию или в Москву, и нет их поздно в зимнюю вьюжную ночь, кто их ищет в кухне с маленькой десятилинейной лампочкой? Анечка! Кто им вытащит ухватом суп из теплой еще русской печки? Анечка Соболева! Если кто застрял поздно вечером на работе, на дальнем участке, кто его ждет с ужином? Помзавхоза Анечка!

Вот и сейчас, подъезжая к дому, все темным-темно, но в кухонном окне подмигивает нам тусклый огонек, это помзавхоза Анечка Соболева не спит, сидит, наверное, положив руки и голову на стол и ждет, ждет. А если надо будет, то прождет и до утра.

Еле вылезаем из розвальней. Руки, ноги, как деревянные, нос чужой — ничего не чувствует и губы не двигаются. Тяжелыми, не своими ногами входим на темное крыльцо. Кругом тихо, только Желтый бьет хвостом по обледенелым доскам. Рад нам, но не лает: сил нет, да и характер не позволяет. Зачем лаять, когда он знает, кто приехал? Чего ж тут гавкать и будить трудовых людей? Все знают, что приезжим рады, и он, Желтый, тоже рад. Вот он и стучит похожим на полено хвостом по крыльцу, показывая этим, что он тут на крыльце тоже ждет нас, беспокоится и добровольно сидит на морозе — а ведь мог бы сидеть в сенях. Не из угодливости он мерзнет, а из чувства порядка и верности. А когда мы войдем в дом, он еще останется на холоде поджидать нашего кучера Андрюшу Колонтарова, пока тот распряжет Буланого и, отведя его в конюшню, задаст ему корм. И только потом, когда все это будет сделано и заиндевевший Андрюша тоже войдет в дом, тогда и Желтый пойдет за ним следом. И мы все впятером: папа, заспанная мама, я, Андрюша и Желтый войдем в теплую кухню, где уже стоят оловянные миски и лежат оловянные ложки, и чугун с горячим супом уже вынут из печки Анечкой.

И мы все сядем — не на свои места, вразброд, а в кучку — за длинный стол. Приехавшие будут есть, а мама, Анечка и Желтый

будут на нас смотреть любовно и доброжелательно. И так нам будет вкусно, хорошо и уютно, что это мгновенье память сбережет на всю жизнь.

КАК Я СТАЛА БАЛЕРИНОЙ

Про девочку Марусю Пудовкину (по прозванию Буба) говорили, что она художественная натура. Она пела красивым тонким голосом разученные под руководством мамы романсы на наших концертах, но почему-то очень стеснялась и смущалась, хотя пела удивительно музыкально и душевно. Маруся много читала, сидя при этом занятии по-турецки на своей кровати. Кровать ее стояла в углу, далеко от окна. Все ей говорили: «Буба, ну что ты там сидишь, иди к свету». Она отказывалась и опять продолжала сидеть в темноте, низко наклонив голову, так что ее волнистые стриженные волосы падали вперед и закрывали лицо.

И вот эта самая Буба однажды придумала, что меня и Люду Фирсову нужно учить танцевать эстрадные танцы. Мы с Людой Фирсовой были очень тощие, наверное поэтому она определила, что мы обе изящные, а нам на наших школьных концертах не хватало балета. Было пение, было фортепьяно, была декламация и даже мелодекламация, а вот балета не было. Как тут быть? Вот и выбрали меня с Людой в балерины.

И повезла нас Буба (разумеется, с разрешения заведующего школой) в Москву, к своей сестре Юле Пудовкиной, которая должна была нас учить.

На углу Гагаринского переулка и Пречистенского бульвара стоял старый двухэтажный красивый дом.

На втором этаже этого дома, в нетопленой, угловой, очень большой нежилой комнате Юля учила нас танцам: меня — венгерскому, Люду — не помню какому, а нас вместе — модному тогда матросскому, под названием «Матлот».

Зимнее солнце пробивалось сквозь морозные узоры в эту многооконную комнату, в углу стояло замерзшее мертвое пианино, на котором никто не играл. А танцевали мы «под гребенку». На гребенке, покрытой папиросной бумагой, очень искусно наигрывал все вариации старший брат Юли и Бубы Всеволод Илларионович Пудовкин (в будущем кинорежиссер, а тогда химик).

Его длинная фигура, сидящая на одном из окон, закрывала свет, он тряс головой, и спутанные волосы падали ему на лоб. Играл он увлеченно, с чувством и очень радовался, что все так хорошо у него получается. Юля хлопала в такт ладошками; иногда она кричала: «Сначала!», и Всеволод Илларионович (или,

как тогда его звали, Лодя) быстро менял заплеванную бумажку на свежую, налаживал гребенку и снова начинал в нее усердно дуть.

Мы все так трудились, что нам даже не было холодно в этой промороженной насквозь комнате.

Если Лодя был на работе, то репетировали мы под пение Бубы. Бубу сажали, как в мешок, в чью-то старую облезлую шубу, делали ей щелочку для рта, и из этой щелочки лился и звучал ее прелестный, тонкий голос. Та-ра-рам-там-там, та-ра-рам-там-там, — выводила Буба из своего мешка, а мы с Людой, потные и жаркие, скакали и делали вид, что мы матросы и лезем по канату или гребем в ялике, но все это изображалось по-балетному. Мне казалось, что мы необыкновенно грациозны, прекрасны и изящны и что еще немного, еще чуть-чуть этого скакания, дрыганья и кривлянья, — и мы уже будем подготовлены для сцены Большого театра.

Юля учила нас и поклонам. Поклоны окончательно вскружили мне голову. Я выламывалась, бралась за юбку, делала реверанс и при этом обольстительно, как мне мерещилось, улыбалась. В воображении передо мной возникала толпа восторженных, красиво одетых колонисток (самая важная для меня публика), все они хлопали мне и кричали «бис». Я кланялась очень красиво, костюм на мне сиял блестками, свет заливал сцену Большого театра, на которой я танцевала, мне бросали цветы, а я все кланялась и кланялась, и каждый раз все красивее и лучше. Потом, уже совсем измученная успехом, я поднимала руку — наступала тишина — и я тихим голосом говорила, что не могу больше танцевать, потому что у меня от переутомления началась чахотка. И уходила со сцены, вся в цветах, улыбках и невыразимой сладостной тоске…

После всех этих мечтаний и репетиций мы влезали в наши рваные валенки и уезжали домой в колонию, уверенные, что уже в совершенстве постигли всю танцевальную технику и сделались прекрасными балеринами.

СЕНОКОС

Солнце печет вовсю. И это очень хорошо, потому что идет сенокос и скошенное сено быстро сохнет. Около дороги уже стоят готовые, высокие копны сухого сена. А вдалеке сушится недавно скошенное. Его шевелят и ворошат девочки — и я с ними. Очень жарко и очень пахнет сеном. Так хорошо пахнет, как будто бы на луг вылили ведро духов. Высохшее сено складывают в стога, ну и, конечно, толкают друг друга, и пихают, и валят в стог. Крошки сена везде — и в носу, и в ушах, и во рту. А некоторые еще

возьмут и запихают тебе за шиворот целую горсть колючек. Все это очень весело, и работа на сенокосе удивительно приятная. Мне нравится она еще и тем, что я работаю наравне со старшими…

Все время взад и вперед ездят две лошади (Машка и Буланый), которые отвозят сено домой на сеновал. Навивать сено на воз работа трудная и утомительная. Это обыкновенно делают мальчики, но наша Нина тоже умеет это делать. Вообще она очень «хватистая» в работе. Вот и сейчас захватила на вилы чуть ли не весь стог и подает наверх. На возу Лиза Сафонова и Юра Осекин принимают сено. Ловко это у них получается, они поднимаются все выше и выше, и уже кажутся совсем маленькими на фоне неба. Мальчики увязывают воз веревкой. Готово!

— Туська, — кричит с воза Лиза, — иди сюда, прокатись на сене.

И в одну минуту я бросаю грабли и по веревке, как обезьяна в цирке, лезу на воз. Кто-то меня подсаживает и подпихивает, да я и сама заберусь… Я наверху, а Лиза прыгает вниз, чтобы не было лишней тяжести. Юра тоже прыгает вниз, он прикрутит вожжи и поведет лошадь под узцы.

Наверху нас только двое: я и небо. Мы вздрогнули и поехали. Поехали в блаженство. Лежу на спине, раскинув руки и ухватившись за веревку. Плавно качаюсь в люльке из сена, подвешенной к небу. Надо мной и с боков — только небо. Огромное, безоблачное, бескрайнее небо. И я плыву по нему в бесконечность…

— Ах, как хорошо, как все это чудесно, — думала я, в десятый раз распластавшись на возу с сеном. — Так вот и жила бы всю жизнь, так вот и плыла бы по небу в сенном дурмане неизвестно куда…

После работы, уставшие и распаренные от жары, все мы бежим купаться. А смыв с себя грязь и крошки сена, уже степенно идем обедать…

После обеда папа позвал к себе в комнату меня и Нину. Мы вошли вместе. Он предложил нам сесть. Я хотела сесть на мамину кровать, но он указал мне на стул. (Будет серьезный разговор, раз велит садиться на стул, — подумала я. Так оно и оказалось.)

— Таня, — сказал папа (несмотря на то, что меня уже давно перекрестили в Тусю, папа неизменно продолжал называть меня Таней). — Таня, на какую работу тебя сегодня назначили?

(Зачем он спрашивает? Ведь он прекрасно знает, что сейчас вся колония работает на сенокосе.)

— Я ворошила сено на дальнем лугу, папа.

— Почему же ты приезжала домой на каждом возу с сеном,

вместо того чтобы ворошить его на дальнем углу? (Надо же, увидел!)

— Папа, мы сами ее подсаживали на воз, пускай покатается. Ведь она маленькая, — вступилась за меня Нина.

— Она не маленькая, а младшая. Ее никто не назначает на трудную работу, но работать она обязана, а не кататься взад и вперед на возу с сеном во время рабочего дня. (Когда отец был не спокоен, он начинал неуловимо окать: сказывалось его северное олонецкое детство. Вот и сейчас он начал окать. Ох, будет мне выволочка, — заволновалась я.)

— Тебя, Танечка, никто не заставляет жать серпом или доить коров, как это делает Нина, но потрудись, пожалуйста, исполнять аккуратно ту работу, на которую тебя назначают и не отвиливать от нее. Ты получаешь паек наравне со всеми, изволь работать тоже наравне. Вот список работы, которую ты должна делать. — Тут он взял в руки бумажку, на которой его бисерным почерком были перечислены все мои пытки:

1. Собирать гусениц с капусты.
2. Полоть огород.
3. Вязать снопы.
4. Мыть пол.
5. Окучивать картошку и капусту.
6. Ворошить сено.
7. Работать наверху веялки — и так далее и тому подобное…

— Хорошо, папа. (Что еще можно было сказать?)

«Прощай, прекрасное колыхание между небом и землей на возу с сеном, — горестно думала я. — А если уж ты меня лишаешь этого счастья, то не делай скидку на мой возраст. Пожалуйста, я буду делать ту же работу, что и Нина. А то гусеницы да окучивание. Да что полегче. Противно мне это».

Но, видимо, чтобы окончательно доконать меня, отец прибавил:

— Если ты устанешь, Таня, и не доделаешь свою работу, тебе поможет старшая сестра. Нина, я прошу тебя, следи за ее исполнительностью, так как спрашивать я буду с тебя. А теперь идите.

И мы ушли.

Я шла печальная. Всю жизнь я была ни то ни сё. Никогда меня не брали старшие в их игры, все время какие-то скидки на мой возраст. Вот и в колонии я опять в «маленьких»: ведь школа-то эта второй ступени, а я еще и в первой как следует не училась. Ну хорошо, раньше я была маленькая, но теперь-то, когда произошла революция и все уравнялись, почему же опять меня к чему-то не допускают и все время создают мне какую-то

нарошную, какую-то детскую работу: окучивай, пропалывай, лезь наверх веялки… А если уж я маленькая, то дайте мне возможность прокатиться по небу на возу с сеном и поговорить с жаворонком. А то жать нельзя — ты маленькая, а на возу с сеном нельзя — ты большая?!

Я так расстроилась, что чуть не плакала.

— Не канючь, — сказала мне Нина, — это совсем не трудная работа, я тебе помогу.

— Не надо мне помогать, и я не канючу, — буркнула я, а сама подумала: «Ах, Нина, Нина! Вот ты идешь рядом со мной, такая рослая и большая, и красивая, и сильная, и волосы у тебя густые, и уже успели отрасти после тифа, и ты из них делаешь красивый пучок под названием „гряда“, и тебя все любят и уважают, и никому не придет в голову сказать, что ты плохо работаешь, потому что ты лучшая жница, и коров доишь, и полы моешь, и пудовые чугуны ворочаешь в печке, и казенная дерюга сидит на тебе так ловко, и руки у тебя такие круглые, а ноги такие большие, и тебе ничего не стоит наколоть гору дров или еще сделать что-нибудь удивительное и мужское. А я должна страдать всю жизнь только за то, что я младшая. И дерюга висит на мне, как на вешалке, и руки у меня, как палки, и волосы у меня жидкие — да к тому же еще так выгорели, что стали совсем седые — и мне не дают запрягать лошадь Машку, хотя я прекрасно умею это делать, и не дают жать серпом, и все говорят: ты маленькая, ты маленькая! И даже папа, который всегда поддерживал меня, сегодня унизил при Нине, предложив сидеть наверху веялки, хотя я безусловно могу работать внизу и крутить эту несчастную веялку за ручку. Неужели так будет всегда, и я всю жизнь буду маленькая и никогда не уравняюсь с Ниной и Володей?» Очень мне было горько. И если бы это было прежнее, «дореволюционное» время, я бы заплакала, но теперь я плакать не стала.

На следующий день, от отчаянья набравшись нахальства, я подошла к отцу и развязно сказала:

— Папа, я хотела тебя спросить (не попросить!), а если девочки будут очень меня уговаривать прокатиться на возу с сеном, может быть, тогда можно?

Лицо отца было непроницаемо. Ни одна жилочка на нем не шевелилась, а глаза за поблескивающим пенсне были плохо видны. Он задумался. Ожидание ответа было невыносимо томительно.

— Если будут очень просить, тогда можно, — холодно (как мне показалось) сказал наконец отец и поспешил по своим делам.

Взрыв счастья чуть не свалил меня с ног. Он понял, он понял,

что не лениться я хочу, а кататься по небу на возу с сеном! Он понял, что сенокос скоро кончится, а с ним вместе уйдет мое счастье. И я уже больше никогда не почувствую себя ни небом, ни сеном, — опять я стану самой собой.

В этот же день, хоть меня никто не просил, я полезла на воз с сеном. А лежа наверху вдруг с горечью поняла, что чувство соединения с небом и растворения в нем не повторилось. Было хорошо, даже прекрасно, но я была — я, а небо было небом. Мы не соединились с ним больше и ощущение полета не посетило меня.

Потерялось это счастье где-то по дороге, пока я за него боролась.

ГРУНЯ

Не знаю — и никто не знал — сколько было лет пастушке Груне. Иногда мне казалось, что мы ровесницы, иногда, что она старше моей мамы. Маленький рост и тонкие ноги делали ее девочкой, горб и старообразное, исчерченное морщинами темное лицо — старухой. На голове всегда платок, на плечах мешок — и от холода, и от дождя, в длинной руке хворостина. У Груни в юбке были карманы-мешки, в один она прятала еду, в другой собирала грибы, ягоды и травки.

Наши с ней разговоры на опушке Ситниковского леса, где Груня пасла скот, носили непринужденный и задушевный характер.

Сидели мы на пеньках или прямо на траве, говорили тихо, а когда замолкали, отчетливо было слышно, как коровы пучками выдирают траву из земли, а потом долго и монотонно пережевывают ее — хруп-хруп-хруп-хруп. И грозный окрик Груни: «Возвернись, паскудина», если скотина заворачивала в малину. Иногда падала шишка с елки, иногда корова тяжело вздыхала и хлопала себя хвостом по боку, отгоняя слепней. Но в общем, было тихо, очень тихо.

Я любила слушать Груню, она знала много интересных вещей:

Свеклой — щеки красить.

Подорожник — кровь затворяет.

Столбики подорожника — понос лечат.

Березовый сок — от чахотки.

Березовым поленом — бородавки заговаривать.

Мак — от бессонницы.

Молодые побеги елок — от грусти.

Крапива — от ревматизма.

Всех Груниных рецептов и не перечислишь.

Если идет за грибами, надо было шептать: «Гриб, гриб, покажись, гриб, не хоронись», — и тогда грибы выскакивали из-под земли.

Если идешь по малину, присказка была такая: «Ягода красная, звездочка ясная, посвети мне».

Если в стаде первой шла рыжая корова — быть вёдру, если черная — ненастью, а рябая — к переменчивой погоде.

Солнце в тучу садится — к ветру, к худу. В облачко — к добру.

Груня считала, что рвать цветы не для лечения, а просто так — грех. И в этом вопросе у нас с ней были серьезные расхождения.

— Груня, а как же красота? Ведь цветы в вазе очень красиво.

— Красота в божьем мире, а не в вазе, — сердито отвечала мне Груня.

— Значит, по-твоему, все красиво в мире, а уродства в нем нет?

— Уродство за грехи дается. Вот мой дед Панкрат человека убил, а у меня горб-то и вырос.

Никак я не могла понять, какое отношение может иметь убийца Панкрат к Груниному горбу.

— А он жив, твой дед Панкрат?

— Помер: загасил свою жизнь в кадушке с квашеной капустой.

— Как загасил жизнь в квашеной капусте? — поражалась я.

— А вот так: утопился!

— Он утопился с горя, что у тебя горб вырос?

— Меня и в поминках не было, когда он помер, — заявляла Груня и смотрела на меня победно, а связь между Панкратом, квашеной капустой и Груниным горбом тем временем все больше и больше запутывалась.

— Значит, он утопился в квашеной капусте оттого, что человека убил? — робко спрашивала я, желая внести хоть какую-то ясность в понимание тревожной Панкратовой судьбы.

— Не, набулдыжился самогоном, полез в кадку с капустой, голова и перевесила — он-то утоп, а я с горбом выродилась.

— Груня, у тебя горб не из-за Панкрата вырос, а оттого, что тебя уронили в детстве, — пробовала я убедить Груню, но она была неубедима, у нее было твердое мнение насчет всего и переделать ее было невозможно…

— Погляди на небо, — говорила Груня, оскаливая в улыбке свои серые волчьи зубы, — видишь, души летят?

— Какие души, Груня?

— Праведные!

— Груня, ну зачем ты говоришь чепуху, это же облака.

— Дура ты, Туська, хоть и директорская дочка, — не облака это, а души. Вглядись позорче — все лица и лица…

Я вглядывалась и действительно начинала улавливать в облаках разные фигуры — людей, зверей, птиц. Были и лица (не знаю, праведников — или еще чьи-нибудь). Но меня больше, чем души праведников, интересовало то, что небо с передвигающимися облаками, выстраивающими все новые и новые картины, было очень красиво и на него хотелось смотреть неотрывно.

А Груня тем временем зловещим голосом поучала: «И в земле души, и в птицах души, и в букашках души — и давить их нельзя, а давить можно только комаров и слепней».

— Ишь, какая хитрая ты, Груня! Комары и слепни тебя кусают, так их давить можно? А клопов нельзя?

— Клопов нельзя, — печатала она…

Груня учила меня различать лица праведников и в коре деревьев. Почему одни праведники поселились в облаках, а другие такие же праведные — в коре деревьев, я понять не могла. Но это было и неважно, и, несмотря на разногласия по вопросам Панкрата, квашеной капусты и лиц праведников, разговоры с Груней были очень содержательные. Она знала лес как свои пять пальцев. Научила меня по деревьям и по солнцу находить дорогу, по траве понимать, кто проходил по лесу, делать чернила из шариков, наросших на листьях дуба, чистить медный самовар ягодой бузины, по-разбойничьи свистеть в осоку, зажав ее между большими пальцами, определять дно и глубину реки по ее течению, выжимать выстиранное белье. Много чему она меня научила…

Вечером, когда Груня пригоняла стадо домой, она держалась угрюмо и недоступно. Мрачно ела она свой обед на кухне, поевши, слонялась немного по двору, тоскливо улыбаясь неизвестно кому, из-под своего надвинутого на нос платка, а потом разом исчезала куда-то. Так я и не знала толком, где она жила и куда скрывалась на ночь.

ДОЖДИК

Заладил дождик у нас в колонии, который уж день все идет, идет и идет. То припустится ливнем, то сеется и моросит, но все равно дождик Два стога сена, которые стоят у молотилки, мальчики покрыли досками и старым железом, но это не помогает, и к ним страшно подступиться — такие они стали

черные и прелые: плохое это будет сено, невкусное. Правда, говорят, что один стог (когда он высохнет) мы пустим на матрасы для девочек. Это другое дело…

А дождь все идет и идет, но на улице не холодно. Я слышала, что за скотным двором около кучи навоза мальчики собрали сегодня рано утром очень много шампиньонов. Интересно, отнесли они их на кухню для всех или будут сами жарить.

Белая курица нахохлилась и стоит под телегой на одной ноге — мне из окна кажется, что она спит…

А вот идет Эгоша. (Так его прозвали потому, что он говорит вместо «ево» «эго».) У этого Эгоши страшно низко помещается талия, совсем где-то около коленок, а голова у Эгоши похожа на ежика. Он очень работящий мальчик. Вот и сейчас понес две доски на скотный двор, наверное, там что-нибудь повредилось, и он хочет починить, а тетя Груша, хитрая старуха, знает кого попросить. Постоянно этот Эгоша работает, хоть сейчас и не время «трудпроцессов», а он — поди жь ты — волочит доски и не на показ, а так себе скромно, бочком, незаметно. Ведь никто, кроме меня, и не видит, что Эгоша прошел в коровник.

Он даже никогда не похвастается, а просто починит что надо, скажет; «Тетя Груша, я „эго“ починил», — и уйдет. И все тут!

Пес Желтый тихо протрусил от молочной к нашему дому. Он бы мог и не ходить сюда, но, видимо, освежается под дождем. Это у него вроде умывания. А может быть, он есть захотел?

Когда дежурная девочка наливает Желтому в миску еду, он никогда не кидается к миске поспешно, как бы голоден он ни был. Нет, он не кидается, он сидит тихо, благодарно и достойно склонив голову. И только когда дающий отходит, Желтый медленно приближается к еде и синим, дрожащим языком начинает отправлять в свой беззубый рот пшено и турнепс, залитые водой.

Этот Желтый мой друг, он однажды спас меня от своры санаторских собак, которой предводительствовал свирепый пес Султан. Да, он спас меня, но сейчас мне не хочется вспоминать об этом, потому что горбатенькая пастушка Груня пригнала скот из леса, и дежурные по скотному двору Наташа Михалева и Катя Трофимова побежали туда доить коров. Они пробежали через дорогу, и их босые ноги отпечатали в мягкой земле глубокие следы, которые тут же наполнились водой. Я вижу из окна коридора, как они вытирают грязные ноги об траву (Наташина нога не больше, чем моя ладонь) и исчезают на скотном…

Никак не могу разглядеть, но мне сдается, что из трубы нашей бани начинает виться тонкая струя дыма. Это очень странно, день-то ведь сегодня не банный, кто же может там

топить?

В доме из мезонина с грохотом обрушились верхние девочки и прогалопировали мимо меня по коридору. Брякнули входной дверью. И вот они уже бегут с узлами, по лужам в баню. Так и чешут босыми ногами, только пятки сверкают. Все ясно: затеяли стирку. Глупое занятие стирать в дождик, сушить-то ведь негде. Вообще эти верхние девочки какие-то колготные и неугомонные. Не сидится им наверху, вот вынь да положь, надо устроить стирку. Они с этой своей аккуратностью совсем ополоумели. И вообще непонятно, где они раздобыли мыло? Или будут стирать в щелоке?..

Как будто бы поменьше стал дождь, но перестать совсем не соглашается, идет и идет… Со стороны молочной показался заведующий восьмой загородной школой Александр Федорович Луговской. На нем надета тужурка, а поверх нее наброшен кусок клеенки. На голове фетровая шляпа, которую он называет «шляпе». Шляпе здорово промокла, дождь капает с нее и стекает струйками, видно, давно уже бродит папа под дождем. Он побывал и на скотном дворе (обсудив все с тетей Грушей), и в амбаре, и в конюшне, может быть, был даже в поле. Сейчас он идет из молочной от мальчиков. С ним вместе шагают под дождем Флоря Постников и Володя Князев. Что-то они обсуждают? Наверно, интересное говорит Флоря, потому что папа остановился и смеется. Остановился-то он, конечно, не для смеха, а потому что задохнулся. (Это вот их северная олонецкая порода! Они все такие! Все в себе, все неприятности, все горести.) Я-то знаю его хитрость, но если кто не знает, то вполне может подумать, что стоя ему приятнее смеяться. Папа удивительно умеет хитрить со своим сердцем. Он всегда остановится будто бы зачем-то: или вроде бы разглядеть что-то, или посмотреть на небо, или посмеяться. А на самом-то деле он задыхается, и сердце у него колотится, но об этом мало кто знает. Мы с мамой знаем — и все.

А дождик опять припустился, папа с мальчиками завернули на сеновал, и я сразу поняла, о чем они разговаривали: Флоря уговаривал папу разрешить им отгородить от сеновала комнату для мальчиков, в молочной уж очень тесно. Мальчишки хитрили, Флоря остроумный, он и рассмешил отца.

Размахивая пустым мешком, пулей пронеслась в амбар Бавка. У этой Бавки все вздернуто: и нос, и верхняя губа, и хохол на голове, даже характер у Бавки вздернутый. Бежит она по лужам без оглядки, вприпрыжку, и брызги от нее фонтаном летят во все стороны. За Бавкой, уже степенно, с большим амбарным ключом в одной руке и зонтиком в другой, идет «шкрабка» Кира

Владимировна, а следом за ней семенит, обливаясь слезами и дождем (явно за что-то наказанный), ее пятилетний, большеголовый сын Вовка. Он бежит за матерью и ревет громко и вдохновенно, но Кира не оглядывается, не прощает его и не загораживает зонтиком от дождя. Скоро Вовку помилуют и опять начнут баловать, но сейчас вид его внушает жалость: он мучительно одинок и несчастен, его рыхлое тельце с наплывами похожего на тесто жира трясется от непосильного бега. Он соплив, слюняв и мокр. Орущий рот его раскрыт, голова запрокинута, руки, как у слепого, шарят в воздухе в надежде ухватиться за материнскую юбку.

Этот Вовка какой-то «не детский мальчик». Смотрит на всех своими белесыми, выпуклыми глазами, и кажется, что он все понимает, все замечает, всех осуждает. Я его не люблю, но сейчас мне жалко Вовку: уж очень он весь какой-то трясущийся, орущий, охрипший и несчастный.

А между амбаром и сараем, голый по пояс и загорелый дочерна, Ваня Шабельский стал еще выше от поднятых рук и зажатого в них колуна. Он постоял великаном секунду, прицелился и одним махом развалил пополам огромный вековой пень, а потом пошел долбить и крошить две его половинки на поленья. Именно в этот момент из-за угла сарая появилась Таня Шабашева: подумаешь, вышагивает между лужами, босые ножки боится замочить! Щек у Тани вдвое больше, чем нужно обыкновенному человеку, и они красные, как свекла, а по щекам черными спиралями стекают ее красивые вьющиеся волосы. Губки бантиком, рукава фонариком, а пуговичные голубые глаза безразлично смотрят из-под положенного на голову лопуха. (Ишь барыня какая! Ведь лопух-то этот она для красоты напялила на макушку, это уж всем ясно.) И дела у нее нет никакого в этой стороне. Просто там Ваня колет дрова, а она хочет покрасоваться перед ним в своем лопухе, и чтобы Ваня видел, как ее овечьи волосы от дождя еще обильнее стали закручиваться в спиральки. Ужасная вертушка эта Таня, все время что-то изображает. (Наверное, стояла с той стороны сарая и мочила голову, там труба оборвана, и вода хлещет из желоба, как из крана, — еще сильнее можно вымокнуть при желании.) А Ваня тем временем раскрошил весь пень (ну, и здоровущий же он парень!), набрал охапку дров — головы не видно, — прижал к голой груди и понес на кухню, даже не взглянув на Таню, даже не заметив ни ее спиральки, ни ее лопушка…

Боже мой, пока я наблюдала Таню с Ваней, я прозевала, как младший Киселев (тот, который Саша, а не Миша) вывел из конюшни Буланого и начал его запрягать: уже завел его в

оглобли, уже и хомут надел! Куда же они поедут в такой дождь? Только я собралась сбегать и узнать, как вспомнила, что пропустила отведенное мне время для занятий музыкой. И теперь мне будет влет от Анны Павловны! И тут уж дождь будет ни при чем!

РОЗАНОВКА

Когда Николай Николаевич Гринчар, главный врач соседнего туберкулезного санатория, появился первый раз на территории нашей колонии, все старшие девочки наперебой захотели болеть: так был красив доктор Гринчар. А он шел себе и шел, ни на кого не обращая внимания, на своих длинных ногах-ходулях, низко опустив голову, словно желая скрыть от людей свою невиданную красоту. Белый халат, завязанный на спине тесемками, был ему короток, руки он заложил за спину.

Шел Гринчар лечить заведующего школой № 8, у которого был тяжелый сердечный припадок.

Врач посидел около больного, послушал его пульс, потом покачал головой, сказал маме, что сердце у отца живет по ошибке и ушел, также низко склонив голову и пряча свое лицо. А мама, засучив рукава, начала колоть отцу принесенное доктором лекарство. Опять запахло камфарой и спиртом, опять у мамы сделалось неприступное лицо, опять папа лежал без движения тихий и покорный. И каждый день, как на службу, стал ходить к нему доктор Гринчар. Он лечил отца и очень подружился с ним, а когда тот поправился, устроил его на две недели отпуска в филиал своего санатория, который назывался «Розановка». В филиале этом не было туберкулезных больных, а жили там просто отдыхающие люди. Маленький деревянный дом филиала стоял в километре от главных корпусов санатория и от нашей колонии.

Розановка вспоминается как иллюстрация к андерсоновской сказке: где все чисто, все прибрано, где цветет жимолость, где все люди улыбаются и любят друг друга, где шиповник заглядывает в открытые окна, где хорошенькая Тамара разливает суп по тарелкам из фарфоровой миски, где кот дружит с собакой, где в комнатах бревенчатые стены и чистые постели, а на вымытом полу постелены яркие домотканые половички, где у всех дам красивые прически, а на переносице поблескивающие, как стрекозы, пенсне, где все без памяти любят моего отца, одетого в белую косоворотку, подпоясанную шнурком с кистями, где в саду бегут к оврагу посыпанные речным песком дорожки, где птицы запросто клюют из ваших рук, где медсестры в белых косынках

похожи на ангелов, а собака Буржуй — на игрушку. А вся Розановка, вместе взятая, — похожа на сказку о счастье.

Я бегала к отцу почти каждый день. Он поджидал меня на террасе или на условленной скамейке. У меня накапливалось к нему много вопросов. Иногда я захватывала с собой выписки из своего дневника, в котором были разделы: вопросы к папе, вопросы к маме, вопросы к Володе (Нина оставалась без вопросов). Надо сказать, что я, по причине малолетства, оставшись без группы (школа была второй ступени) ходила, с разрешения отца, на занятия по литературе в старшую группу и в кружки по искусству, но при этом обрекалась во время уроков на молчание. Все непонятное я должна была записывать и в подходящий момент обращаться за разъяснениями к отцу. Подходящий момент, безусловно, был сейчас, и я, выписав на бумажку вопросы, мчалась в Розановку. Привожу сохранившиеся страницы дневника с вопросами к папе:

1. Почему греки иначе чувствовали, чем мы? Почему им все было можно: и убивать, и выходить замуж за своих матерей?

2. Чем трусость отличается от страха?

3. Потерпел фиаско — это выражение взято из «заговора Фиаско в Генуе» или нет?

4. Почему Грановитая палата называется Грановитой?

5. Кто такой архивариус?

6. Кто такой матерщинник?

7. Когда улетают на юг ласточки?

8. Можно ли громко говорить про человека, что он дурной, если он действительно дурной, и как это называется — осуждение или правда?

9. За что можно давать пощечину?

10. Почему цветы в лесу живут дольше, чем в поле?

11. Как мне надо звать новых мальчиков на «ты» или на «вы»?

12. Если спать на голых досках — можно ли закалить волю?

13. Сколько лет живет обезьяна и правда ли, что она мой предок?

14. Почему собака ругательное слово?

15. Настоящий немец Эрнест Карлович или искусственный?

16. Есть ли сейчас такие люди, как Орленок Ростана?

17. Сколько времени человек может прожить без пищи?

18. От какого слова происходит слово «паек»?

19. Сколько надо иметь лет, чтобы кончилось детство?

20. Что такое декрет?

21. Могут ли большевики быть богатыми людьми? Если нет, то как же Раиса Михайловна Оболенская — ведь у нее было имение — а она большевичка?

22. Что такое значит обожатель?

23. Как побыстрее отличить стиль барокко от рококо, ведь они похожи?

24. Почему плохие девочки обязательно хотят очернить хороших, чтобы уравняться с ними или потому что они злые?

25. Почему, кто читает много, тот молчит, а кто прочтет одну книжку, тот хвастается?

26. Почему Тютчев пишет «Тени сизые смесились» — ведь это же тени, а не тесто?

27. Надо ли всегда говорить правду?

28. Как помириться, не прося прощения?

29. Почему все мальчишки так любят врать? и т. д.

Не помню случая, чтобы отец не ответил мне на какой-нибудь вопрос. Иногда он задумывался, иногда улыбался, но всегда отвечал. Его ответы легли фундаментом моих знаний и моей нравственности. Иногда, правда, бывали несовпадения.

Помню, как однажды мы долго сидели в саду и разговаривали, потом отец, хитро улыбаясь, сказал: «Таня, сбегай ко мне в комнату, там на окне под газетой что-то лежит для тебя. Возьми и съешь».

Я побежала, действительно в его комнате на окне лежала газета. Когда я приподняла ее, рой пчел взвился вверх. Еще большее количество пчел, не в силах отлипнуть от жалких остатков сахара, осталось на подоконнике. Они просто потеряли голову от обжорства и догладывали, рискуя быть убитыми, тонкие, как папиросная бумага, сахарные перегородки. Отчетливо вижу и сейчас: некрашеный деревянный подоконник открытого в сад окна и еще шевелящихся, обалдевших от жадности пчел, живым ковром покрывавших сахарные руины.

Я смахнула газетой за окно пчел и то, что еще утром называлось сахаром, и долго думала, что сказать отцу? Я ему еще ни разу в жизни не врала, но и правду сейчас я тоже не могла сказать. Почему-то сердце у меня сжималось, как только я представляла себе, что сегодня утром им дали вместо песка сваренный сахар, а он (такой враг моей тянучки) сложил его для меня на окне и прикрыл газетой. Теперь я должна его огорчить, рассказав, что сахар съеден пчелами, а он больной и сердце его живет по ошибке. Что мне делать? И я решила соврать, хотя только что получила ответ от него, что всегда нужно говорить правду. Нужно-то нужно — это безусловно, — но, заглядывая в глубины своей души, я понимала, что в данном случае нужно соврать, обмануть, не сказать, что гостинец съела не я, а пчелы. «Да, совру», — окончательно решила я, а вопросы о пчелах и правда перепишу в вопросы к Володе.

РЕВНОСТЬ

К Эрнесту Карловичу (прозванному Турнепсом Карловичем) — инструктору по сельскому хозяйству, старику, похожему на малокровную бледную сову, к шее которой была привязана разделенная надвое седая козлиная борода, занудливому противному немцу, способному говорить только о кормовых и навозе, я приревновала свою сорокадвухлетнюю, обожавшую своего мужа маму!

Ревность обрушилась на меня во время перевязки, которую делала мама поранившему себе палец Турнепсу Карловичу. Лицо ее было слишком участливое, руки слишком ловкие, а голос, которым она произнесла: «Через недельку у вас все пройдет, Эрнест Карлович», слишком ласковый. Этого было достаточно, чтобы я, помогавшая ей и все это видевшая и слышавшая, в одну минуту возненавидела старика Турнепса вместе с его козлиной бородкой, слезящимися совиными глазами, большим беззубым и слюнявым, как у младенца, ртом, полуприкрытым жидкими зелеными усами, с его всегда аккуратной рубашкой и слабительной травой, которую он сушил и заваривал каждый день на кухне, а потом шаркающей походкой нес к себе. И вообще всего его я возненавидела с головы до пяток. Чувство ревности было неиспытанным и новым, и я разжигала его. Я стала следить за мамой. Наблюдения были скудные, так как мама проходила мимо старика Турнепса как мимо дерева, не обращая на него внимания. Один раз удалось заметить, что Турнепс Карлович, открыв в кухню дверь, пропустил с поклоном маму вперед. Обливаясь холодным потом и трясясь от ненависти при виде этого позорящего мою мать зрелища, я толкнула Турнепса (будто бы споткнулась). Но эффекта не получилось: Турнепс устоял, а мама ничего не заметила и спокойно прошла в кухню к дежурным девочкам.

Бесили меня также и длинные разговоры о сельском хозяйстве, которые вел папа с Эрнестом Карловичем. Неужели такой умный человек, как мой отец, не может понять, что этот Турнепс мразь и гадость? Ведь он против папы, он открывал маме дверь в кухню и определенно нарочно поранил себе палец, чтобы ходить к ней его лечить.

Когда же Турнепс пришел на повторную перевязку и мама попросила дожидавшихся мальчиков и девочек пропустить его без очереди, я пулей вылетела из докторской комнаты и не пожелала скручивать в трубочку старый, грязный Турнепсов бинт (новых бинтов у нас не было — мы их экономили и меняли чистую марлю только на ране). «Пускай, — решила я, — мама одна

управляется как хочет с этим поганым и вредным стариком». С этого момента у меня начались мечты о мести Эрнесту Карловичу. В голове моей чередовались и выстраивались в ряд разные наказания, унижавшие Турнепса.

Было бы недурно, чтобы он наступил на хвост Желтому, и тот, схватив его за одну половину козлиной бороды, оттрепал бы как следует на глазах у всей колонии. Да, это было бы недурно, но слишком невероятно, так как добряк Желтый не имел никаких личных счетов с Турнепсом.

Был еще вариант: толкнуть Турнепса в пруд, покрытый тиной, где он потеряет свои штопаные брюки, а потом жалкий, осмеянный всеми, побежит на своих березовых тонких ногах через двор к себе на сеновал. Но и этой казни было недостаточно для злодея Турнепса. Наконец я остановилась на том, чтобы засадить его в выгребную яму.

Я ясно видела эту картину. Поздно вечером, когда двор освещен только луной, скрывающейся иногда за тучами, когда все окна темные и колонисты уже спят, именно в этой тишине и темноте, с крыльца, крадучись, спускается Турнепс Карлович, неся в руке кружечку с слабительной травой. Луна засветила ярче, и я отчетливо увидела его гадкое совиное лицо и завязанный (ненавистный мне) указательный палец, торчком стоящий над кружкой. Все внимание его на кружке, нести которую без указательного пальца трудно. Не упасть бы, не разлить бы драгоценный декохт. Неожиданно луна опять задергивается тучей, на двор падает темнота. Турнепс теряет ориентир и заворачивает левее, чем нужно. Еще несколько шагов, в темноте он наступает на шаткие доски и разом, вместе с кружечкой и слабительной травой, уже барахтается в выгребной яме. Крик, шум, все сбегаются, тучи расходятся в стороны и луна выстреливает свой свет на выгребную яму, Желтый лает, девочки визжат, мама надменно смеется, а полуодетые мальчики жердями вытаскивают Турнепса из ямы. Этот вариант мести, привлекающий к себе наибольшее количество свидетелей, был самым некрасивым, унизительным, и я остановилась на нем.

Тем временем ничего не подозревающий бедный старик продолжал, как ни в чем не бывало, заживлять свой палец, ходить на перевязки, пить слабительную травку, стирать каждые два дня в ржавой шайке свою рубашку и мучить меня одним своим существованием на этом свете. А со мной, между прочим, начало твориться неладное. Я стала подозрительна и нервна. Когда маме надо было ехать в Москву, мне начинало казаться, что с ней случится что-то ужасное, как только она выйдет из-под моего надзора. Я со слезами уговаривала ее не ехать, не разлучаться с

нами. Ни уговоры, ни ласка, ни строгость — ничего на меня не действовало. Исчерпав все резоны, мама садилась в тарантас и уезжала, а я бежала следом и ревела на всю округу. За мной с сочувственным лаем бежал Желтый. Прикрывала нас от любопытных глаз только дорожная пыль. Это было стыдно и унизительно, но остановиться я не могла. Маме тоже было стыдно: ведь я была очень длинная девочка, гораздо выше своих десяти лет — и вдруг бегу в пыли вместе с собакой за тарантасом и реву. Глупо, некрасиво и обидно. Но я шла на этот стыд, раздираемая какой-то истерической тоской. Особенно тяжело было оттого, что я никому не могла признаться в обуревавшей меня ревности. Я понимала, что это глупо и поэтому молчала…

Так я пробегала с ревом за мамой несколько месяцев. Потом, освоив чувство ревности во всех его нюансах, я стала уставать от переживаний. А к зиме уехал научивший моего отца сельскому хозяйству Эрнест Карлович. С его отъездом мой испорченный характер немного выправился, и хотя мне не удалось искупать Турнепса в выгребной яме, я почему-то считала, что битву с ним я выиграла и поле боя он покинул побежденным.

ВОЛОДЯ В КОЛОНИИ

Вечером стрекотали сороки и страшно орали галки — видно не могли найти себе место для ночлега. Ближе к ночи полил дождь. Что-то шумело, гудело в печке: ветер, наверно, поднялся сильный.

Я проснулась от стука в окно. Стучали не в наши окна, а где-то дальше, в конце дома. Потом стук прекратился, и чьи-то тяжелые, пудовые шаги прочмокали по лужам к крыльцу. Дождь лил вовсю. Было совершенно темно. Как хорошо, что можно лежать в постели и не идти по этим лужам под дождем, подумала я и заснула…

Утром небо прояснилось, а когда мы встали, я узнала, что ночью приехал брат Володя. Разумеется, я сейчас же побежала в комнату родителей. На полу, занимая все свободное пространство, спал кто-то огромный, худой и небритый. Было похоже, что этого человека сбросили с неба на пол и он расшибся. Расшибся насмерть, так обессиленно он лежал и так крепко спал. В комнате пахло сырой кожей и выстиранным бельем. Топилась русская печка, около нее на веревке было повешено уже выстиранное (когда это мама успела!) мужское белье и портянки. На табуретке сушились заляпанные глиной сапоги, на стуле галифе и френч. Кобура с револьвером и ремни лежали на отцовском рабочем столе. Постели отца и матери были уже

застелены, и в комнате не было никого, кроме этого огромного небритого мужчины, называвшегося моим братом.

— Володя, — позвала я его.

— М-м-м, — промычал мужчина во сне и повернулся на другой бок. Одеяло сползло с его голой белой спины, темная, загорелая шея и лицо были как приставленные к этой спине, — как чужие, — так они отличались по цвету кожи. Волосатая рука, лежащая на подушке, тоже была белая, а кисть ее совсем коричневая.

«Где это он так загорел кусками, — подумала я. — А может быть это вообще и не он, а кто-нибудь чужой? Зачем же я его бужу, если это не он?..»

И все же, когда этот непонятный мужчина проснулся, он оказался моим братом.

Володя встал, подпер головой потолок, побрился папиной бритвой, окатил себя в бане ведром холодной воды и после всего этого стал отдаленно напоминать себя. Во всяком случае его уже можно было узнать, но все-таки я стеснялась его, даже немножко боялась. Он как-то не умещался в колонии, как-то не подходил к нашей тихой, размеренной сельской жизни. От него шел чужой, незнакомый шум.

Когда я вторично заглянула в комнату родителей, Володя, одетый в чистую папину рубаху, сидел за столом. Перед ним стоял горшок с горячей картошкой и лежала горбушка черного хлеба. Он так молотил эту горбушку (я ее узнала, так как сама «занимала» ее сегодня утром для мамы), что она уменьшалась на глазах. Было ясно, что мама будет обедать без хлеба. Расправившись с горбушкой, Володя начал густо обсыпать солью картошку и отправлять ее в рот нечищеную, прямо в мундире. Мама пыталась помочь ему, но он уклонялся от ее суетливой нежности. Картошку Володя запивал чаем и при этом гудел на весь дом, рассказывая про облаву на бандитов. Отец сидел за своим рабочим столом и, хотя глаза его были насмешливы, слушал его очень внимательно. Умяв горшок с картошкой, брат начал читать стихи. Тут уж даже русская печка начала трястись от раскатов его голоса.

Стихи были незнакомые. Ни небес, ни золотой реки, ни плавности и в помине не было в этих стихах. Они ходили ходуном по комнате, гремели и ударяли по голове. Какие-то поезда, пути, шум, треск и пальба вылетали из Володиного горла и оглушали меня. Должна признаться, что все это вместе взятое произвело на меня удручающее впечатление, я почувствовала одиночество и была рада, когда мама, сумевшая пробраться через гром Володиного баса, сказала мне: «Туся, тебе надо идти в Новоселки

к бабушке Катерине за яйцами. Вот если бы ты не стояла тут, а сходила бы к ней раньше, я бы уже сделала Володе яичницу. Ты же видишь, он голодный».

«Ничего себе, голодный, — подумала я, — когда съел целый чугун картошки! Мама уж не знает, как ублажить своего Володечку. Теперь — я ручаюсь — отдаст ему свой обед, и не он, а она сама будет голодная».

Я вырвалась на улицу из этого рифмованного шума и грохота с облегчением и пошла по теплой, пыльной дороге в Новоселки.

Поручение, данное мне мамой, было не трудное. Бабка Катерина уже была в колонии, смотрела, щупала и взяла с собой мамину скатерть, пообещав дать за нее пяток яиц. Окончательный торг не состоялся только потому, что бабушкина курица забастовала и не нанесла пяти яиц. И вот теперь я шла за ними.

Не успела я еще дойти до ржаного поля, как воздух за моей спиной раскололся от громоподобного крика: Т-а-т-ь-я-н-а-а!

Оглянувшись, я увидела в клубах пыли брата.

— Т-а-т-ь-я-н-а-а! — рявкнул он еще раз, и птицы беспокойной стайкой снялись с березы и полетели в сторону леса. Я остановилась.

— О чем я буду говорить с ним? Чем я смогу его удивить? — тревожно запрыгало и заколотилось у меня в голове, а облако пыли вместе с моим братом тем временем неотвратимо надвигалось на меня.

Решение выскочило совершенно неожиданно: отведу его на свой «мысок»…

Незадолго до этого дня я ходила в ту же деревню Новоселки. Дорога туда шла через ржаное поле, солнце стояло в зените, было очень жарко и я свернула на узкую тропочку в надежде пробраться по ней к опушке леса, в тень. Тут я и набрела на маленький зеленый островок.

Он плыл среди бесконечных волн ржи под зелеными парусами трех берез, неизвестно каким образом уцелевших на этом клочке земли. Неожиданное счастье окатило меня с головы до пяток, как только я вступила в мерцающую, кружевную, зеленую тень этой обетованной земли. Я назвала ее мыском.

Мысок стал моим тайным прибежищем и свидетелем всех радостей, печалей и раздумий. Я породнилась с ним и стала при первой возможности бегать к нему в гости. Ни один человек не знал об этой моей тайне. И вдруг сейчас, совершенно неожиданно для себя, я решила отвести в свой тайник уже приблизившегося малознакомого брата.

— Володя, — сказала я, — хочешь я покажу тебе свой мысок?

— Какой мысок, Татьяна? — удивился он.

— Ну, мысок у меня есть, — замялась я. — Мысок моей собственной природы. Пойдешь?

— Твоей собственной природы? Конечно, пойду, идем немедленно.

И мы зашагали. Шагать-то мы шагали, но на сердце у меня была тревога. Тревожны были и мысли, скачущие в голове: поймет ли Володя все так, как мне надо? Не обсмеет ли меня? Раньше бы он понял, а теперь?..

— Ты знаешь, там совсем уже не так хорошо, как ты думаешь. Там и цветов мало, там совсем ничего нет — только три березы и кротовая нора, — на всякий случай защитилась я…

На мыске было прекрасно. Солнце грело, но не обжигало, бабочка споткнулась в воздухе и стукнулась о мою щеку, неуловимо шелестели листья, трава и колосья, но в то же время нас окружала абсолютная тишина.

— Дура ты, Тучка, — сказал Володя, когда мы сели под березами. (Володе не понравилось, что меня в колонии стали называть Туськой, и он переделал Туську в Тучку.)

— Дура ты, когда говоришь, что тут не так уж хорошо. И если здесь мало цветов, то завтра же они расцветут… Может быть, даже и сегодня.

И тут я заметила, что кружевная зеленая тень на земле радостно зашевелилась, а эмалированная спинка божьей коровки, ползущей по Володиной ноге, вдруг треснула посередине, раздвинулась, приподнялась, обнажила нижние тюлевые крылышки — и… божья коровка — улетела! (Я была уверена, что это Володя приказал ей лететь, но виду не подала.) На сухой серой земле, выброшенной кротом из норы, сидел толстый зеленый кузнечик и чистил свои зубчатые лапки. Если он прыгнет, значит, Володя и с ним разговаривает, — загадала я, и в ту же секунду кузнечик, прочертив в воздухе зеленую полоску, исчез. Он все понял…

— Вова, — позвала я брата его детским именем, — значит, тебе нравится здесь?

— Да, — сказал он, — очень! Можно я здесь посижу, сестра, пока ты сходишь в Новоселки?

И я ушла к бабушке Катерине за яйцами, а он остался.

Возвращаясь назад, я зашла за Володей на свой островок Солнце уже переместилось на небе, увело за собой тень в сторону и палило теперь прямо на голову брата, но он, видимо, не замечал этого. Опущенное вниз лицо его было чужое и жесткое. Он торопливо что-то записывал в маленькой тетрадке, потом поднял голову, посмотрел слепыми, невидящими глазами сквозь

меня и, зашевелив губами, что-то невнятно забормотал…

Я ушла тихонько.

Когда стемнело, девочки бежали на крыльцо молочной избы и говорили друг другу: «Скорей, скорей, Володя Луговской про уголовников рассказывает». А мальчики уже стояли около крыльца и слушали. А некоторые, которые еще только шли туда, говорили: «Пойдем в молочную, там Володя про Хитров рынок заливать начал…»

Наш Володя, хоть и был всего на два года старше самых больших колонистов, но уже очень сильно отличался от них: и ростом, и прожитой жизнью, и развитием. Их все еще называли мальчиками, а Володю уже никак нельзя было так назвать: он был уже взрослый, уже не учился, а служил в милиции.

Вот он стоит перед крыльцом в кольце колонистов, на голову выше всех — и громким голосом рассказывает про облаву на Хитровке, а на ступеньках крыльца горкой белеют в темноте девочки и повизгивают тонкими голосами. Я сижу в сторонке, на завалинке и смотрю на небо, потому что этот рассказ я уже слышала утром.

…Если смотреть долго на звезду, то она начинает дрожать: наверное, ее это беспокоит. Но если бы я нашла в этом огромном небе свою звезду, она бы не дрожала…

Пока я искала свою звезду, Володя тем временем уже совершил облаву на Хитровке, забрал бандитов и спекулянтов, и они так отстреливались, а девочки так визжали, что я окончательно потеряла всякую возможность найти свою не дрожащую звезду.

Дело шло к ночи, и кто-то из старых ударил в колокол. Пора было расходиться…

Володя прожил у нас около недели (это был его отпуск). Первые дни мы с ним очень дружили. Я висела на нем, как на заборе, ходила по пятам и приставала с просьбами.

— Володь, а Володь, пойдем на мысок? — И он шел.

— Володь, а Володь, пойдем покачаемся на качелях. — Он опять шел.

— Володь, а Володь, послушай мои вопросы к тебе. — Я приносила дневник и читала, а он слушал и давал мне ответы. Ответы помню плохо, а вопросы сохранились в дневнике:

1. Как по-твоему, кого папа больше любит, тебя или меня?

2. Объясни мне, как в тебе заводятся стихи?

3. Папа говорит, что Пушкина убил царь, но ведь на самом деле его убил Дантес, как это понять? Кто же его убил в конце концов?

4. Можешь ли ты ударить бандита, если он слабее тебя силой?

5. Как ты думаешь, меня возьмут замуж, или я совсем некрасивая?

6. Ты большевик или нет?

7. Папа читал вслух «Медного всадника» и сказал, что это совершенство, а когда я заштопала ему носки, тоже сказал, что это совершенство, как это понять?

8. Что еще идет за совершенством, или это уже конец хорошего? — И так далее…

Обретя вновь своего брата, я старательно начала его мучить словом и делом. Он был терпелив, снисходителен и, казалось, наслаждался моим обществом. Я его взнуздала, оседлала и хорошо натянула вожжи. Все было в порядке, и вдруг, в один прекрасный день, он вывернулся из моих рук и исчез! Назавтра повторилось то же самое: улыбка, обещание, потом рывок… и исчезновение в неизвестном направлении!

Я на мысок — пусто!

Я аукать в лес — никакого отклика, кроме эха! Я туда, я сюда — везде пусто. Нет брата! Исчез! Что тут со мной сделалось, описать не могу! Я совсем ополоумела от обиды и ревности. Начала рыскать по всем закоулкам, стараясь не упускать его из вида. Наконец выследила, что Володя, старательно расчесав свои волосы на косой пробор и прицепив на бок кобуру, отправляется на Розановку. Этого только не хватало! Тогда я решила дать ему отпор и окатить презрением. Я не смотрела ему в глаза, делала вид, что не замечаю его, но боковым зрением все время следила за ним, и сердце мое продолжало разрываться на части от горечи потери. Брат как будто бы не замечал моих страданий, был весел, оживлен и, видимо, вполне доволен жизнью.

Однажды он вдруг, как ни в чем не бывало, подошел ко мне, обнял и спросил:

— Тучка, может быть, мы пройдем посидеть с тобой на мысок?

В ответ я зашипела, как змея, смахнула его руку со своего плеча, посмотрела на него сверху вниз (это неважно, что я была ниже ростом, я точно помню, что задумала смотреть на него сверху вниз) и ледяным, противным голосом ответила заранее придуманной фразой: «Прошу не прогневаться, нет, я не пойду с тобой на мысок, мне некогда. Я иду на скотный двор».

И ушла величественно, не оглядываясь, торжествуя, что отплатила ему за все свои обиды и страдания…

Перед отъездом брат отозвал меня в сторону — лицо его было беззащитным, голос просительным — и, протягивая мне

бумажный треугольник, сказал: — Тучка, прошу тебя, сбегай завтра на Розановку и передай его Тамаре. Только, пожалуйста, сестричка, сделай так, чтобы никто не видел. — Я онемела и расслабилась: Боже мой, он влюблен! Как же это я раньше не догадалась? Дура я дура!

— Передам, передам, не беспокойся. — Я радостно комкала записку, смотря ему в глаза и еле сдерживаясь, чтобы не разреветься от умиления, что он так раскрылся и доверился мне…

А Володя отгремел, отшумел стихами, сделал сказку на мыске, влюбился в Тамару и уехал от нас обратно в Москву.

ПОЩЕЧИНА

Мама в детстве говорила: «Накормлю пощечинами», но никогда ими не кормила. И я вечно хохотала над этим обещанием.

— Таня, — звала она.

— Что, мама?

— Поди сюда.

— Зачем?

— Без объяснения причины.

— Сейчас, мама.

— Не сейчас, а сию минуту, а то накормлю пощечинами.

Тут я с хохотом являлась, требовала кормления пощечинами, и начиналась возня и визг…

Но вот теперь, в колонии, я получила настоящую, первую и последнюю (я надеюсь) за всю свою жизнь пощечину.

Если говорить точнее, то это была не настоящая пощечина, а просто шлепок по щеке. Мама меня шлепнула и, как мне казалось, ни за что.

Получила я эту оплеуху в чулане, куда забилась, не желая танцевать венгерский танец перед Маргаритой Ивановной Гринчар, женой санаторского главврача. Эта милая женщина собственноручно сшила мне венгерский костюм, обшила его собственными блестками и монетками, а потом внезапно заболела и не могла быть на концерте. И вот теперь, поправившись, она пришла в колонию полюбоваться на творение рук своих. Девочки освободили место для танца, меня нарядили в венгерский костюм, Анна Павловна села за рояль, а я вдруг не захотела танцевать, — мне, видите ли, стало стыдно — и убежала в кладовку реветь и ломаться. Здесь настигла меня мама и привела в боевую готовность неожиданной, невиданной и оскорбительной оплеухой. Зареванная, с пылающей щекой (до сих

пор чувствую, что это была левая) я вышла из кладовки и с трагическим видом протанцевала венгерский танец. Казалось бы, на этом дело кончилось, но оно только началось. Мама, видимо, не поняла, что я уже не та Таня, которую можно было «кормить пощечинами». Теперь от этого «кормления» из меня прыснуло во все стороны все дурное, что во мне было. Именно с этого момента я начала выкраивать жизнь по-своему.

В колонию привезли холст. Мама хотела мне сшить платье, но я отвергла ее услуги и сшила себе платье-дерюгу сама и по своему фасону. Я стала «по-своему» ухаживать за папой. Я «по-своему» постригла себе волосы и отпустила челку. Я стала ломаться, я вообразила, что я исключительная и особенная.

Когда мама говорила мне, что я стала плохая девочка, я молчала, но про себя злорадно твердила — «и буду еще хуже, потому что ты меня ударила».

Вспоминаю, как в один из приездов брата мама, придя в ужас от его заросшей головы, схватила машинку для стрижки волос и предложила Володе постричь его. И он покорно подставил свою красивую голову под уродство и терпел, как терпит собака, которую чешут не там, где у нее чешется, но она молчит, потому что добрая и благодарная.

«Нет, я не из таких», — говорила я себе, наблюдая это зрелище и, закручивая в улитку свою челку, закалывала ее английской булавкой на лбу.

— Таня, что ты сделала со своей челкой, зачем ты себя уродуешь, — сокрушалась мама, протягивая руку к моим волосам.

— Не трогай, — угрожающе предупреждала я, — Вера Белова сказала, что у меня сократовский лоб и что его надо показывать.

— Но зачем же булавку закалывать? — хохотала мама. — Такая длинная, лысая девочка да еще с английской булавкой на сократовском лбу! (Наверное, и правда это было смешно.)

— Так надо, — категорически возражала я и продолжала ходить с английской булавкой пока не отрастила челку.

Мама говорила: не надо раздувать обиду, надо уступать. Отойди в сторону, не спорь.

А я лезла только что не в драку, да еще со старшими.

Мама говорила: «Надо есть с закрытым ртом». А я — назло ей — раскрывала свою пасть так широко, что туда залетали мухи.

Мама говорила: «не сутулься». Я сгибалась в три погибели.

Не знаю, во что бы я превратилась при таком старании совершенствоваться в плохом, если бы не Володя, с которым я поделилась своими достижениями. Это он объяснил мне, что все плохое и гадкое надо пресекать в начале, что плохое начинается с

незаметных пустяков, а потом вырастает в длинную кишку уродств, лжи, злости и даже подлости.

Господи, куда мне деваться, как вернуться обратно, с ужасом подумала я. И для начала пошла, взяла у папы большие канцелярские ножницы и хоть криво, но отрезала обратно свою челку, решив этим поступком начать исправление и уберечься от зла и подлости.

Челку-то я отстригла, но из-под маминой опеки вышла раз и навсегда. Снаружи все было в порядке, но внутри я стала самостоятельная. Безоговорочно подчинялась только маминому пению и лечению, все остальное я начала делать по своим законам.

ТОНКАЯ КРОМКА ЛЬДА

Вспоминаются какие-то истории, и все время кажется, что случились они не со мной, а с другим, хотя и близким человеком. А тебе это рассказали, и ты хорошо почувствовала и пережила с рассказчиком все эти события, и тебе представилось, что это произошло с тобой самой.

Но что бы там ни казалось, а эта история все-таки случилась со мной и ни с кем другим.

Была ранняя-ранняя весна. Снег осел и проваливался под ногами, а между землей и верхним его пластом появилась начинка из воды. Еще немного, и весь снег уже превратится в воду, чтобы соединиться с землей, но пока он был еще снегом.

Шла последняя борьба зимы и весны. Тот тревожный, опасный момент, когда не знаешь, кому же довериться, когда утром весна, а вечером зима, когда огромное снежное поле каждую минуту может зашевелиться и поползти, когда под снегом уже булькала и жила своей жизнью вода, но на вид поле еще казалось зимним. Деревья стояли влажные и теплые, только кое-где не могла еще отлепиться от елки или березы похудевшая от солнца сосулька, но и она уменьшалась на глазах, и грузные капли воды, капая с нее, продырявливали снег до самой земли. А некоторые дубы, которые зимовали в желтой листве, спохватились и начали поспешно облетать, освобождая место для новых будущих листьев. Снег уже потемнел, зяблики запели вовсю и пес Желтый лежит на солнышке и млеет, и дремлет, — но зима еще рядом, она еще тут, она тревожит, угрожает и цепляется за каждый кусочек снега, за каждую сосульку.

Сегодня все-таки наконец треснул лед, и начался ледоход на нашей реке Торгоше. И сразу же все уже окончательно повернуло

на весну…

Мы возвращались небольшой стайкой из деревни Дедушкино. Девочки и мальчики — среди них моя сестра Нина и я. Уже спустились с горы по грязной дороге и перешли через старый дырявый мост, с которого рыбаки удили рыбу, и я подобрала там маленькую (величиной с мизинец) снулую рыбку и, зажав ее хвостик большим и указательным пальцем, унесла с собой. Ледоход под мостом уже шел вовсю. Огромные льдины горбились, поднимались, вставали дыбом на середине реки, но по краям у берега лед еще был неподвижный и зимний. Так же, как и снег, он обманывал.

Мы сумели пробраться через поле к берегу по чьим-то черным, много раз таявшим и снова замерзавшим и от этого сделавшимися великаньими следам. Солнце пекло, я сняла тяжелое казенное пальто и, надев его внакидку, застегнула у горла на крючок. (Крючок этот потом чуть не погубил меня…)

Наша Нина стала в колонии очень смелая, даже отчаянная девочка, от прежней тихой Нины и следа не осталось. Может быть, она хотела еще покрасоваться перед мальчишками? Не знаю. Знаю только, что я всегда очень страдала, когда она выкидывала какие-то номера. Если Нина прыгала через костер, мне казалось, что она не сумеет допрыгнуть до земли, а плюхнется в огонь. Если бегала в горелки, мне тоже было тяжело, — потому что Нина хоть и бегала быстро, но как-то не легко, не как ветер, а как конь. Мне нравилось, когда она сидела за роялем, это ей шло. Или когда жала рожь, или доила коров, или танцевала, а вот как она бегает и прыгает, мне не нравилось. И я страдала, может быть, еще и оттого, что наша Нина была очень красивая, но мне этого было мало, мне хотелось, чтобы она была идеальная, и все, что нарушало эту идеальность, заставляло меня страдать, иногда даже плакать.

Вот и здесь, в это ослепительное, но опасное утро, я заволновалась, когда Нина вдруг прыгнула на неподвижный еще около берега лед. Она бегала по нему и скользила, и дразнилась, и вызывала всех бежать за ней. «Опять она делает не то, что нужно, не то, что ей идет, опять показывает свою удаль и ухарство», — подумала я, еще не понимая всей опасности, которой она подвергалась.

Несмотря на приглашение, никто за Ниной на лед не прыгнул. Я кричала ей: «Нина, иди обратно, Нина, не бегай». А девочки кричали: «Нина, не доверяйся льду — это опасно, Нина, ты провалишься».

Я-то не думала о том, что это опасно, мне просто было тоскливо смотреть на эту одинокую Нину, скачущую по кромке

льда и выделывавшую какие-то странные, не идущие ей прыжки на фоне серых, даже аспидных льдин. А льдины за ее спиной плыли, сталкивались, вставали ребром и снова с грохотом валились в воду.

— Нина, вернись!

Но Нина продолжала выплясывать, а под ногами у нее была обманчивая полоса неподвижного льда…

Она рухнула в воду сразу, в одну секунду. Бегала, прыгала и вдруг ее не стало: только лед на реке. Потом всплыла ее шапка. И тут же, вслед за шапкой, но уже ближе к середине реки, в самом водовороте льдин появилась Нинина голова. Она неестественно хохотала и что-то кричала, делая вид, что ей нравится это купание. Тревога молнией пробежала по нашей компании, и всем сразу стало ясно, что Нина должна погибнуть. Мальчики стали ломать какие-то сучья и тонкие деревца, но сестра дотянуться до своего спасения уже не могла. Мне показалось, что уже нет Нины, и только ее отрезанная от туловища и неестественно хохочущая голова еще продолжает плавать среди льдин.

Не найдя в себе силы смотреть на это зрелище, я разбежалась, хорошо оттолкнулась от крутого берега и прыгнула в реку спасать сестру. Расчет был правильный: я прыгнула прямо на Нину и утопила ее второй раз, а вместе с ней и себя.

В воде я открыла глаза — там все кипело и вертелось, но было почему-то не серое, не аспидное, как наверху, а голубое. И еще помню, что под водой было тихо. Удивительно тихо. Сколько продолжалась эта подводная жизнь не знаю. Что-то хлопнуло меня по голове, и я потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, то мы с Ниной были уже над водой. И опять я заметила, что шума нет. Тишина окружала меня, над головой было много неба, вокруг нас стены льда. Только этот лед почему-то душил меня. Я задыхалась и поняла, что пришла смерть. «Боже мой, Боже мой, — затосковала я, — что-то ведь надо делать перед смертью и что-то сказать». Но сделать перед смертью мне ничего не удалось, так как я опять потеряла сознание. На этот раз, как потом выяснилось, я удушилась крючком собственного пальто.

Сестра, которая была сильным пловцом, видя, что я не двигаюсь, стала плыть на спине. Работая одними ногами, она руками отталкивала валящиеся на нас льдины, а зубами держала меня за воротник, не давая мне захлебнуться. Этот самый воротник меня и задушил…

В результате Нина спасла меня и себя. Ей удалось схватиться за ветку ивы, низко склонившейся над водой…

Я очнулась у противоположного берега. Вода весело

клокотала и бурлила вокруг нас. Ледоход был за нашей спиной. С крутой горы из деревни Дедушкино уже бежали мужики с кольями, а с моста бежали рыбаки и все кричали: «Колонистки директоровы тонут, ребята, давай скорей». А наши девочки и мальчики были далеко, далеко от нас, на том берегу. А мы уже не тонули, мы уже стояли, увязнув в глинистом дне ногами, не в силах двинуться. Моя сестра все хохотала, как заведенная, и держалась одной рукой за иву, а другой обхватила меня. И мне было так хорошо стоять рядом с ней, хоть и по пояс в воде, но все-таки ногами на земле. И тут я заметила, что в правой руке у меня между большим и указательным пальцем зажата маленькая рыбка…

ЧИСТКА КАРТОШКИ

По дому бегает дежурная по кухне и звонит в маленький колокольчик.

— Картошку чистить, картошку чистить! — кричит она.

Дежурных по картошке бывает двое, трое, а иногда и четверо, в зависимости от того, сколько ведер картошки надо начистить.

Есть в колонии такие любительницы этой работы, что идут на нее добровольно. В кухне тепло, уютно, а главное, можно вволю поболтать. Надо иметь в руках хорошо наточенный ножик, удобно сесть, и пошла работа, а с ней и болтовня.

— Девочки, а я думаю, что Александр Федорович гипнотизер. А по-вашему?

— Не знаем. А почему?

— Да вот вчера никто не хотел ехать в лес и пилить деревья на дрова, а он во время обеда спросил: мальчики, кто хочет ехать завтра заготовлять дрова? И все подняли руки. Нет, он определенно гипнотизер! Я, например, терпеть не могу читать, а он неделю тому назад подходит ко мне и спрашивает: «Лиза, а что вы читаете сейчас? Тургенева?» И я тут же схватила «Рудина» и начала читать. И ты знаешь, ничего, интересно.

— Пожалуй, и я замечала это за ним, но ведь гипнотизер не может быть в пенсне?

— Ничего не известно, у такого, как он, все может быть. А потом, что мы знаем, ведь наука-то ушла вперед, может быть, уже и гипнотизировать в пенсне начали?..

— А тебе нравится Володя Князев?

— Ничего. А тебе?

— Мне тоже ничего.

— А кто тебе больше нравится Володя Иванов или Володя Князев?

— Ты дура!

— Я-то дура, а ты-то влюблена в своего Володю, и это все знают.

— Ты дура, и ты испорченная.

— А я тебе вот что скажу: если Александр Федорович гипнотизер, то он узнает, что ты влюблена.

— Туська скажет?

— Туська-то не скажет, а он сам узнает.

— Ничего он не узнает, потому что я гипнозу не поддаюсь. Это уж я точно знаю.

— Слушай, Лизка, а тебе понравилось, как Александр Федорович вчера на кружке читал «Египетские ночи»?

— Ничего, только очень тихо.

— Послушай, ты хотела бы быть Клеопатрой?

— А зачем мне это?

— Ну, как зачем? Имела бы успех у мужчин и мстила бы им.

— За что мстила бы?

— Ну, за их надругательство над собой.

— Да они и не надругивались над ней, над Клеопатрой. Она сама к ним лезла. И это вовсе не успех. Успех — это если за тобой ухаживают.

— Чепуху говоришь, Лизка! Ведь она была властительница! Понимаешь, над всем властвовала.

— Властвовала, властвовала, а потом змеей отравилась! Ничего себе власть! Все равно счастья у нее не было. Нет, не хочу быть Клеопатрой, по-моему, она дурой была.

— Ты сама дура!

— Ну и пусть, зато я счастливой буду!

— Все дуры счастливые! А вот меня определенно интересует Клеопатра. Слушай, а почему это Володя Луговской кинулся на Розановку ухаживать за Тамарой Груберт, ведь у нас своих девочек полно?

— Я тоже об этом думала. Если бы еще она была красивей, чем наши девочки, а то ведь она такая же?

— Наверное, у нее есть приворотное зелье, хорошо бы достать…

— Ты вот все дурака валяешь, а между прочим, про нашу Людмилу говорят, что она в колонии целовалась с мальчишками. Веришь этому?

— Конечно, верю, я и сама могла бы, да только боюсь, что Александр Федорович узнает и высмеет.

— Знаешь, Катя, как ты считаешь, можно прожить жизнь без зла? Ну, не замечать его, закрывать глаза?

— Ты с ума сошла! Как это можно не замечать зла? Зло

нужно искоренять!

— А знаешь, Катя, как же я могу его искоренять, когда у меня не хватает сил даже книжку с плохим концом дочитать? Загляну на последнюю страницу и если кто-нибудь умер или разлучился — вообще, если плохо, то я бросаю. Не дочитываю.

— Ты чистюха! Про страдание надо все знать. Нельзя сторониться от тяжелого. Я давно замечала, что ты не героиня. Ты, например, не могла бы, как Софья Перовская, пожертвовать собой для общего дела.

— Знаешь, Катя, вот как раз пожертвовать собой для общего дела я бы могла.

— А как Шарлотта Корде, ты могла бы всадить нож в Марата?

— Нет, не могла, да ведь он в ванне был… голый ведь — беззащитный.

— У тебя нет характера! Вообще ты какая-то дореволюционная и кисейная!

— Да нет, знаешь, Катя, я не кисейная — просто я не могу… у меня нервная система с детства повреждена. Знаешь, мне всех жалко: и Анну Павловну за то, что она старая, и Вовку за то, что он маленький. Я даже не могу видеть, как мальчики Буланчика стегают кнутом или как Ириша лягушек душит.

— Совершенно не представляю, как ты будешь жить дальше!

— Знаешь, Катя, и я не представляю…

— Вот заладила — ты знаешь, да знаешь. А вот знаешь, я думаю, что у тебя «не все дома».

— Знаешь, Катя, я тоже так думаю. Только ты никому не говори, что я неполноценная, а то мне стыдно.

«ТЕМНАЯ»

Наши мальчишки что-то нашкодили под Новый год. Кажется, подглядывали, когда девочки гадали, но точно не помню, в чем было дело: отрезало память. Безобразничали не все мальчики, а всего несколько человек, и им девочки — сплотив ряды — объявили бойкот. Было решено не замечать виновников, не разговаривать с ними и услугами их не пользоваться. Полный бойкот…

Все шло гладко, и вдруг во время дежурства по кухне моей сестры и Бубы Пудовкиной в нижнюю спальню влетела лиловая от злости Ириша и сообщила, что штрафные колонисты вынесли Нине и Бубе помойку. (Помойка была очень тяжелая — целая кадушка — и выносили ее чаще всего мальчики). Что тут поднялось — сказать не могу! Все кричали, негодовали и махали руками. Вся вина обрушилась на голову нашей Нины: Буба-то

была маленькая ростом, и ее простили, а Нина высокая и сильная — могла бы и сама вынести помойку — и ее решили наказать. Но как наказать эту невозмутимую, незлобную, большую и сильную Нину? Как ее унизить? И решили сделать ей «темную». Попросту говоря, накрыть одеялом и побить. А мне сказали: «Туська, если скажешь хоть слово Александру Федоровичу, ты не будешь членом коллектива, а будешь просто дрянью». Я не хотела быть «просто дрянью» и «не членом коллектива», но видеть, как целая куча девчонок будет бить мою, хоть и виноватую, сестру, мне тоже было тяжело. Ужасные муки, терзания и страдания терпела моя душа в промежутке между Нининым грехопадением и наказанием. Что делать, как спасти ее от унижения и в то же время остаться членом коллектива?

Тем временем в ожидании прихода Нины несколько наиболее кровожадных девочек встали по обе стороны двери с серыми казенными одеялами в руках. Часть девочек отговаривали их делать «темную», но злая сила уже разбушевалась в душах оскорбленных колонисток и остановить их было невозможно. «Она кокетничала с мальчишками, она им улыбалась, мы видели, — кричали они, — надо ее проучить раз и навсегда, надо ее унизить, она думает, если она красивая, ей все можно. Надо поставить ее на место!» Прижатая в угол, я не смела даже пикнуть в Нинину защиту. Да и что тут можно было сказать: вынос помойки был налицо.

А Нина все не шла из кухни и не шла, словно чувствовала, что ей здесь уготовано. «Неужели поднялась к себе в верхнюю спальню? (Нина жила в мезонине.) Господи, — думала я, — хоть бы она совсем не заходила сюда к нижним девочкам. Хоть бы миновала ее беда…»

Добрые дежурные по кухне всегда выскребали чугуны из-под каши и не ели сами эти остатки, а откладывали в две миски: одну миску несли верхним девочкам, а другую — нижним. Нина и Буба были добрые дежурные, и никогда не съедали остатки каши сами, вот их и поджидали у дверей разъяренные девочки.

А Нины все нет и нет. Было напряженно и тихо. Тикали часы-ходики. Из дальнего угла послышался голос: «Девочки, не затевайте бузу, надо ее простить». Кто-то прилег отдохнуть, кто-то зевнул, но сердитые с одеялами в руках были все еще полны злостью до краев. Стало слышно, как за стеной безмятежно запела мама. А Нины все нет и нет…

И вдруг, когда уже все устали ждать, широко распахнулась дверь, и в ее пролете возникла высокая фигура моей сестры. В руках она держала железную миску, верхом наполненную кашей, и улыбалась. В эту минуту Нина была похожа на огромную

пушистую кошку, а девочки, спрятавшиеся за дверью, на кошкодавов. Как мне хотелось крикнуть ей: «Нина, уходи скорей», но Нина перешагнула порог, отделявший ее безмятежную жизнь от унижения, дверь за ней захлопнулась, и тут же на нее кинулись кошкодавы с одеялами. Сестра плавно и легко, как в танце, взмахнула руками, и в ту же секунду девчонки с одеялами и миска с кашей полетели в разные стороны. Пшенная каша дождем посыпалась на пол, как вещественное доказательство Нининого великодушия. И опять серое одеяло покрыло Нину, и опять она, как бы играя и танцуя, разбросала всех в разные стороны. Много раз возникало из-под серого солдатского одеяла Нинино улыбающееся лицо в оперении светлых волос. Никто ничего не говорил. Все свершалось молча. Тишина нарушалась только прерывистым дыханием; наконец кому-то из нападающих удалось подножкой повалить сестру на постель и покрыть одеялом. Тут бы и надо было начинать лупить, но… никто не решился тронуть поверженную Нину. Все отступили от нее, так как сильная и верткая Нина неподвижно, как мертвая, лежала под одеялом. И вдруг все увидели, что ее плечи начали трястись: она беззвучно плакала.

И так всем стало стыдно — потому что Нина никогда не плакала: всегда улыбалась. А кошкодавы устыдились больше всех и начали ее утешать и сдирать с нее одеяло, но она крепко держала его за край и лица не открывала. Опять стало слышно, как тикают ходики. В полной тишине все начали расправлять себе постели и собирать рассыпанную кашу, а я решила тоже беззвучно заплакать — как и Нина.

Не знаю, сколько прошло времени, может быть, час, а может быть, меньше, но в комнате никто не спал и не промолвил ни слова. И вдруг Нина встала во весь свой рост, спокойно заколола растрепанные волосы шпилькой и, не говоря ни слова, пошла из комнаты нижних девочек к себе наверх.

После этого случая я объявила бойкот двум зачинщицам этого дела, но они, к сожалению, не обратили на мой бойкот никакого внимания. Просто не заметили его…

Самое интересное, что маме кто-то сказал про «темную»: разумеется, не Нина, из которой поленом нельзя было выбить сплетню: такая она была скрытная. Кто сказал, не знаю, но подозреваю: была одна подходящая девочка.

А мама отозвала меня на следующий день и допрашивала: скажи, дескать, Туся, что у нижних девочек вчера после ужина было в спальне и что ты делала в это время? Но я, будучи членом коллектива, своих, хоть и ненавистных, не выдала и уперлась.

— Не знаю, — говорю, — не ведаю, шуму не было, а кашу

рассыпали. Больше ничего не знаю и не спрашивай меня, потому что я член коллектива.

А мама мне:

— Ты не член коллектива, а баран. А если бы ты попала в шайку бандитов, ты тоже была бы с ними согласна и боялась бы пикнуть?

— Я член коллектива, — долбила я, — и не имею права с тобой разговаривать.

— Мне стыдно, что моя младшая дочь дура и трусиха, лишенная собственного мнения и чести. Надо всегда стоять за правду. Иди, я с тобой в ссоре, — сказала мне мама.

И я ушла.

Позднее я узнала, что мама вызывала и Нину, но та сказала, что девочки шутили и баловались и ничего особенного не было — просто кашу рассыпали.

Папа про «темную» ни с кем не говорил. У него ведь были свои приемы. Он соберет всех на литкружке, поговорит о Пушкине или Шекспире, и все уйдут пристыженные: потому что, оказывается, он говорил о «темной». Он умел как-то со стороны действовать, разобрать происшедшее с точки зрения искусства: никого не называя, но всех затрагивая и устыжая.

Наверное и правда уже все обозначено в искусстве — нужно только задуматься и обратить на это внимание. Он обращал внимание, а мы задумывались.

ЗАНАВЕСКА

Мама сидела за столом и нарезала из старой наволочки бинты для перевязок. Уж очень много у нас в колонии было мелких ранений: порежет кто-нибудь палец, поранит ногу, обожжется или комары искусают, а укусы расчешут, и они начинают гноиться и болеть, а бинтов не было. Вот мама и заготовляла для перевязок бинты и корпию.

Рвет она уже не первую наволочку, потому что вокруг нее было наложено много скрученных в трубочку, широких и узких бинтов. Когда она кончит рвать свои наволочки, то вызовет больных и начнет их перевязывать.

Я подкарауливала ее, потому что мне хотелось словчить и постараться, чтобы мама мне сделала перевязку первой, и я была свободна. Две недели тому назад я прыгнула с крыльца и пришлась пяткой на валявшиеся деревянные грабли. Рана была порядочная, но сейчас уже затягивалась, вот я и ждала перевязки. Но мама медлила и внимательно разглядывала на свет оставшуюся от наволочки квадратную тряпку.

— Из этого куска можно что-нибудь сделать, его можно преобразовать, он еще крепкий, — задумчиво сказала мама.

«Что можно сделать из старой наволочки, кроме пыльной тряпки?» — думала я, но молчала. А мама все разглядывала и выравнивала ножницами свою тряпочку. Потом встала, приложила ее к заслонке русской печки и сказала:

— Знаешь, Туся, я сделаю из нее занавеску на печку: ведь летом мы ее не топим. Жалко только, что она белая. Может быть, ты попробуешь что-нибудь нарисовать на этой тряпочке? Может, это будет красиво?

После перевязки я взяла акварельные краски и начала рисовать на тряпке букет. Краски совершенно не ложились на ткань, да и мало их было: уже все израсходовались и засохли. Мне очень хотелось угодить маме, но как? Как и чем можно разрисовать тряпку? И вдруг меня осенило! В одну минуту я схватила папину бутылку с чернилами, окунула в нее кисточку и начала рисовать букет из ромашек и васильков в маленькой вазе. Лиловые чернила плыли и растекались по материи с невероятной быстротой, в связи с этим я решила обойтись без вазы. «Пускай, — думала я, — будет просто букет, просто цветы. Цветы не портит, если у них расплывчатые края». Хотя некоторые ромашки стали похожи на еловые ветки и были не белые, а лиловые, но все-таки это были цветы, а не елки. И даже довольно красивенькие, как мне казалось. Да, мама права, что-то может получиться, но пустовато, пустовато по углам.

Пока я раздумывала над этим вопросом, в один из углов с моей кисточки капнула и быстро растеклась огромная клякса. Работа была загублена! Я сокрушалась, а клякса между тем все растекалась и растекалась и из круглой стала продолговатенькой. Потом немного еще распушилась по краям и остановилась. И тут я увидела совершенно ясно, что это была не клякса, а птичка. Самая настоящая птичка в натуральную величину. Оставалось только (хорошо вытерев кисть) пририсовать головку, хвост и крылышки. Эта неожиданная удача так меня вдохновила, что этим же «кляксовым способом» я нарисовала еще трех птичек (в каждом углу по штучке). И правда, пожалуй, получилось недурно… Мама была довольна, занавеска повешена, жерло русской печки закрыто и мои четыре птички, рожденные из клякс, оживленно летали вокруг букета из васильков и ромашек, приводя меня в некоторое недоумение. Как могла клякса определиться в птичку? Ведь птица эта возникла помимо моей воли, из ничего, из кляксы — я только пририсовала крылышки, головку и хвост. Нет ли тут какого-то обмана?

Вечером папа долго и молча стоял перед новой занавеской.

(Не рассердился ли он, что я без спроса взяла его чернила?) Но вместо замечания он спросил:

— Таня, почему ты сейчас совсем не рисуешь? Оттого, что у тебя нет хорошего альбома и красок, или тебе просто не хочется?

— Мне просто не хочется, папа.

— Ну что ж, придет время, и тебе, наверное, захочется, подождем, — сказал папа. И, подумав, добавил: — А птички у тебя получились очень красивые.

Чтобы проверить, действительно ли отцу понравилась моя занавеска, я пошла на хитрость. На следующий день, собрав в поле васильки и ромашки, я поставила их в банке на шесток печки и стала так же, как папа, молча и долго, и так же, как он, заложив руки за спину, разглядывать живые цветы и нарисованные. Но ничего не увидела, кроме того, что мои цветы совсем не были похожи на настоящие. Тогда я рискнула спросить сидевшего за столом отца:

— Папа, это плохо, что мои цветы и птицы совсем не похожи на настоящих и все лиловые, как чернила?

Папа встал, подошел к печке, опять долго молчал, а потом ответил:

— Это вещи не сравнимые, Таня. Живые цветы — это природа, а нарисованные — это искусство. Каждое хорошо по-своему, — и папа опять сел за письменный стол заниматься.

Вот так задал он мне задачу с этой природой и искусством! И опять я не знала, понравилась ему моя занавеска или нет. Все-таки, — думала я, — если он назвал занавеску не тряпкой, а искусством, то, наверное, понравилась.

ЛЕЖАЩАЯ ВОСЬМЕРКА

Не помню, кто (вернее всего брат Володя) рассказал мне, что положенная плашмя восьмерка служит обозначением бесконечности. Бесконечность… Это слово, как на вожжах, потянуло за собой понимание, а вслед за пониманием пополз ужас. Он был совсем другой, чем ужас смерти, посетивший меня в раннем далеком детстве. То был ужас конца — это был ужас перед отсутствием конца. Тогда можно было сказать: это обыкновенно, все умирают, мы это знаем, мы видели конец жизни. Но как можно было увидеть или узнать конец — предел — бесконечности, когда его нет совсем? Куда ведет эта бесконечность? Даже бесконечная жизнь и счастье пугали меня. Я цепенела, окружающие меня предметы теряли цвет, еда теряла вкус, из жизни уходила радость, а голова моя становилась апатичной и чужой, словно случайно приставленной к моему

телу.

Поверженная, сшибленная, лежащая плашмя восьмерка отравила кусок моего отрочества.

Я рисовала эту проклятую восьмерку где попало (на бумаге и на земле), долго обводила ее края, кружилась в ней, как белка в колесе, и, холодея, понимала, что она не имеет ни начала, ни конца, что она замкнута, что она бесконечна. Тот, кто рассказал мне про значение лежащей восьмерки, вероятно, недообъяснил многое и бросил меня на произвол судьбы в эту бесконечную замкнутость, не подозревая, какие муки мне уготовил.

Особенно страшил меня огромный простор ночного неба. Звезды на нем прикидывались восьмерками. От этого зрелища у меня начиналось кружение головы и души. Безвыходное одиночество сковывало меня… И опять я ни с кем не могла поделиться, опять замуровывался в душе и казался срамным ужас, охвативший меня. Опять я мучилась в одиночку.

Мне не удалось окончательно избавиться от этого страха, но не допускать свое сознание вплотную приближаться к слову «бесконечность» я научилась. Спасибо и на этом.

Потом, со временем, чувство ужаса перед вечностью заслонилось страхами повседневности, и вечное растворилось во временном.

КАЧЕЛИ

Качели находились на самом краю оврага. На концы длинной широкой доски вставали два мальчика и раскачивали качели, между ними посередине доски сидела, держась руками за веревки, девочка (и часто визжала: так страшно было качаться над оврагом).

В свои десять лет я была довольно смелая девчонка (не понимала опасности) и любила качаться на краю доски на месте мальчиков. Залезть туда сама я не могла и приходилось просить кого-нибудь из старших подсаживать меня. Особенно хорошо было качаться спиной к оврагу: наподдашь, раскачаешь и доска взлетает до уровня перекладины. И ты летишь плашмя над оврагом, над кронами деревьев и где-то в глубине под тобой шарахается испуганная птица. Дух захватывает! Секунда… и ты уже стремительно возвращаешься к земле.

Это удовольствие было редкое, так как качели были всегда заняты, да и не очень-то мне удавалось занять место на их краю. Опять градом сыпались на меня слова: ты маленькая, упадешь, опасно, Ольга Михайловна (мама) будет сердиться, и так далее. Словом, старая история, вечное мое несчастье: ты маленькая. Я

спешила быть старше и полноправнее, и все уладилось бы, как вдруг совершенно неожиданно это редкое и опасное качельное наслаждение ушло от меня. Я сама отказалась залезать на край доски и выступать в роли раскачивающих качели мальчиков. Теперь, оглядываясь назад, я поняла причину своего отказа…

В один темный, предвечерний день той осени все время хлопала входная дверь, и вместе с потоком сырого, промозглого воздуха входили в дом мальчики, неся на спине огромные мешки с выкопанной картошкой.

В кухне были открыты обе створки подпола. Бездонная, черная пасть его моментально поглощала высыпаемую из мешков гремящую, как камни, картошку. Только по этому звуку и можно было определить глубину подвала. Иногда под нашими ногами, где-то сбоку, совсем в стороне, раздавались глухие голоса колонистов, ровнявших картошку в подвале. Что-то угрожающее и таинственное было в этих подземных голосах и в этой черной яме, молниеносно пожиравшей такое огромное количество картошки…

Дежурные девочки готовили в русской печке ужин, в кухне было тесно, и они сердились, что целая орава наблюдающих и любопытных сгрудилась вокруг подпола и мешала им хозяйничать. (А мы все толкались, заглядывали вниз и не уходили.) Жарко топилась русская печка налево от нас, и из нее начинало уже уютно попахивать закипевшим пшенным кулешом, а из подпола тянуло холодом, сыростью и землей.

Я тоже стояла над ямой вместе с другими девочками. Я стояла на самом краю, пальцы моих ног уже были на весу. Вдруг кто-то неожиданно и крепко сжал мои плечи с двух сторон и качнул вперед, как бы желая столкнуть в картофельную пропасть. Толкнул и тут же поставил на место. Удержал так сильно и крепко, что даже если бы мои ноги соскользнули в яму, то все равно — даже на весу — он удержал бы меня.

Я взвизгнула для приличия и, обернувшись, увидела два ряда крепких, как репа, зубов и похожие на желуди глаза Толи Полубинского.

— Не стой так близко к яме, — сказал он насмешливо, освободил от тисков мои плечи и пошел из кухни на улицу, размахивая пустым мешком. Я оторопело смотрела на его короткие, кривоватые, устойчивые ноги и длинную, с низкой талией, раскачивающуюся спину. И вдруг что-то дрогнуло в этой спине, что-то сместилось, и старая гимназическая холщевая рубаха Толи неожиданно залилась алым румянцем, а грязные следы от мешка с картошкой зашевелились, сплелись в узор и

засверкали, как кольчуга. Господи, да ведь это же не Толя, это же Добрыня Никитич из старой Володиной былины! Именно таким я его и представляла себе!

Тут мое сердце упало в пятки, меня обдало жаром и я испеклась, как булка. Страшная тревога охватила меня, что-то случилось со мной, а что — я не могла понять. Мне вдруг стало неинтересно смотреть дальше, как каменной лавиной сыпется картошка в подполье, и я ушла из кухни…

А потом, когда встречались где-нибудь во дворе или в коридоре с Толей, почему-то начинала скакать на одной ноге или делать вид, что обронила что-то и ищу потерянное на земле. Зачем? Глупо ужасно!

Именно с этого дня я стала избегать просить мальчиков поднять меня на качели, и «полетное наслаждение» ушло от меня.

МАМА ПОЕТ В КОЛОНИИ

Мама поет в колонии на нашем школьном концерте. Из спальни девочек вынесены кровати, и вместо них поставлены лавки, а кому не хватило места — сидят прямо на полу. Разные люди сидят на этом концерте. Кроме колонистов и санаторских врачей и сестер, сидят деревенские и рабочие из санатория, и наш единственный рабочий Юзеф примостился у двери — тоже слушает.

В первом ряду сидит тетя Груша, крышей надвинут платок на ее лицо, чтобы глаз не было видно, потому что пение вызывает у нее слезы, и она стыдится их.

— Жалкую я всех людей, когда песни играют, — говорит тетя Груша со вздохом. Рядом с тетей Грушей, нога на ногу, завсельхоз Николай Егорович (он появился вместо Турнепса). Полусветлые, полуседые его волосы одинокими перьями торчат на загорелой кирпично-красной голове. Он и сам иногда поет дребезжащим тенорком чувствительные романсы и считает себя тонким знатоком вокального искусства.

А под окнами, на длинной лавке рядком сидят разодетые в пух и прах нижние девочки. Все они одинаково сложили руки на коленях и одинаково поджали свежевымытые, праздничные босые ноги.

Вечно сердитая Оля Ганибобель примостилась около Анны Павловны и уже зацепила своими музыкальными пальцами страницу нот: будет листать, чтобы старухе было легче аккомпанировать.

Все четыре окна в комнате открыты настежь: из них тянет скошенным сеном и еще чем-то неповторимым и летним,

наверное, полем и лесом. Луна уже выкатилась на небо и торчит в окне, а в комнате горит лампа-молния. И летят, летят на огонь бабочки-однодневки. Они ударяются о горячее стекло и обожженные кружатся по комнате. Они погибнут все раньше времени, но все равно летят и летят…

Мама поет «Ночь» Чайковского. Стоит она у рояля на фоне бревенчатой стены. Как она подурнела! Уже нет в ней прежней статности, совсем раскосились глаза и на лице от загара заметнее стали морщины и морщинки. Руки огрубели, одежда плохая, а прямые волосы так некрасиво, самодельно подстрижены, как обрублены!

«Но, Боже мой, — говорю я себе, — ведь неважно все это. Все равно ведь красива она от своего голоса и от музыки. И сидящая за роялем старуха Орнатская, оседлавшая свой лиловый нос треснутым пенсне и намертво зажавшая щель рта, тоже красива.

Хороши и ее подагрические руки, твердо наступающие на клавиши, рождая аккомпанемент к маминому пению. Хорош и мир, наполненный этим пением и этой музыкой, и ночь, которая дышит в окно, сталкивается с маминым голосом и соединяется с ним». Мама поет:

Ночь, за что я люблю твой серебряный свет?
Ты не мне, ты другим посылаешь покой…

«Да, она никогда не успокоится», — думаю я. — И вообще успокаиваться нельзя, ведь покой — это гибель. И хотя все сидят спокойно (даже окаменело), но я чувствую и знаю, как в каждом за этой неподвижностью бушует беспокойство, вызванное ее пением. Беспокойство за следующий звук, который должен быть еще лучше предыдущего, беспокойство, что вдруг прервется этот полет музыки.

«Мама лучше стала петь, — думаю я. — Определенно, она лучше поет. Она теперь поет только музыку, выражает только музыку и совсем не хочет никого удивить и чаровать своим голосом и умением…»

Мамин голос поет уже за окном, в саду, в поле, в лесу: он ушел за пределы комнаты. Уже поет все вокруг. Не слышно слов — звучит только музыка. Музыка, которая лилась непрерывно, обволакивала нас, текла за окно и соединялась с природой.

Раньше я восхищалась маминым пением и шла за ее голосом, а сейчас я уже вне его. Просто она окунула меня во что-то прекрасное и возвышенное, и душа моя вымылась.

Это было летом 1920 года.

НАШИ «МАСШТАБЫ»

Все мы в колонии делали лихо и до отказа.

Купались — до посинения, до лязга зубов.

На качелях качались над обрывом: с риском для жизни.

Если прыгали в воду с высокого берега, обязательно надо было попасть головой в омут, а не просто в воду.

Коровник чистить — по уши в навозе.

Если верхом, то без седла, а часто и без уздечки, так за гриву зацепишься и скачешь.

Насмешничали зло и любили припечатывать прозвища друг другу.

Каток делали на реке Торгоше: того гляди провалишься.

С горы катались не на санках, а на розвальнях, на ходу поднимая оглобли, и на ходу же, навалом, кучей, валились в них (да еще надо было суметь попасть на стоящий под горой дырявый мост, а не на лед в реку).

Пели — хором.

Работали — до упаду.

Танцевали — тоже до упаду.

Если спектакль затевали, то не какой-нибудь водевильчик, а «Женитьбу» Гоголя — не меньше.

Концерт — все жанры налицо.

Зубы лечить — отшагивали в Сергиев Посад 14 верст туда и 14 верст обратно.

За провинность — бойкот, а то и «темная».

Хохотали — до одурения.

Если в бане мылись — то париться надо было до бурачного цвета, а то и в снег скакать из бани.

Бегать, если зимой — то по насту, летом — под ливнем, громом и молнией в грозу в поле.

Если у кого чего не было — отдавали свое. (Вообще вещи были общие.)

Кашу есть — до отвала.

Ягоды собирать — бидонами.

Грибы — ведрами.

Цветы рвать — снопами.

Музыку слушать — до самозабвения.

Жалеть — до слез.

Все бушевало в нас. Ни в чем не знали мы меры и заражались друг от друга лихостью и молодечеством.

ВОСПИТАНИЕ

В раннем детстве меня всегда удивляло, что отец ходил на занятия в Первую гимназию с большим грузом книг, гравюр, картин и даже фарфора. Все эти вещи несли за ним гимназический швейцар Солнцев и наша горничная Маня. Другие преподаватели, напротив, ходили в класс налегке — самое большое с портфелем или папкой в руках.

Мне очень не нравилось переселение наших вещей в гимназию. Зачем таскать картину со стены в класс? Спросить об этом у отца я не смела. А мама говорила: «Папа делает, значит, так надо…»

В колонии я сама стала таскать за ним пуды книг, гарднеровскую чашку, саксонскую тарелку и еще разные вещи. С разрешения отца я иногда присутствовала на его уроках со старшей группой, тут мне и раскрылся секрет его занятий.

Проходя Державина, Пушкина или Грибоедова, он показывал ученикам всю картину искусства того времени.

Незаметно для себя вы узнавали, когда и кто строил Адмиралтейство, горный институт или Казанский собор. Каким был русский фарфор в то время. Из какого стакана мог пить Пушкин, в какую чернильницу макал гусиное перо Державин. Смотря на портрет Пушкина, вы узнавали про художника Кипренского, читая Карамзина — любовались Венециановым.

Отец никогда не учил: он раскрывал и показывал, но главное, он сам любовался — стихом, прозой, живописью, архитектурой и заражал своей увлеченностью других.

Если кто-нибудь оставался равнодушным, он огорчался и потом называл его «дундой». Любил озорников, насмешку и юмор, собирал карикатуры, которые делали на него ученики. За остроумное увиливание от ответа прощал незнание, не выносил тупости и зубрежки.

Считалось у нас, что старших детей воспитывала мама, а я досталась отцу. Может, он и воспитывал меня, но воспитание это было незаметным.

Вспоминаю, как в последние годы его жизни, когда я самозабвенно играла в лапту с мальчишками, упиваясь бегом и увертливостью, когда казалось, что не было выше счастья, чем выручить свою команду удачным броском мяча или услышать свист этого же литого резинового мяча, снарядом пролетающего мимо твоего уха. Счастья от своей быстроты, ловкости и меткости. Счастья от полного признания тебя мальчишками и безусловного восхищения тобой. Счастья от сознания, что ты преодолела свою некрасивость бесстрашием и быстротой.

В самый наивысший триумф свой вдруг слышу негромкий голос из окна:

— Таня!

Бросаю все — и лапту, и игру, и счастье, и триумф. Бегу к нему, красная и растрепанная, в грязном казенном платье, задыхающаяся и счастливая. В тесной комнате деревянный конторский стол, на полках книги. Он сидит сбоку, лицо его в тени, рукой указывает мне место против себя. Хоть и в тени его лицо, но видно, что глаза за пенсне улыбаются. Сажусь, еле переводя дыхание:

— Что?

И мягко, с легким северным олонецким оканьем:

— Ну, поканючь, пожалуйста.

Или (если уж очень расположен):

— Ну, «поурындай» немножко (это уж совсем по-олонецки).

Так трудно отдышаться, так трудно выпустить из сжатого еще кулака ощущение тяжести лапты, из глаз летящий мяч, из горла порывистое дыхание, из головы игру…

«Поурындай» — значило рассказывай про себя, жалуйся (я любила поныть) — на непонимание чего-нибудь, на обиды, сомнения. Приоткрывай себя, рассказывай, что увидела, что заметила, какие мысли пришли за эти дни в голову, что рисовала и как увидела кусок сада и как играла в лапту и чем эта игра хороша.

И мало-помалу дыхание мое выравнивается, мышцы расслабляются, и я вываливаю перед ним ворох пережитого. А он, хоть и молчит, не говорит, но направляет меня, а главное, тянет, тянет куда-то вверх. Выше этой комнаты, выше игры в лапту, выше прожитого дня, выше, чем ты была до этого. И назавтра ты будешь уже чуть-чуть другая. Может быть, даже чуть-чуть лучше, чем была вчера…

ТРЕТЬЕГО МАЯ 1925 года

Я разглядываю сохраненное воспоминание, но оно не цельное, рваное. Какие-то куски чувств и картин остались в памяти. Забыть их невозможно, но и вспоминать очень тяжело.

Третьего мая 1925 года, Сокольники. 23-я лесная школа, которой отец тогда заведовал.

Безмятежное, весеннее, теплое утро, мы с приехавшей из Москвы сестрой еще лежим в постелях. За окном солнце и темные, корявые сучья яблонь на фоне прозрачной синевы. Мир прекрасен и ничем не омрачен.

Сонная мама встала, беспокоясь, почему не слышно шагов отца в смежной комнате, служившей ему кабинетом и спальней.

Он вставал всегда в 6 часов утра, раньше всех. Что-то слишком тихо… Неужели ушел гулять? Мама пошла в кабинет, дверь оставалась открытой. Отчетливо помню ее тихий, отчаянный крик: — Дети!..

Отец умер во сне от паралича сердца.

Мы с ужасом ждали этого часа 10 лет. Отец жил, споря с медициной, жил незаметно, вопреки предсказаниям врачей, жил, опираясь только на собственную волю. Мы всегда были настороже и вздрагивали, как только он лез в карман за нитроглицерином.

И, как это всегда бывает, беда пришла тогда, когда ее никто не ждал. Пришла тихо, на цыпочках, в безмятежное и ясное утро…

Забегали, засуетились люди, послали за братом, который уехал с женой в Загорск.

…Второй отрывок памяти. Вечер, темнело. Приехал брат с женой Тамарой. Его нетихие шаги по коридору. Входит, судорожно что-то ищет на книжных полках. Находит нужную книгу, идет в комнату, где стоит гроб с телом отца. Я со свечой за ним…

Никого, кроме нас двоих, не было. Была еще темнеющая пустая комната, казавшаяся очень большой оттого, что все вещи вынесены. Незрячие мертвые окна. Горящая свеча. Высокая, прямая фигура брата, и у печки, за его спиной — я. Брат читал «Последнее напутствие» Блока (это были любимые стихи отца), — читал на память, с паузами, с раздумьями:

Боль проходит понемногу,
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам,
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина…

и т. д.

Я знала эти стихи наизусть и тоже читала (про себя) вместе с братом.

Некрасова он читал по книжке, освещая страницы свечой:

Уснул потрудившийся в поте!
Уснул, поработав в земле!
Лежит, непричастный заботе
На белом сосновом столе..

и т. д. (тоже любимые стихи отца).

Электричество не зажигали. Гроб призрачно расплывался в полумраке. После чтения стихов постояли еще довольно долго. Ушли тихо, вместе.

И опять провал памяти…

…Гражданская панихида в школе. Народу набилось тьма-тьмущая: и в комнатах небольшого дома, и в коридоре, и на улице. Сад и двор — все забито приехавшими учениками.

На панихиде не помню никого, кроме мамы, мельком, правда, помню Володю: очень большой, что-то говорил, начал словами: «Дорогой отец…» Рукава пиджака были коротки, кисти рук непомерно большие, голова опущена низко, на виске билась жилка. Что говорил — не помню. Плакала.

Маму помню ясно.

Я стояла за дверью. Дверь открывалась в мою сторону, и я получилась в своем углу совсем одна, от всех отгороженная, в угол спрятавшаяся, но все видевшая в дверную щель.

Пианино стояло прямо против меня. За него села Лидия Семеновна Дружинина (замечательная учительница музыки 23-ей лесной школы), а мама встала рядом. Решимость написана была на ее лице. Мне хотелось отдать ей все свои силы: я поняла, что исполняя волю отца, мама будет петь две его любимые вещи.

Прозвучала первая фраза музыки Бородина, и мама запела:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край родной.
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.

Голос ее был неровен, спотыкался, но не дрожал. Еще немного, и она уже овладела и подчинила его себе. И произошло чудо. Вдруг стерлись для меня все пушкинские слова этого романса и зазвучали другие: слез не лить — командовало ее пение — быть сильным, мужественным, помнить об отце всю жизнь, жить так же, как он: честно, смело, не кривя душой, отдавая все силы людям.

Мама смотрела куда-то поверх голов. Ее сухое лицо было красиво в своей окаменелости. Голос звучал широко.

После Бородина была долгая, очень долгая пауза. В наступившей тишине ясно были слышны чьи-то всхлипывания. Закрыв лицо платком, плакала и Лидия Семеновна Дружинина.

Я в своей щели так боялась, что мама не выдержит испытания, назначенного ей отцом, но она выдержала (сильная

была) и запела снова из «Града Китежа»:

> С полуночи поднялася родная весь.
> Молилися, крестилися, на смертный бой готовились…

И опять переместились слова и зазвучали иначе: раздавайте себя, расточайте себя, изживайте себя, не жалейте себя и умирайте достойно — пела наша 48-летняя овдовевшая мама, обязывая всех нас вести себя так, как она находила нужным. Брать этот барьер горя так, как брала его она.

«Вот какая она!» — думала я, нет, не думала, а чувствовала, и вышла из своего угла, не проронив ни слезинки.

Кто-то плакал, только не мы.

Еще помню длинную дорогу на Алексеевское сельское кладбище, где отец просил похоронить себя (нравилась ему там церковь XVII века).

Дорога шла через луг, катафалк ехал пустой. Весь длинный путь гроб несли на руках ученики отца. Помню, как бесконечной змеей вилась процессия среди светлой, зеленой травы. Светило солнце. По бокам дороги робко зацветали первые весенние цветы. Пели жаворонки…

Я часто ходила с отцом гулять по этой дороге, но до села Алексеевского мы не доходили: он уставал. Любовались старой церковью издали…

Дополнение

МОЙ ДЕД

Я помню деда, отца моей матери[2]. Мне было около пяти лет, когда он умер. Деда этого мы любили и боялись. Помню его бороду и усы, его руку, крупную и сухую. Мы, дети, целовали ему руку.

Он был большой, даже огромный, с мохнатыми бровями, большими строгими глазами и никогда не было видно его улыбки за усами и бородой.

Моя мать и мой брат были похожи на деда. Мы с сестрой тоже утащили что-то из дедовской внешности, но немного.

Он был вдов. Жил в доме, где было много пустых комнат, обставленных старинной мебелью.

Были «маленькая» и «большая» столовые. Маленькая была совсем маленькая с окнами в сад. Когда мы с мамой навещали его

днем, он открывал маленький буфет красного дерева, стоявший в маленькой столовой и доставал из него всегда одни и те же ромовые конфетки (с бочкой на бумажке) и давал мне всегда одну конфетку. Конфета эта казалась самой главной конфетой в мире.

Помню, как ездили к нему на именины: на двух извозчиках (на одном мама и мы, девочки, меня держали на руках, на другом папа и Володя). И хотя путь с Волхонки на Поварскую был недолог, он казался мне бесконечным.

Открывалась заснеженная Москва, которую я не знала, дома и площади, переулки и много, много людей…

Приезжали, когда было темно…

В передней стояли деревянные лари, висели шубы. Меня, как цветок, боялись раздевать сразу, а сажали к деду в кабинет обогреться. Этот полутемный кабинет я помню только в эти минуты «обогревания». Сидя около жаркой печки в шубе и гетрах, я разглядывала письменный стол, кресла, ковер и настольную лампу под зеленым козырьком.

Помню еще залу, в которой накрывались столы для больших гостей. Много окон по стене выходили в сад. Было много света, много гостей, а из детей только мы, поэтому все нас любили и баловали.

Помню еще небольшую комнату, буфетную (хотя буфетов в ней не помню), в которой лежали горы коробок с тортами (все подношения). В жизни не видела столько тортов, даже в магазине.

Мама в этой комнате отбирала торты, которые мы возьмем с собой домой.

В эти минуты дед казался сказочным богачом.

Были еще и другие комнаты в доме: гостиная, очень уютная, мрачная полутемная спальня, в которую я боялась заходить, так как в ней умерла моя бабушка, и мне казалось, что за ширмой на кровати она обязательно лежит. Я боялась и ее, и спальни.

Бабушка, говорят, была добрая, кроткая, маленькая и толстая. Но я ее боялась, потому что она умерла.

В мезонине дедовского дома жили две мои незамужние тетки, совсем, как мне тогда казалось, немолодые дамы, которых наша горничная называла барышнями. Нам с сестрой казалось это смешным.

В мезонине было светло, уютно, но скучно.

Играть у деда в доме было нельзя, визжать нельзя, бегать нельзя. Но все равно приходить в него было очень интересно и всегда счастье.

Дед умер, когда мы все трое болели скарлатиной. Так как мы жили в казенной квартире, оставлять нас дома было нельзя, и нас поместили в клинику, где мы и лежали все трое в одной палате.

Володя оказался так велик ростом, что в детской клинике не нашлось по его росту кровати, и пришлось моим родителям купить и привезти в больницу большую кровать.

У меня была легкая форма, а у брата и сестры тяжелая. Особенно тяжело болел Володя, он бредил, кричал, что он лесной царь, вскакивал с кровати и рвался уйти из палаты. Я его не боялась, мне казалось, что он шутит.

Родителей к нам не пускали. Они приходили под окно и стояли в большом, светлом, зимнем саду, одинокие и милые.

Однажды пришла мама, и в руках у нее была зеленая веточка. Позднее она сказала, что пришла с похорон дедушки, и веточка была с венка на его могиле.

Так и не стало деда. Не стало его дома, полного тайны, уюта и чинности. Тетки мои уехали из этого дома, дядя тоже, мебель продали.

Какие-то вещи попали к нам. Это были красивые старинные вещи, и мой отец их очень любил.

КАК ДЕД ВЫБИРАЛ ПОСУДУ

Деда звали Михаил и раз в год на Михайлов день (18 ноября) у него собирались большие гости. Подавали ужин всегда на новом сервизе, а для старых сервизов была в доме у деда специальная комната-кладовая. Мама рассказывала, что когда она была еще не замужем или, как тогда говорили, была барышней, дедушка любил ездить с ней выбирать сервиз. Приехали однажды в английский магазин. Приказчик показывает деду сервиз не очень красивый, но очень дорогой. Тот удивляется, почему так дорого? Тогда приказчик бросает тарелку, а она не бьется! Сервиз купили, и он потом довольно удачно постепенно разбивался. А приказчик, оказывается, как циркач, умел бросать тарелки об пол, и они оставались целыми. За это он и получал большие деньги от хозяина.

СЕМЬЯ МАТЕРИ

Когда соберешься вспоминать жизнь, кажется, что ее так много, как неба над головой, а как только начнешь записывать — ничего и нет. Так держишь в горсточке маленький комочек никому ненужных чувств и воспоминаний.

Маму воспитывали строго[3]. Их было четыре дочери — Мария, Лидия, Ольга, Наталья — и один сын Сергей[4].

Семья матери моей была талантливая, нервная, добрая,

красивая, рослая, безалаберная, с сильными и неуживчивыми характерами. Тихая, маленькая бабушка коснулась детей своей добротой и тем, что сгладила в некоторых дочерях вырубленные из камня черты деда, сделав их изящнее. Все были музыкальны, у всех были красивые голоса. У мамы нашей просто было божественное контральто. Но дед не разрешил ей идти в консерваторию, так как считал, что быть артисткой неприлично. Так и жили они, эти четыре барышни на верхнем этаже дома и скучали страшно. А внизу жил сын.

ДЯДЯ СЕРЕЖА

Когда родился мой брат Володя, мама, придя в себя от тяжелых родовых мук и узнав, что у нее родился сын, воскликнула: только бы он не был похож на своего дядюшку Сергея. Дядя Сережа — всегда праздник. Высокий, стройный, элегантный франт. Волосы бобриком, короткие усы. Лицо молодого Вл. Луговского. Пофыркивал и нюхал какую-то соль, вынимая маленький хрустальный флакончик из бокового кармана. Очень хотелось иметь этот флакончик. Говорил, что женатый человек всю жизнь живет собакой, а умирает барином. А холостой всю жизнь живет барином, а умирает собакой. Был холостой. Умер собакой, уехав в город Моршанск от голода из Москвы 19 года. Умер от голода на чужих руках. Любитель и любимец женщин и страстный коллекционер живописи. Игрушек нам с сестрой не дарил (не умел), а приносил в подарок флакон французских духов, к которым была привязана ленточкой сторублевка. Деньги отбирала мама, духи старшая сестра ставила в свой шкафчик, я оставалась ни с чем. Но все равно он был праздником. Отца называл «Федырыч». Всегда говорил с ним о картинах. В доме деда у него была «своя половина». Помню только, что там были диваны и много ковров. Зато очень хорошо помню его вторую квартиру — «гарсоньерку», куда после смерти своего отца он перебрался совсем. В новом элегантном доме в Староконюшенном переулке (около Арбата). Стены кабинета сплошь завешаны картинами.

Помню еще две большие тумбы для цветов с тайными дверцами. Одна с духами, другая с коробками конфет. Все это перепадало нам с сестрой, хотя и было предназначено совсем для других «дам».

Помню его в имении Оболенское, где мы жили летом. И тут он умудрялся франтить. Носил какие-то невиданные жилеты и короткие галстуки. Ездил на велосипеде. Был, говорят, очень добр, остроумен и умен. Женщины обожали его. Больше всех в

семье любил мою мать и ее семью. Любил сорить деньгами, рассказами, остротами, подарками. Мы, дети, любили его страстно. Там, где был он, всегда смеялись, там, где был он, женщины хотели быть милыми, дети добрыми, прислуга услужливой, мужчины мужественными. Там, где был он, всегда был праздник. Иногда он хандрил, желтел, становился раздраженным, но все равно он был праздником в нашей детской жизни.

ТЕТЯ ТАЛЯ [5]

Избалованная младшая дочь…

Овдовевший дед обожал ее. Высокая, тонкая, с большими, темными, какими-то лошадиными глазами. С большим, красивым, редко улыбающимся ртом. Огромная черная коса. Складка между косых черных бровей. Что-то диковатое было в ее красивой внешности…

Очень красивые руки и странные кольца на них. Я помню хорошо: золотое с лунным камнем, большое, серебряное, распадающееся на несколько колечек, которые скреплялись лягушкой (старинная китайская работа); но загадочнее всего было кольцо с крупным простым голышом, обкатанным морем и оправленным в золото. Это кольцо определило всю ее жизнь, и с ним она не расставалась.

В доме звали ее Талей.

Таля пела, Таля играла, Таля была умна, начитанна. И вдруг Таля заболела. У Тали сделалась чахотка. Талю отправляли на полгода в Крым. Одной барышне ехать было нельзя, ей наняли компаньонку. Ей шили туалеты, мама говорила, что одних зонтиков с ней отправили целый кофр.

Таля уехала и поселилась где-то между Гаспрой и Кореизом. От нее приходили письма и фотографии: то в капоте на лавочке в парке, то в амазонке и цилиндре на высокой, как и она сама, лошади, а рядом на маленькой лошадке проводник-татарин. Здоровье поправлялось. Она выздоровела, но почему-то задерживалась с отъездом в Москву.

В Крым летели деньги, письма, вопросы… Ответы были уклончивы. И вдруг возвратившиеся из Крыма знакомые рассказали, что видели Талю в горах на глухой тропинке верхом в сопровождении незнакомого красивого мужчины в штатском, но с военной выправкой.

Волнение охватило деда. Стали наводить справки, послали в Крым верного человека шпионить за Талей, открылась ужасная картина. Роман. Герой — выгнанный из полка за дуэль офицер.

Вдовец — уже уморил одну жену. Красавец, но не так уж молод. Был богат, но все прожил и прокутил. Словом, ужас! Снарядили экспедицию за Талей, предупредив ее депешей, чтобы немедленно приступала к сборам. Неверную компаньонку рассчитали, заменив новой, которая вошла в состав посланной за Талей экспедиции.

В один трудный прощальный вечер тетка моя сидела на берегу моря со своим кавалером. Он поднял камушек и играл, подкидывая его… Что они говорили, в чем клялись, никто никогда не узнал, только тетка моя взяла этот камушек, взамен дав обещание ни за кого, кроме него, никогда замуж не выходить.

Утром ее увезли из Крыма. На большом расстоянии до самого Севастополя за коляской скакал какой-то всадник Около города он подлетел к коляске, в которой сидела Таля, на глазах у всей почтеннейшей публики поцеловал ее протянутую руку и сказал: «Прощай»… Потом круто повернул лошадь и ускакал обратно. Переполох, срам, стыд и позор!..

Талю привезли в Москву под конвоем. Она объявила деду, что полюбила и хочет пойти замуж. Дед ответил категорическим отказом. Разжалованный офицер был женат, развязен, беден, наконец, просто нагл… Никогда не будет согласия на этот брак. Таля ответила, что если не за этого, то вообще никогда ни за кого замуж не выйдет и останется в старых девах. Дед взял крутые меры и запер Талю в мезонине.

Шло время, прошло и время наказания, но Таля из мезонина не выходила. Тогда на примирение пошел дед. И вот он, старый, грозный, суровый, гордый и огромный, лез по узкой лестнице с блюдечком любимых Талей сладостей в руках. Он просил прощения, он готов был уступить. Но время было потеряно, ритм, в котором развивалась любовь, сбит, сердце озлоблено и переключено с любви на месть. Пылкий любовник не смел появиться. Вестей ни ему, ни от него не было. Таля с мезонина сошла, но отцу своего разрушения, которое устроил он в ее сердце, не простила.

Появлялись женихи: один, другой, третий — всем отказ.

Красота, и без того суровая, — обуглилась, характер, и без того неважный, — споткнулся об эту обиду и стал развиваться уродливо.

Она никого не любила. Уже после революции, когда была немолодой женщиной, к ней пришла страстная и великая любовь. Полюбила она собаку, которую нашла в подворотне. По происхождению — крысолов, по имени — Мурзик.

Ту Талю я не знала, та Таля составилась из чужих рассказов и воспоминаний. Я помню уже тетю Талю, которая стригла мясо

ножницами (готовя в коммунальной кухне на керосинке), а сама в это время читала прислоненную у кастрюле книгу или пела приятным тихим голосом французские бережеретки. В комнате ее стояли обломки дедовской мебели, которые не разваливались только благодаря грязи, наслоившейся на них. На грязном ковровом диване храпел Мурзик В войну она не уехала из Москвы, да и некуда было. Она умерла в Москве. Соседи потом рассказывали, что когда она почувствовала, то заперлась в комнате, никого не допуская за собой ухаживать, себя кормить. Умерла так же гордо и одиноко, как прожила жизнь. Никого около нее не было. Крысолов Мурзик прибрался раньше нее… Ее нашли в кресле.

ГРЕХ И МОЛИТВА

Моим религиозным воспитанием занималась няня Подшебякина Е. К.

Именно она научила меня двум молитвам: «Богородице» и «Ангели Боже, хранителю мой святих».

Она рассказывала мне разные интересные случаи из священной истории: про потоп и Ноев ковчег, про Каина и Авеля, про волхвов и Вифлеемскую звезду и рождение Христа.

Я долго помнила все эти ее рассказы и горько жалею теперь, что не поспешила записать их, пока еще память держала в голове ее словечки, выводы и морали.

Няня же объяснила мне, что все грешники будут долго гореть в «Гиене огненной» (что это значит «гиена» я понять не могла), а праведники прямым ходом, (только мимолетно задержавшись для святой бани в Чистилище), отправляются в Рай. В Раю — ангелы, в Аду — черти. Все это я воспринимала как очередную сказку.

Родители мои на эту тему со мной не разговаривали.

Вообще в нашем доме, хоть и висели иконы в детской и в маминой комнате и перед ними зажигали лампадки, культа набожного не было.

Отец — по должности обязан был ходить в гимназическую церковь, но никогда этого не делал (во всяком случае я ни разу не помню его стоящего в церкви) по состоянию здоровья, мама в церковь ходить не любила и ходила туда только тогда, когда там пели красивые молитвы (вроде Разбойника в Великий Четверг).

Словом, самая набожная в доме (и может быть, единственная) была няня. Я исповедовалась один раз в жизни, но помню об этом случае всю жизнь.

На страстной неделе мне сказали, что я буду исповедоваться, причащаться и первый раз пойду к заутрени.

Я радовалась. Слегка печалили меня, правда, нянькины объяснения, что я выхожу уже из ангельского чина и становлюсь обыкновенной девочкой с грехами на совести. Но зато исповедь! Причастие! Заутреня! Все это окупало ангельский чин.

Накануне исповеди мама объяснила мне, что я должна обдумать свою жизнь и вспомнить все дурное, что я сделала, когда нагрешила и правдиво рассказать об этом священнику, освободив себя от тяжести совершенного.

Нянька, таинственно отозвав меня в умывальную, добавила ряд новых сведений: 1) если я утаю что-нибудь от «батюшки», то небеса разверзнутся и Георгий Святой проткнет меня копьем, как змея; 2) сегодня вечером надо «творить» молитву за упокой и за здравие моих близких сродственников (я этого тоже не понимала); 3) в промежутке между исповедью и причастием нельзя совершить ни одного греха ни словом, ни делом, ни ведением и неведением, иначе мне крышка и прямой путь в «гиену огненную» и принять причастие никак нельзя. Если же я, нагрешив, приму причастие, то мне крышка и прямой путь в гиену огненную; 4) если хоть один грех я утаю от батюшки, тоже угожу в гиену, да к тому же еще небеса разверзнутся.

Нянька сильно усложнила и, главное, затяжелила новое и, как мне казалось, радостное событие в моей жизни.

Улегшись в постель, я старалась вспомнить и восстановить свои грехи. Была взволнованна, ответственна, сосредоточенна…

Брата тоже не помню в церкви, думаю, что он был где-нибудь в толще гимназических квадратов. Прислуживали в церкви гимназисты. Хор был тоже из гимназистов.

Мы с сестрой ходили чаще всего с разнаряженной Лизой (фрейлейн была лютеранка).

Мне нравилось входить в Первую Московскую гимназию через парадный вход. Швейцар Солнцев (по прозвищу «солнышко») с лысой головой, сияющей улыбкой и сияющими медалями на груди встречал нас радостно.

Раздевая меня, он говорил: «Барышня (барышня!) Татьяна Александровна, разрешите пальтецо ваше принять». Или доверительно маме или Лизе: «В церкве сегодня прохладно — дрова сырые — рекомендую сохранить рейтузики на Татьяне Александровне». Рейтузики на мне сохранялись.

Домовая церковь в гимназии была на втором этаже, и по чугунной лестнице уже шли наверх дамы в красивых платьях, подметая по чугунной лестнице модными тогда шуршащими нижними юбками, нарядные девочки и гимназисты в парадной форме. Как в театре.

Очень любила службы, когда в руках надо было держать

свечку. Всю службу я старалась попасть капельками воска на носки своих башмаков. Занятие это было крайне увлекательное, но трудное и требовало терпения, полной сосредоточенности и меткости.

Кап, кап, кап — на паркетный пол церкви и вдруг — кап — прямо на носок нового башмака. Как удачно! Как красиво! И снова сосредоточенная и трудоемкая работа начиналась сначала.

Наклон свечи, прицел, капля! А что там творилось кругом, это меня не интересовало. Иногда мама или Лиза легонько нажимали на мое плечо. Значит, надо было вставать на колени и игра в «капанье» временно прекращалась.

Еще я любила вербную субботу, когда надо было горящую свечку донести до дома. Потом, когда я прочла у Блока «мальчики и девочки свечечки и вербочки понесли домой» на меня пахнуло, как пирогами из печки или варящимся вареньем, детством, и мне показалось, что Блок написал это про меня. А возможно даже, что писал он это стихотворение не один, а в соавторстве со мной, а, возможно, писала я одна, без Блока.

Именно огонечки теплятся, именно дождик маленький и ветерок удаленький, именно пахло весной.

Все всегда именно так и было.

И еще любила с разбега вбежать в папин кабинет (он сидит за письменным столом и занимается), подлететь к нему и потереться своим лбом о его, чтобы мирра, которой поп Коновалов сделал мне крест на лбу, передалась папе. Это занятие называлось бодаться. «Папа, давай бодаться!» — кричу я, и отец, отложив перо и мягко улыбаясь, наклоняется ко мне и трется своим лбом об мой. Трется он долго, гораздо дольше, чем нужно.

Отец был не сентиментален, стыдился нежности, суров и сдержан в обращении (северянин!), а меня очень любил (маленькая!), и это «бодание» было нежностью его, лаской, поцелуем (никогда не целовал). Мы долго «бодались», а потом вместе шли пить чай.

С детства обладала я незаурядным басом. «Боженька, — заорала я не своим голосом, — сделай так, чтобы мама разрешила пойти гулять с новой куклой. Боженька, сделай это, прошу тебя», — орала я на всю квартиру, потому что уже знала, что Бог на небе, за иконой, и надо было орать погромче, чтобы он услышал.

Это была первая сознательная, не механическая молитва в моей жизни. И она исполнилась.

Я орала басом, крестилась и клала земные поклоны, как это делала нянька. Я молилась неистово и яростно.

ОТЕЦ

Теперь, когда я стала старше своего отца, мне особенно интересно и важно было бы встретиться с ним. Как было бы хорошо и вместе с тем, как опасно было бы это свидание. Ведь все равно я не могла бы встретиться с ним «на равных», хоть я и старше. Не знаю, не уверена, получилась бы у нас дружба? Я должна была бы отчитаться перед ним за прожитую жизнь, и я совсем не уверена, что он одобрил бы меня. Мне кажется, что я не сделала и десятой части того, что он успел за свои 50 лет, и того, что он ждал от меня. Как мало я знаю о нем и как наполнена им! Будучи старше его на десять лет, я бы робела в разговоре с ним и не потому, что я его дочь, а он мой отец, а потому что он презирал бы меня за мои рваные знания, разбросанный характер, зря растраченные силы, за незакрепленные труды.

МАМА

Когда я была маленькая, мама была высокая, тонкая, красивая и страшная озорница, а пела она так прекрасно, что чаровала своим великолепным контральто и больших и маленьких. Вспыльчивая и отходчивая. Вечно поющая по всем поводам жизни, и грустным и веселым. Мужественная и смелая в беде и скорая в мелочах. Добрейшая и очаровательнейшая она была женщина!

Нервная и добрая. Всегда готовая пожертвовать собой, без тени эгоизма. Беспорядочная и очень уютная. Труженица.

БРАТ (о В. А Луговском) [6]

Мать была самой большой любовью брата в жизни. Они были похожи, только она не поспевала за ним. Все в нем было крупнее. Поэтому она и умерла раньше времени. Душевно и физически устала. А по своему здоровью она могла бы прожить дольше.

* * *

Очень трудно писать о брате, надо отдалить его и посмотреть как в перевернутый бинокль, а он все время стоит рядом и даже смерть не в силах его от меня отодвинуть.

Удивляться надо, сколько всего ему было отпущено природой: рост — великаний, плечи — косая сажень, голова — ни

одна шапка не лезет, волосы — лесная чаща, голос — люстра качается, лицо четкое, как из камня выбитое, сила богатырская.

Был он большим, и многое вмещалось в нем: удивительная эрудиция, фантазия, музыкальность, знание языков, умение рассказывать, рисовать, певческий и стихотворный дар. Сложный, порой фантастический душевный мир и почти детская ранимость и беззащитность.

Он был добрым человеком, не способным на жесткость. Созерцатель и сказочник, нуждавшийся в защите и нежности и при этом мужественно и стойко переносивший все страдания, выпавшие на его долю. Много ему было отпущено, многое он и растратил, не щадя себя. Оттого и ушел из жизни рано, мог бы пожить еще хоть чуть-чуть, тем более что не все успел досказать.

* * *

Укрепи мою волю и сердце мое сохрани — это звучит как слова молитвы, обращенной к природе — *Потому что мне снятся костры…* — Повремени, подожди, пощади меня, я еще не все досказал, что мог. И все-таки *это сны революции, это бессмертье мое* звучит как заключительный предсмертный аккорд.

Это начало гибели людей 20-х годов, романтиков и мечтателей — *«это сны революции, это бессмертье мое».* Их прищемил 17-й год уже 17-летними юношами, как 41-й год прищемил души другого поколения, уже их учеников.

Ускользают впечатления и рассеиваются, а через много лет ловишь их в книге его стихов. Встает образ любимой им тогда женщины. Дуло в окно и шуршала во тьме кромка холщовых штор.

Целые периоды жизни: *и мать, и жена, и сестры стирали мое белье.*

Мы жили тогда очень бедно, и он роптал в стихах.

Начинающего верить в себя молодого поэта, худого, с веселым оскалом рта, или в последние годы грузного, обремененного инфарктом, глубоко задумавшегося человека, прикоснувшегося в творчестве своем к самому главному в его жизни.

В поэме он перебирал свою жизнь.

Отец, будучи родом из Заонежья, сумел нас всех влюбить в этот край. Край голубых озер, вереска, деревянной архитектуры и мужества, с кривыми карельскими березами и холодеющей гладью озер.

* * *

Какая плотная была у нас семья. Какая сжатая. Нас было пять человек, как кулак из пяти пальцев, внутри которого, как в калейдоскопе, переливались елки, пасхи, бумажные куклы, Оболенское и разные, разные радости. Теперь остались только я и Нина[7]. Она больная и старая, я тоже старая и, кажется, тоже больная. Два пальца, согнутые и не главные на руке: мизинец и безымянный. Остальные уже разогнулись.

ПОВАЛЕННОЕ ДЕРЕВО ЛЕГЧЕ ИЗМЕРИТЬ

Пришла телеграмма из далекого Петрозаводска о смерти нашего дяди (брата отца). По праву младшей и более подвижной в семье решено было, что поеду я.

В Москве была довольно теплая осень. Наскоро купив билет, уложив в сумку нужные на три дня вещи, я в летнем пальто села в поезд.

Душно и тряско в общем вагоне. Под скудной подушкой сумка с деньгами и телеграмма из далекого Петрозаводска о смерти дяди Жени. Вагон достался общий, шумный, набитый людьми битком. Наступила ночь и все постепенно разлеглись спать на свои места, освободив мое нижнее.

Улеглась и я, но не спалось. Сколько лет было бы сейчас дяде?

Наверное, 70? Или меньше? И начали в голове клубиться воспоминания. Большой теплой волной поплыло детство.

Этот дядя был наш любимец. Младший брат нашего отца. Один он остался в живых из этой большой незнакомой северной семьи (4 брата и 2 сестры). Вот и его уже не стало, все ушли.

Его приезды из Петрограда в Москву, а потом с фронта (1916) были всегда праздником. Подарки, пение, рассказы. Садился за рояль и довольно бегло наигрывал какие-то шутливые песенки. Больше пел мимикой, чем голосом.

Был врач. Довольно поздно женился и уже в начале революции приехал в Москву показывать старшему брату молодую жену.

Я помню ее легкой, подвижной, нарядной. Все бегала со мной малюсенькой по квартире, играли в салки и разбили большой горшок с цветком, кажется, пальмой.

Потом он уехал на родину в Петрозаводск и там осел. Народилось у него трое детей. Отец очень тосковал без своей северной родины, все говорил, что ему хотелось бы перед

смертью погладить деревянную церковь руками. В 24-м году, за год до его кончины, отправились в гости к младшему брату. Ехали мы в жестком вагоне. С лекарствами, чайником, с бутылкой кипяченой воды.

В Ленинграде провели довольно много часов. На Дворцовой площади была торцовая мостовая, в щелях между деревом пробивалась трава, бродило несколько сонных свиней. Было жарко и грязно. Но 18-й век, замурованный в дивные дома, был прекрасен. Золотился шпиль Адмиралтейства, и Петр простирал свою длань на фоне неба.

Потом поехали дальше.

Отцу не удалось погладить северную деревянную архитектуру рукой. Ему даже не удалось ее увидеть, с поезда брат врач сразу уложил его в постель. Запомнился этот необыкновенный дом. Днем всюду шмыгали маленькие ребятишки, ночью всегда кто-то стучал в окно, вызывая доктора в город или в ближние деревни, пешком или на прибывшей за ним телеге он безотказно шел на вызов. А рано утром доктор спешил в больницу.

Тетя поутру, счищая грязь с его ботинок, сокрушалась и жаловалась мне, зачем он лечит всех бесплатно, зачем поднимается среди ночи, зачем иногда, даже не успев положить голову на подушку, отправляется на работу.

Дядя изменился за эти годы. Он стал седой, худой и на шее у него красовался уродливый шрам. Это он при свете керосиновой лампы, которую держала жена, сам себя оперировал (вырезал какие-то железки) и сам зашивал шов (без наркоза, разумеется). Когда бывала свободная минута, он садился за пианино и пел по-прежнему «Коля и Оля бегали в поле» и т. д. и подмигивал мне усталыми глазами.

Тянуть семью в 5 человек, да еще приехавших гостей, конечно, доктору было тяжело. Иногда, правда, мне приходилось видеть, как на черном крыльце появлялся мужик с рыбой или плачущая баба с десятком яиц, которая, причитая, объясняла жене, что доктор спас ее сына от крупа, а деньги отказался взять, так уж, сделай милость, хозяйка, прими яички.

Рассказы Татьяны Александровны

Это было в 1976 году. Мы плыли по Волге на пароходе. Поездка эта задумывалась заранее, но я присоединилась к ней внезапно. Еще весной шли разговоры о том, как им хочется отправиться в это путешествие — до Астрахани и обратно. Ведь было время, в самом начале их романа, когда пароходы были их единственным прибежищем. «Какое это было счастье иметь крышу над головой и быть вместе!» — нашла я позже в записках Татьяны Александровны. В огромном альбоме с фотографиями, который она выклеивала последние годы и в котором отразилась вся жизнь ее и Сергей Александровича, фотографии пароходов занимают две страницы — «Михаил Калинин», «Грибоедов», «Памяти Гурьянова», «Украина», «Радищев» и т. д. Всего около двадцати. Не только в эти годы, они и позже ездили. Им очень нравились эти путешествия — медленно проплывающие берега, тихие пристани, плеск воды за бортом.

В этот раз была еще и цель — Сергей Александрович собирался писать повесть, действие которой развертывается во время одной из таких поездок. Ему хотелось обновить впечатления…

«Может быть, это мое последнее путешествие», — сказал он мне как-то. И был прав.

Больше он никуда не ездил.

Но чем ближе к лету, тем больше возрастало беспокойство Татьяны Александровны. Она боялась, что заболеет — в то время ее уже сильно мучили приступы астмы — и Сергей Александрович, которому в то время было уже 75 лет, останется в одиночестве.

И тогда я приняла решение ехать с ними. Приличный билет уже нельзя было достать, и половину путешествия я провела в трюме, в шумной четырехместной каюте. Впрочем, там я только ночевала, весь день проводила на палубе или в их двухкомнатном люксе.

Татьяна Александровна себе напророчила — она, действительно заболела, почти не выходила и все береговые вылазки мы с Сергеем Александровичем совершали вдвоем. А вечерами собирались вокруг стола в первой комнате. И начинались рассказы, удивительные рассказы Татьяны Александровны. Обычно она вязала, иногда замолкала, считая петли, потом продолжала с того же места. Уютно светила настольная лампа. В окно тянуло свежим дыханием реки. Где-то тихо играло радио. Мир сужался. Тишина. Покой. Может быть, лучшие минуты моей жизни.

Татьяна Александровна была поразительная рассказчица. Даже в последние годы, больная, со сломанной ногой (перелом

шейки бедра), задыхающаяся от приступов астмы, она всегда как-то вдруг начинала свои рассказы — о детстве, о семье, о людях, которых встречала, с которыми дружила. Так и вижу ее, сидящей на разобранной постели, в длинном свободном халате (халатов этих у нее было великое множество), перед ней столик, на котором в одном ей ведомом беспорядке разбросаны лекарства, ингаляторы, сигареты, какие-то записки.

У нее до глубокой старости была величественная осанка и совершенно прямая спина, никакой сутулости. Но сидела она всегда согнувшись — так ей легче было дышать.

Рассказ начинается исподволь, почти незаметно. Голос низкий, богатый оттенками. Рассказывая, она постепенно оживляется, выпрямляется, как бы даже молодеет.

Каюсь, я иногда даже провоцировала ее на эти рассказы, чувствуя, что ей от них становится легче. Задавала наводящие вопросы, притворялась не помнящей, переспрашивала.

— Почему Вы не записываете? — допытывалась я у нее.

— Зачем? Кому это нужно? — отвечала она и лукавила…

После ее смерти я нашла в бумагах очень многое из того, что она рассказывала. В тетрадях, вперемежку с рецептами блюд, рисунками костюмов и названиями лекарств, на разрозненных листочках, пожелтевших, порой оборванных. В тетрадях она писала почему-то в начале, потом перевертывала и заполнят конец, а середина обычно оставалась чистой.

Почерку нее в последние годы стал совсем неразборчивый, слова обрывались, недописанные. До сих пор я не уверена, правильно ли я расшифровала какие-то места. Но все это так свежо и необычно, что мне не жаль времени, сил, отданных этой нелегкой работе.

Сама я записывала за ней почти всегда. Приходила домой или, если оставалась ночевать, уходила в другую комнату и тут же садилась, стараясь восстановить весь рассказ по памяти, с малейшими оттенками. При ней я записывать стеснялась — боялась помешать естественному течению повествования. Магнитофоны она не выносила, даже когда у меня появился маленький диктофон, не давала его включать.

Сравнивая с ее записями, я почти всегда отдавала предпочтение им, настолько послушно было ей письменное слово. Может быть, еще больше, чем устное. Из записанного мной я оставила только то, что не было зафиксировано на бумаге.

Как только я оставалась одна, я тут же садилась записывать ее рассказы, пытаясь передать не только их смысл, но и интонацию. Не знаю, насколько мне это удалось.

Л. В. Голубкина[8]

Ее рассказы начинаются внезапно:

«Сережа[9], как теперь называется Екатеринослав?» — При этом она вяжет и считает петли.

Сергей Александрович, раскладывая пасьянс: «Днепропетровск».

«Когда мой папа окончил университет, то его направили работать в Екатеринослав. Мои родители прожили там год. Там у них не родился первый ребенок».

«Как не родился?» — это уже я.

«Ну, родился и умер, мама упала или еще что-то… И там произошел один случай, который мама никак не могла для себя объяснить.

Они поселились в странном доме в виде креста. Вот тут была передняя (чертит на столе спицей план), потом рядом кухня и столовая, а дальше цепочкой проходные гостиная, кабинет и спальня. Мама была очень нервна, потому что их свадьбу пришлось на год отложить, так как на помолвке папин отец[10] встал, сказал: „За здоровье молодых!“, выпил и умер. И она всего боялась. Они наняли прислугу — кухарку и горничную, и мужа кухарки, который был страшный пьяница, его отовсюду выгоняли, а тут за еду он должен был сидеть в гостиной с ломом и сторожить. Ну он, конечно, спал, но так было спокойнее.

Да, еще был такой случай — когда дом оборудовали, что-то прибивали над дверью и вдруг почувствовали пустоту. Папа был очень любопытен, он встал на стул, все обстукал, потом это место вскрыли, там оказался тайник и в нем еврейский молитвенник, талес и еще что-то. Маму это очень встревожило. Зачем было это прятать? Екатеринослав был в черте оседлости.

Но весь этот случай к делу отношения не имеет.

Так вот, однажды все спали, и мама вдруг проснулась от того, что явственно услышала, как кто-то открывает входную дверь. А там были запоры, засовы, цепочки. И все это открывается и слышны шаги. Он, этот человек, проходит мимо кухни, где спали кухарка и горничная, через гостиную, где сидел с ломом кухаркин муж. И тогда мама разбудила папу: „Саша, послушай!“ Он проснулся, прислушался, опустил ноги с кровати, взял тяжелый медный подсвечник, такой с ручкой, он потом у Володи стоял, и пошел навстречу. А этот человек дошел до столовой, которая еще не была как следует обставлена, стоял только посередине стол со стульями, а остальные стулья, лишние, тогда так было принято, стояли у стены. Если гости приезжали, их приставляли. Вдруг он в темноте наткнулся на стул, и он загремел. Вот тогда папа пошел. Потом послышались быстрые шаги обратно, хлопнула входная дверь и все стихло. И тогда папа

с подсвечником, горничная и кухарка, которые тоже не спали и все слышали, и муж кухарки, который испугался и говорил, что хотел его ударить, когда он пойдет назад, все побежали к двери. Запоры, засовы, цепочки — все было на месте и закрыто изнутри. А в столовой в стороне от других стоял стул. Что это такое?»

Я: «Татьяна Александровна, что это мне папа рассказывал о каком-то своем дяде, который был путешественником, много ездил, привозил ему какие-то вещи из Китая?»

Т.А.: «Дядя? Ты что-то путаешь. Или Володя приврал спьяну. Не было никакого дяди».

Через некоторое время (говорили совсем о другом): «Это он, вероятно, о своем крестном рассказывал. У моей бабушки, Юлии Михайловны, маминой мамы, я не помню, она умерла, когда я родилась, в тот самый год, от водянки, очень мучилась, у нее были подопечные. Она вообще была очень добрым человеком, жила на Воздвиженке, а рядом был дом, его держала какая-то вдова и сдавала бедным по комнате.

И был такой богач, свитский генерал, кажется, по-моему, его фамилия была Перов, да Перов. Или по-другому? Нет, кажется, Перов. Он был очень, очень богат. Он умер, погиб молодым. А он был женат на молоденькой, очень хорошенькой женщине. И уж не знаю, что там произошло, но она осталась совершенно без средств, переехала в Москву и поселилась в этом доме. У нее было двое детей — девочка и мальчик. Девочка была нехороша собой, а мальчик очень милый. Так как они были дети свитского генерала, их взяли на казенный кошт. Девочку в институт, а мальчика в кадетское училище. И бабушка им помогала. Она посылала вдове обеды, ей буквально нечего было есть. А детей, когда они приходили домой, приглашала к себе обедать. Вдова не ходила, она была очень горда, ей нечего было надеть.

Мальчик очень любил Юлию Михайловну. Зимой ему нечего было надеть, кадеты носили тогда бескозырки, да, Сережа, бескозырки?»

Сергей Александрович, который делал вид, что читает, а сам с интересом слушал: «Не знаю, по-моему, что-то с околышем и козырьком».

«Нет, нет, я знаю, бескозырки. И вот эта шапочка, мне мама рассказывала в детстве, поэтому очень трогательно так запомнилось, шапочка у него примерзала к голове, а бабушка сшила ему из лебяжьего пуха такую накладку, она подкладывалась под бескозырку. Он очень любил бабушку всю жизнь.

А девочка, когда ей исполнилось шестнадцать лет, хотя она была нехороша собой, но свежа и с манерами, вышла замуж за

очень богатого человека, много старше, просто даже старика. Ей 16, а ему, допустим, 60. Но вышла, не раздумывая, чтобы спасти семью. Ее фамилия была Вечеслова, это уже я помню, потому что она устраивала роскошные елки, человек на двести детей, и нас туда всегда приглашали. Всем дарили подарки, а нам что-нибудь особенное. Например, Нине, помню, подарили какой-то маленький малахитовый сундучок, ну, наверное, из искусственного малахита, он вот так открывался (показывает), а там лежало колечко золотое с камешком.

А ее брат получил блестящее образование, конечно, благодаря ей — она была старше — сделал карьеру. Потом женился на миллионерше и был очень богат. Очень любил бабушку и, когда она последний год болела мучительно, она не могла лежать, сидела в кресле, окруженная приживалками, он каждый день хоть на минуту заезжал с визитом. „Юлия Михайловна, скажите, может быть вам что-то хочется?“ И если бабушка говорила: „Я бы съела икорки“, то через час был целый бочонок икры.

Вот он и был Володиным крестным, сам попросился. И он дарил Володе необыкновенные подарки. Крестильный крест, я такого больше не видела, куда он делся? — был большой и по специальному заказу, эмалью изображение Христа. А ложка „на зубок“ была большая, как деревянная, но золотая и с эмалью. Он много путешествовал, был в Китае и что-то привозил. Конечно, это он, а никакой не дядя».

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРША

Мамина сестра[11], генерал-губернаторша, была очень ловкая женщина. У нее была дочь, которая, чтобы отомстить матери, которая ее не любила, поступила пепиньеркой (воспитательницей). Это был позор.

Она к нам иногда приезжала, брала нас на елку в свой институт. Очень милая была женщина. А сын как раз был неудачный, но тетя его любила.

После революции тетя очень быстро сообразила что к чему, обменяла свой дом на квартиру в Староконюшенном и заселила своими сестрами. Она и маму уговорила отдать папин кабинет, который у нас остался от старой квартиры, и переехать в две комнаты. Это потом была моя комната, только еще не разгороженная, и комната, где жила Муха[12] с Тамарой[13].

А дочка генерал-губернаторши уехала в деревню учительницей, опростилась. Однажды она приехала, не помню по

какому поводу, то ли ее мать стала болеть, то ли после смерти нашего папы. Она приехала и привезла с собой козу, ее не с кем было оставить. Козу заперли в ванной, которая не действовала, и приперли дверь колом. А Володя пришел подшофе и захотел попить воды. Он немного удивился, что дверь приперта, но открыл ее, он знал сколько шагов до крана, света ведь тогда ни в коридоре, ни в ванной не было, готовили на керосинках в кухне, там и мылись.

Вдруг он почувствовал чье-то теплое дыхание. И в ту же минуту страшный удар в живот. Он протянул руку и нащупал рога.

Он еле выбрался, подпер дверь и никому ничего не сказал в ужасе. Решил, что перепил. Только утром, проснувшись, начал осторожно расспрашивать.

А коза потом стала слепнуть, и дочка генерал-губернаторши увезла ее обратно в деревню.

ДОМ НА ВОЛХОНКЕ[14]

В доме на Волхонке в столовой стоял стол раздвижной, на две доски, на 24 человека, венские стулья, буфет высокий с колонками, диван, рядом с буфетом столик под самовар, который сделал плотник Борис, в простенке стояло зеркало, на подзеркальнике старинные подсвечники с волчьими головами, на стенке висели часы. Ломберный столик, легкие занавески.

В кабинете у Александра Федоровича письменный стол, кресла, диван, полки.

И один стул возле печки-голландки — для наказания.

У мамы — широкая кровать, комод, кресла, шкаф с зеркалом.

В умывальной огромный платяной шкаф, где была одежда всей семьи, умывальник. Ванну, если нужно, приносили с чердака. А вообще ездили в бани, посылали дворника заказывать номера. Там же был вход в уборную.

В уборной было очень тепло — туда выходила лежанка от русской печки из кухни и в умывальную тоже. В уборной на лежанку клали грязное белье, она была высоко.

Гостиная была отделана по вкусу Ольги Михайловны. Папа ее не любил, это был не его вкус. Гостиная была модерн. Зеленый ковер на весь пол. Занавески двойные — тюль и зеленый репс. Стол, восьмиугольный столик у стены, нотница, рояль, диван, кресла. Много живописи — французы очень дорогие, их потом продали за гроши, два портрета, много миниатюр, столики под цветы (тумбочки).

В детской было очень просто — кровать Нины и ее столик со шкафчиком, где стояли духи, моя кровать, кровать фрейлейн Аделаиды и сундук с маминым приданым, на котором стояли две кукольные квартиры и жили наши куклы. Еще был стол и коврики.

У Володи была отдельная маленькая комната — диван, стол и кресло, как раковина, очень удобное, его потом выбросили.

На кухне жила прислуга, хотя я помню только одну кровать.

В столовой еще висела лампа, а на ней звоночек с кнопкой, чтобы вызывать горничную — «Принесите еще хлеба» — «Слушаюсь, барыня». Ольга Михайловна была демократична, но умела себя поставить.

На печках, на отдушинах висели толстые шнурки с кистям и золочеными шарами.

Квартира занимала целый этаж.

ПИСЬМА К МАЛЮГИНУ [15] (1938–1945)

Леонида Антоновича Малюгина я встречала в доме Татьяны Александровны и Сергея Александровича довольно часто. Моложавый, подтянутый, с насмешливыми глазами, галантный, иногда резкий в суждениях. Он был то, что называется «друг дома», постоянный посетитель. Без него не обходился ни один праздник. Да и будни тоже. К тому времени он перебрался в Москву на постоянное жительство.

Потом он тяжело и безнадежно заболел — рак. Уже ослабевший, истощенный, он сбежал из больницы, чтобы встретить с ними свой последний Новый год. Потом его не стало.

Однажды, уже в последние годы жизни Татьяны Александровны, я пришла к ней и застала ее сидящей на постели, а

вокруг нее весь пол был засыпан изрезанной бумагой.

— Что это? — потрясенно спросила я. — Что вы делаете?

— Уничтожаю свои письма к Лёне, — спокойно ответила она.

— Зачем?

— Это мое дело, — сказала она надменно.

Потом рассказала, что они переписывались в течение многих лет, но в 1946-ом или 47-ом году произошла ссора, как тогда казалось, навсегда. И Татьяна Александровна потребовала, чтобы он вернул ей ее письма. Он долго медлил, наконец после неоднократных напоминаний, вернул. И она их уничтожила. А после его смерти ей позвонила сестра Леонида Антоновича и сказала, что они обнаружили в его бумагах перепечатанные копии. Вот эти копии она и кромсала у меня на глазах.

По ее просьбе я подобрала бумаги, сложила их в полиэтиленовый мешок.

— До другого раза, — сказала она.

Но когда после ее смерти я стала разбирать бумаги, то нашла аккуратно свернутые, перевязанные ленточкой листы. Это и были те самые письма. Она их не уничтожила, а «отредактировала» — вырезала какие-то места, которые ее не устраивали.

Мы публикуем их как она их нам оставила — некоторые так, без начала, другие без середины или без конца. Какие-то отрывки можно датировать только приблизительно, по смыслу. А есть и те, которые сохранились целиком. Мы решились на это, потому что, на наш взгляд, они представляют из себя поразительный человеческий документ.

Л. В. Голубкина

Письма Т. Луговской — Л. Малюгину

1938 год

…Я уже говорила, что люди не любят несчастных, а вы все возражаете, вот дурной характер. Лёня, так случилось, что я хорошо к вам отношусь и поэтому мне хочется вас поругать. Мне кажется, что у вас не хватает какого-то необходимого для жизни качества, назовем его условно живучестью. У вас плохая хватка жизни. Это сказывается во всем. И в личных ваших отношениях с людьми, и в работе, и вообще в вас. Вы ужасно хрупкий человек. Вас легко обидеть, расстроить и вообще изменить ваши желания и решения. По-моему, если у вас что-то не выходит, вы можете махнуть рукой. Дескать, ну и наплевать. (Примеров много.) А когда у человека нет этого твердого стержня, он начинает бояться

похожести на корректора, или еще на каких-нибудь дяденек или тетенек. По существу, никогда не бывает все гладко — но ведь вся эта каша, состоящая из приятностей и неприятностей, и называется жизнью, за которую мы так держимся и которую так «нежно обожаем». И потом, пожалуй, очень четко надо знать свои желания и цели. Вот.

Еще вы ужасно вспыльчивый и ничуточку не хотите обуздать себя. И потом эта манера: если ко мне относятся плохо, или, как вы говорите, снисходительно, — ну и наплевать. В этом доме больше не бывать.

Как же можно быть таким не злым и пассивным?

По-моему, нужно все в порошок стереть, но добиться желаемого отношения (если это важно, конечно).

Еще мне кажется, что вам надо начинать писать под шумок пьесу. И не дожидаться проявлений гениальности. Для того чтобы из вас получился тот самый счастливый дедушка под чинарой, надо еще, чтобы вам мало-мало помяли бока. А то ведь ваша профессия очень страшная: все критикуете людей — а тебя кто же отругает? (Так можно оказаться совсем не приспособленным к критике.)

Вот вы читали Ренара, помните, как у него ловко сказано в самом начале о том, что слава это постоянное усилие — и насчет отличия труса от гения (не помню точно, но вы найдете). Не обижайтесь, все эти нравоучения от чистого сердца.

Мне, пожалуй, сейчас очень хотелось бы побеседовать с вами где-нибудь в тишине — но ведь это невозможно?

Сегодня читала «Советское искусство» и обрадовалась вашей фамилии как живому другу.

Меня очень огорчают наши театральные дела. Вот послушайте, я вам пожалуюсь:

1. Сейчас каникулы и страшно много спектаклей (80 за две недели, правда, два состава), и от этого они идут страшно спешно и грязно.

2. Очень трудно сделать что-нибудь удивительное в передвижных условиях, все портится, разбалтывается, сцены бывают ужасные — негде повернуться. Это, по-моему, и есть халтура.

3. Понимаете — как бы я ни билась, но ведь все-таки я не режиссер и не худрук, и могу добиться чистоты только по своему разделу работы.

4. Я хоть и умею «нажимать» на Авербаха[16], но все-таки он бывает очень упрям (как все слабые люди).

5. У него есть поганая черта — он не умеет аккуратно работать (а это в нашем передвижном деле страшно важно), не

умеет доделывать начатое до конца, на ходу может переменить что-нибудь, и остаются глупые «аппендициты». А когда ему об этом говоришь, он хватается за голову и начинает долго и нудно в голос кричать, что он устал, 4 или 5 лет (точно не помню сколько) не отдыхал.

Может быть, он, правда, заработался, но в общем все это кликушество. И он становится уже не человек, а какой-то орущий бурак, и беседовать с ним противно.

6. Наркомпрос вздумал нас передавать в Комитет по делам искусств. Ходят нас смотреть разные люди, — а куда нас денут — неизвестно. Ну да я думаю, что куда-нибудь уж денут. Поверх земли не останемся.

Вот мои или, вернее, часть моих невзгод. Жалейте меня, пожалуйста. Мне очень надоело заниматься всеми не моими театральными делами и разрывать себе сердце на куски из-за чужой работы.

Если бы вы знали, Лёня, как хочется посидеть одной, помечтать о своей работе и порисовать. У меня в голове накопилось много всяких мыслей, все они там копошатся, просятся наружу и требуют осуществления. Словом, я грущу, видимо, оттого, что состою в разводе с красками.

Ну а вы как живете? Почему забыли про меня? Не было же такого уговора.

Лёнечка, я научилась писать «ясные» письма? Да? Я — молодец?

Приехал Н. Тихонов[17] и уже в передней кричит про съезд и про то, как они там упивались — хорошо, что я уже кончаю писать.

Напишите мне скорее что-нибудь, знаете, такое очень хорошее. И любите меня, пожалуйста.

Т. Л.

Москва. 4.1.38.

Лёня, вы на меня не гудите за молчание. После болезни я закрутилась в таком вихре дел, что просто голова идет кругом. Не будете гудеть? Да? Я не буду описывать вам все свои занятия — бытовые, семейные и рабочие. Верьте на слово — их хватило бы на десять человек. Несчастье мое в том, что я все делаю всерьез.

Вы знаете, я перечитала Ренара. Помните, я вам написала «не завидую» и т. д. Так вот почему я не завидую: попалась мне тут одна книжонка «Жизнь Джека Лондона» (казалось бы, что может быть допотопнее?), и я совершенно захлебнулась и пришла в неописуемый восторг от этого образца настоящей, мужественной, человеческой жизни. Это — раз! Эта книжка, действительно,

может служить руководством к жизни. Это — два! Я нашла там и, наверное, каждый найдет тысячу своих сомнений, тревог, препятствий, мечтаний, трудностей, радостей. И это меня растрогало и утвердило в каких-то вещах. Это — три!

Эта биография учит всему на свете, что только должен знать человек, смотрящий на жизнь своими глазами и решившийся стоять на земле своими собственными ногами.

Я хожу обнявшись с этой «Жизнью Джека Лондона» и люблю сейчас только ее.

И после всего этого весь ренаровский дневник представился мне чем-то не тем, что нужно. Это вроде стрекозы, умеющей печатать на пишущей машинке, или что-нибудь еще более утонченное и нелепое. И все эти его остроумные штуки — собачий бред рядом с живой человеческой волей и направленностью.

Вы скажете, что я не понимаю жанра? Чепуха, я зато понимаю, что такое человеческий темперамент. Я раздружилась с Ренаром (может, это пройдет — не знаю), это эстет и резонер.

Мне хотелось написать вам еще много всяких вещей, но умираю, так хочу спать. Простите мне мою сонную болезнь, напишу в другой раз.

Спокойной ночи.

Т. Л.

Москва. 16.2.38.

Лёня, я предупреждаю, что письмо опять короткое. Во-первых, я не вошла еще в норму, во-вторых, я просидела сегодня в читалке Ист. музея (мне нужен материал по 12-му веку), и там такой холод, что стынут зубы (прямо как в 19-м году) — до сих пор не могу согреться и очень устала. Ну, а что делается на вашем свете? Каковы последствия вашего вольнодумного выступления в печати, скушали вас ваши редакторы или нет? Что-нибудь вообще осталось от Лёни Малюгина? Все эти ценные сведения я очень хотела бы получить. Я живу в каком-то непонятном и почти трагическом аду. Занята ужасно — нет времени не только подумать о чем-нибудь, но даже вздохнуть в полный вздох.

Все дела и события наметались в одну кучу. Получилась уже не путаница, а перепутанница. А я так просто угорела от всего этого. Вы говорите — грустное письмо я вам написала? Это так и есть. Но ведь невозможно же грустить до бесконечности — особенно на людях. И вот соорудив некий бальзам из народной мудрости (чем хуже, тем лучше) и вычитанной у Манна догмы — «пребывать твердым», я принимаю его, надеясь, что этим снадобьем исцелю свою душу и приучу ее противостоять всем

тяготам житейским.

Думаю, что лекарство стоящее. Нет, правда, Лёня, я делаю, если не все, что могу, то, во всяком случае, все, что умею — для того чтобы не раскиснуть. До 1 апреля у меня будет не жизнь, а собачий бред. Хотя мне удалось спихнуть один спектакль (в театре Дома пионеров) Каждану[18] — к нашему обоюдному удовольствию. Но вышла тут маленькая неувязка: я думаю, что подложила ему свинью, а он кричит на всю Москву, что, дескать, Таня очень хороший товарищ. Тут что-то непонятное происходит.

Вот примерно так складывается жизнь.

А ваше письмо, дорогой товарищ, все еще остается без ответа, но это все неважно, важно то, что я не забываю про это. И про это и про вас. И соскучилась.

Т. Л.

Москва. 6.03.38.

Ой, Лёня, такая весна, что просто некуда скрыться. Куда не кинешься — везде уже весна. До черта хочется ничего не делать, одеть несуществующее новое пальто и идти гулять по Москве, и покупать цветы, которыми уже полны улицы. И зайти в книжный магазин — покупать книги. А в писчебумажный — краски. И зайти в кафе, выпить кофе, а может быть, и что-нибудь более зажигательное. Вообще ходить по этому волшебному городу и удивляться на то, какие за зиму выросли дома и какие ложатся от них очень чудные синие тени. Глазеть на небо и останавливаться на мостовой, и плевать на все уличное движение, но «…слава — это постоянное усилие» (подлец этот Ренар), и я сижу, прикованная к Робин Гуду, как каторжник к тачке, и занимаюсь тем, что выдумываю этому милому товарищу скромный, но элегантный костюм для охоты на ноттенгамского шерифа и дремучий лес, приспособленный под общежитие для разбойников. (Все свои гимназические настроения приходится прятать в карман.) Чтоб ей пусто было, этой «доброй старой Англии». А не лучше ли расстаться с этой безумной мечтой: быть современником вечности и наслаждаться жизнью в полной и легкомысленной мере? Что вы на это скажете?

Т. Л.

Москва. 10.3.38.

С мягкими знаками что-то не то, сама чувствую. И не у кого спросить. Простите уж меня, Лёня.

Т.

Лёня, милый мой!

У нас дождь и никаких цветений. Я не жалуюсь. Мне нравится

шлепать по лужам и жить под зонтиком, и потом под дождик очень сладко спать, а это, сами понимаете, очень важный момент в моем существовании.

Вы спрашиваете меня, как я живу? Непонятно живу. Только это мы с вами расцеловались, и вы уехали, а я осталась одна — дура дурой — среди обалделых типов, проводивших своих горячо любимых родственников — между прочим, я еще долго переживала эти ваши лихие прыжки в поезд на ходу. Я больше всего боюсь пьяных писателей, собак и когда садятся в поезд на ходу. Ну, словом, как только я очутилась в мире суровой безалкогольной действительности, посыпались на меня разные мелкие сюрпризы и подарки. Это было так неожиданно, что я решила, что это ваш приезд принес — кроме дождя — еще и счастье. Очень волшебно!

Можете ругать меня сумасбродной женщиной, но я никогда не выдавала себя за положительную и благоразумную особу. И не так уж сильно убиваюсь по этому поводу. Помните, еще Маяковский писал — «надеюсь, верую, ко мне вовеки не придет — позорное благоразумие» (Кушайте, пожалуйста). А у меня этого счастья хватит на нескольких (неблагоразумия.) Уже мило? Я, с вашей легкой руки, пристрастилась к спиртным напиткам. Сегодня привелось мне отобедать с поэтом Тихоновым (он опять в Москве), и мы воздали дань этому богу — забыла его названье (нет, не Бахус, а другой какой-то, но тоже покровитель алкоголиков), и я, если не пьяная, то, как говорила моя нянька, «выпимши». Прошу простить и не судить строго.

Мне очень хотелось написать вам в Киев, но вы не дали мне адреса — я же не могу писать в никуда? Сами виноваты. И почему я сумасбродная? Это вы сумасбродный. Мы так четко и гладко договорились об этом дивном сантиментальном путешествии из серии «путешествия на край света». Вы, золотой мой, просто невнимательная шляпа.

План несложен: завтра чуть свет вы летите в ВТО (и я тоже) и покупаете себе путевку — или курсовку (это как вашей милости угодно) в Плес (для разнообразия через одно с) с 15 июля по 1 августа или по 5-е (сама сомневаюсь). А до этого мы едем в легендарный рейс по Волге и Каме или просто по Волге — там решим. Помните, вы мне рисовали — Пермь, Казань и еще какие-то города. Вообще это неважно. Важно одно, пароход, движение вперед, колесо к колесу, палуба, которая осточертеет через пять дней, и ваше милое общество, чего же вы дурите мне голову с Алупкой и д/о Большого театра? Нет, на балетных вам придется в этом году поставить крест. Настанет чудная жизнь! И мы приедем в Плес, вы начнете меня пилить — если не найдете ни одной

новой тропинки, а я, под ваше гудение, буду рисовать этюды под названием: природа, как я ее понимаю. Нет, правда, мне ужасно хочется иметь немного солнца, купальный костюм, кусочек места на траве и покой. Все-таки я очень устала. А насчет того, что лирика требует организации и подготовки — это сомнительно еще.

Ой, как я хочу скорее в отпуск! Я посылаю вам тоже самый лучший из всех лучших приветов и письмо на голубой бумаге. Это ведь Васенька? правда?

Т. Л.

Москва. 6.05.38.

P.S. Прочтите, Лёнечка, Эрнста Вайса «Бедный расточитель», если не читали. Говорят, что путевок в Плес на июль уже нет?

Лёнечка! это ничего не значит это молчание. Просто я не выдержала марки бездельника. Вот и все. И потом очень плохи дела с матушкой Григория[19], на нее страшно и жалко смотреть. Да и на него тоже. И я стараюсь помочь всему этому — как умею.

Все подробности — в будущем. Оказывается, жизнь усложняется не только с годами, но даже с днями. Наверное, где-то будет точка, после которой все сложности пойдут на убыль. Ведь по программе, начертанной Богом, к старости на нас нисходит покой, тишина и премудрость. Пока же ничего похожего нет. Привет вам.

Т. Л.

Москва. 23.05.38.

1. Я решила премировать вас Флобером. 2. «Горе от ума» с Завадским это очень страшный и, главное, тягучий и разнокалиберный спектакль. Да? 3. Как вы живете? Что статья?

Т.

Лёнечка! Я только что отправила вам письмо, а сейчас, вернувшись домой, чуть-чуть передохнувши и почитав Олдингтона «Все люди враги» (а они, в самом деле, все враги, конечно), я подумала — какое это счастье — отдых! И как это чудесно, если вы, действительно, будете меня ждать — Бог с ними, с настурциями, лишь бы с билетами. И какая бы ни была погода — дождь или солнце — все равно… Главное, что можно будет сидеть на одном месте, никуда не спешить, не разрываться на части от желания помочь одновременно всем и можно будет отдохнуть от всего на свете и, конечно, много, много спать. Только бы не сокрушился поезд, не сгорел пароход, не закрылась бы касса и я не сумела бы умереть за эти две недели, а вы сумели

бы быть хорошим, добрым другом.

Лёнечка, не гудите на меня, милый, что я не пишу, — я очень, очень замоталась, и у меня очень много горестей и сложностей. Я и сейчас пишу вам от своей мамы (на какой-то доисторической бумаге, которую она мне выдала). Я пришла ее навестить.

Мне пришлось похоронить матушку Григория. Последние недели ее жизни буквально раздирали сердце на части — так она мучалась. Все это и трудно было и горько. Да и вообще любая встреча со смертью не проходит для нас даром.

Ну а кроме этого, тоже хватает всяких мелких неприятностей. Мне очень нужно отдохнуть, оттаять немножко.

Теперь о делах. Я могу выехать третьего числа, даже второго, если нужно, — и это совершенно твердо. Мне очень трудно писать. Вот уж встречу вас, тогда все расскажу своими словами, а от вас я все-таки жду писем — такая уж я эгоистка. В Горький, так в Горький, я готова ехать к черту. Не забывайте меня. Пишите. И верьте мне, что я еще никогда не была такая уставшая.

Т. Л.

Москва. 18.06.38.

Я засыпаю вас письмами, Лёня, а вы еще жалуетесь, что я не пишу. Я безумная растрепа, написала вам два письма, а не условилась точно, когда же мне выехать. А билет надо брать за 10 дней — потому что у московских касс творится что-то сильно напоминающее битву русских с кабардинцами. Значит так: я беру билет на 3-е число, с расчетом быть в Горьком 4-го утром. Да? Если вам это придется по вкусу, немедленно телеграфируйте мне, т. к. 22-го я уже закажу билет.

Кажется, все. Какой-то, говорят, есть поезд до Горького № 8, летит, как птичка, везде звонки, днем и ночью подают горячий чай, имеется автомат для чистки зубов, утренняя зарядка и другие радости жизни. А люди, после всего этого великолепия, не решаются храпеть в этом поезде. И кражи совершаются только мелкие. Вот я и мечу попасть на это чудо. Так дайте же мне весточку, когда мне надо выехать. Жизнь моя без перемен и выглядит она довольно мрачно.

Т. Л.

20.06.38.

Не люблю я эти летние вечера в Москве, тоскливые они какие-то, нехорошие. Не верится, что можно быть спокойной и счастливой летом в Москве. Мне не повезло, милый. (Нина сказала бы — где тонко, там и рвется.) Плюс ко всем вещам — у меня заболела мама. Какое-то непонятное желудочное

заболевание, требующее ухода и внимания. И вот я перебралась к брату — дабы окружать свою мать и своего черта-брата уютом и заботами. Не люблю я эту квартиру. Вообще я, как кошка, привыкаю к своему месту, а этот дом как-то особенно мне не подходит. И вот слоняюсь я по пустым комнатам и никак не могу отыскать себе место для работы — слишком уж его много.

Работать очень неохота, а работы много, и вся она срочная.

Когда ночью в пустой квартире поэт Луговской ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу — до того грустные — фокстроты, с этого дела можно повеситься, а уж выболтать что-то лишнее — наверное. Поэтому сейчас пойду накричу на него для порядку (я сейчас за главную у них) и велю писать стихи.

Каждый раз после отпуска, как когда-то перед началом учебного года, я оглядываю свою жизнь и каждый раз стараюсь не разглядеть ее как следует. Жестокая несправедливость, конечно, что вы живете в другом городе. Вообще все хорошие люди должны жить в одном месте.

Летние вечера в городе — это парк с открытой эстрадой (сад пыток), открытые окна (жизнь на улице), темные бульвары, кабаки с пивом, молчащий телефон и настроение под названием «и скучно и грустно». Милый Лёня, что же мне написать вам кроме этого нытья? Я боюсь писать вам хорошие вещи, вернее, слова. Ведь вам надо работать и ругать Дембо[20], и ездить на футбол, и ходить на «Анну Каренину», а не выслушивать мои стенания.

13-го я уже должна сдать кой-что из эскизов. Хорошенький я буду иметь вид в этот день — я не слишком переутомляюсь на работе. И потом, где, в каких законах написано, что я должна радоваться, когда мне надо делать какие-то пошлые и неясные вещи? Я хочу быть водолазом или пожарным. Это ясная, определенная работа.

Была на просмотре «Дракона». То, что сделал Акимов[21], мне почти совсем не понравилось, а то, что написал Шварц[22], понравилось только наполовину. Лёнечка, вы, когда были в Москве и говорили со мною о Шварце, то обронили такую мысль, что, дескать, вы считаете, что это такой человек (я имею в виду замечательный), что таких людей всего несколько на свете. Мне ужасно хотелось бы знать — серьезно вы это сказали или пошутили? Пожалуйста, напишите мне. Желаю вам дивных премьер, афиш, докладов, лекций, студентов, актрис, квартир и радостей.

Ваша Т. Л.

P.S. А потом я еще поняла, что трудно жить без заступы —

заклюют люди.

Июль.

Милый Лёня! (Или, если придерживаться «дружеского» стиля вашего последнего письма, то «здравствуйте, дорогой друг Леонид, крепко жму вашу руку» и т. д.)

Так вот, «милый мой друг Леонид», я только что закончила делать свою оперетту. Ровно неделю я не выходила из дому (благо у меня был больничный лист, т. к. я прихворнула малость) и сидела, не отрываясь от кресла по 12 часов, немытая, нечесаная и все мазала, мазала и мазала.

Вчера пришел Виноградов[23] и приказал мне кончать и больше не переделывать. А сегодня в 19 час. 30 мин. по московскому времени я омыла руки от краски…

На улице ветер, и дети играют в лапту, на всех балконах флагами развевается белье и птички какие-то целой стаей, как оголтелые, носятся перед носом. Я сижу у окна и все это мне очень хорошо видно. И еще мне очень скучно и тоскливо. Словно кто-то клещами зацепил за горло. Я встретилась у Нины Сухотской[24] (после вашего отъезда) с З.И. и с злым гением моей судьбы Дрейденом[25]. И, как всегда, он вывел меня из себя (видно, обета молчания хватило ненадолго), и я наговорила этой чете массу глупостей и дерзостей. Правда, в свое оправдание могу сказать, что Нина, которой была в диковинку манера Дрейдена «осчастливливать своих друзей», нашла, что я была абсолютно права и любезна. Знаете, Лёнечка, все-таки он сукин сын этот ваш друг и, если бы он побольше молчал, много людей чувствовали бы себя счастливее (и вы в том числе). Но сейчас, как это ни странно, мне бы хотелось повидать Симона. (Вот вам пример изменчивости женского сердца…)

Всякие вещи и рассуждения я вам отпишу по получении вашей телеграммы. Пока только волнуюсь за вас.

Желаю всего доброго.

Т. Л.

Москва. 10.09.38.

Веселая жизнь! Мало того, что Малюгин пишет мне уничтожающие письма мелким почерком, он еще считает, что недостаточно выругался и шлет мне через день продолжение ссоры, запечатав его в конверт и прилепив почтовую марку. Кто сказал, что у этого человека мягкий характер? Кто выдумал этот миф о беззащитности малюгинской души? Это все выдумала я — вечная сумасбродка и женщина, лишенная благоразумия. За то и несу тяжелую кару… Отвечать на ваши письма, милый мой Лёня,

немыслимо. Отбрехиваться не хочу. Как же быть? Приезжайте, поговорим с вами по душам. А знаете, я все-таки могла бы вам состроить липку с этими вашими последними письмами, но нет желания по двум причинам: 1) я все-таки к вам хорошо отношусь, зачем же мне обижать вас ради обиды, ради самолюбия — без пользы для вас? 2) я, признаться, так рада была узнать, что вы (это перо очень плохое и делает кляксы, простите) живы и здоровы и находитесь в Ленинграде. И это мне кажется самым счастливым и самым важным. Я, милый, очень волновалась за вас и вроде даже ночи не спала. И, наконец, Григорий посоветовал мне послать вам телеграмму, а я, дура, стеснялась…

Письма сложная вещь — это я вам давно говорила, но есть некоторые вещи еще сложнее — это сама жизнь… (Это из серии афоризмов Бурлаченко.) Ваши письменные интонации определить почти невозможно, тем более что и в жизни-то они у вас довольно загадочные и невнятные. Обижаться на футбольное письмо — это собачий бред. Кстати, я была еще на двух матчах — «Спартак» — тбилисское «Динамо» и «Спартак» — «Сталинец». И видела, как, бегая по колено в воде, «Спартак» завоевал кубок, и стала такой безумной болельщицей и так все понимаю, что, право же, вы должны быть довольны. Я уже изучила в тонкостях все правила и методы игры, узнаю всех спартаковцев в лицо, кричу «Коля, нажми!» и знаю, что такое «дубль-ве». Одним словом, я образованная и не понимаю, почему бы вам меня не похвалить. <…>

Как, по-вашему, — мы с вами друзья или нет? Вообще, как это называется — такие отношения? Я очень долго ковырялась в себе и все-таки не нашла ничего предосудительного и ничего такого — чего бы я могла стыдиться. На всякий случай, имейте в виду, что я все-таки стерва. Я должна была бы наговорить вам гадостей и как-нибудь ужасно разочаровать в себе, а я этого не сделала и не сделаю. Не хочется очень. Значит, я хитрая? Ну а хитрые — тоже люди. Все мы не гиганты и все хотим жить, пить, есть, спать и видеть в чужих глазах свое отражение. Я же вам писала тогда, что все, что я в силах сделать — это открыть свои карты, я, по-моему, это и сделала. Очень не хочется быть нечестной, особенно с вами.

Черкните мне какое-нибудь доброе слово — о том, что вы не маленький и сами знаете, как жить, и что в моем беспокойстве не нуждаетесь, и что вы знаете — чего вы хотите и умеете этого добиться, ну а если нет — тогда плюете и не горюете. Напишите.

Бог мой — какое страшное занятие быть интеллигенткой! Я вот скучаю без вас.

А театр миниатюр меня зовет и манит, а из нашего меня не

отпускают. И, конечно, этот старикашка (как его звали — Омар Хайам?) довольно правильно сочинил, помните:

Со всеми нами бог играет драмы,
Сам сочиняет, ставит и глядит.

Только это на фиг, мы и сами еще поглядим. Поживем и увидим, что нас ждет впереди. А сейчас я уже сяду рисовать, а мне (это уже не ново) хочется спать. Ужасно обидно. Многое что обидно.

Т. Л.

19.09.38.

P.S. Я сейчас подумала, что ведь я, между прочим, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, нуждаюсь в утешении. Странно, очень странно вдруг понять это в четвертом часу утра, у себя на Староконюшенном переулке в тот момент, когда стоишь перед раскрытым окном и выкуриваешь перед ним папиросу — прежде чем закрыть его на ночь, и слышишь, как где-то далеко завыл паровозный гудок. Завыл и осекся. Он прав, конечно, нечего орать ночью в городе. И не время и не место. Я тоже, пожалуй, сяду поближе к работе, может быть, осенит какая-нибудь роскошная идея?

А жить, знаете, все-таки стоит. Есть в этой жизни какая-то своеобразная прелесть.

Т. Л.

Я дважды перечитала письмо — это сантиментально немного, но, я думаю, — вы не будете хныкать, надо же быть когда-нибудь открытой. А потом это уже конец «душевной муры» — больше мы, как уговорились, не будем возвращаться к изношенной теме «выяснения отношений».

Пройдет время, оно нас подлечит немного и, если мы с вами настоящие люди, — мы еще сможем много и по-настоящему дружить. А если мы просто какие-то пошлые закорючки, а не человеки, то так нам и надо… Итак, будьте умным и молодым — впереди еще жизнь. И не думайте, что я думаю о вас плохо. Я твердо знаю, что вы хороший и вопреки всему на свете верю в вашу жизнь. Не подведите же меня.

Обнимаю вас и желаю вам добра, успехов и милую жену.

* * *

Я думаю все-таки, что легкая жизнь получается не от хорошей

жизни, а от нашего к ней отношения. Для меня, например, невозможна эта самая волшебная жизнь — потому что я человек беспокойный, нудный, нервный и сомневающийся. Как меня утомляет все это, если бы вы знали! Я ведь и сама знаю, что стоит только посидеть минуточку тихо и подумать, и плюнуть на все, и начать поверхностнее и легче относиться к жизни, и она и в самом деле будет веселей и милей. А все волнуюсь, дергаю себя и выхожу из берегов. Поганая я, правда?

Вот вы, Лёнечка, пишете мне разные ехидные записки и обижаетесь на меня за то, что я вам неаккуратно пишу, а вы бы лучше не надувались, а написали бы мне что-нибудь хорошенькое. Сейчас сижу в театре, страшный шум и гам кругом, а мне вдруг захотелось написать вам письмо.

Вы знаете, я сейчас так много работаю, что не имею ни минуточки времени для себя. (А если есть, то оно уходит на какие-то общественные кутежи.) Прихожу домой и валюсь мертвым телом. Это очень трудно работать в трех местах, это просто даже невозможно. Ну вот, меня уже отрывают. Я скучаю без вас — как же быть? Я побежала. Пишите, целую вас.

Т. Л.
14.10.38.

У нас стоят страшные морозы. Я просто плачу на улице от холода. Очень жаль Чкалова. Мне очень запомнилось — я ехала 16-го в такси, предварительно прождав его 30 минут и обледенев до черта. Ехать надо было далеко — на Мещанскую. Попался мне ЗИС, места много, неуютно, как в пустом вагоне. Поджала под себя ноги, подумала о своей нескладной жизни. Страшный мороз проникал снаружи. В дымном от холода воздухе двигались небольшими пачками люди с траурными знаменами. Ни одной живой души не было в это время, кроме спины шофера. Очень грустно было. И вдруг шофер включил радио и с невероятной определенностью возникла музыка. Играли Бетховена. Вся машина наполнилась чистой определенной мелодией. Ясность какая-то необыкновенная наступила. (Я понимаю, что все это ни к чему пишу.) Только, знаете, я когда возвращалась в машине из дому, в который я завозила сверток, я бегом бежала — все надеялась, что застану еще там эту мелодию, но счастье уже кончилось и нормальный бытовой голос убеждал меня, что Чкалов герой. Я и без него это уже узнала.

Вот вы все говорите мне, что я плохо к вам отношусь, а я тут подумала, что если бы вы куда-нибудь делись — это было бы для меня — ну, мягко выражаясь, очень тяжело. Я очень сбивчиво пишу — отвыкла, да и нервы играют у меня, как целый

симфонический оркестр. Не судите меня.

Статью-спор надо почитать, потом говорить. По-моему, может получиться занятно.

Почему вы пишете — «я вас все-таки люблю?» Почему «все-таки?» Нельзя ли мне на это обидеться? Лёня, Лёня, что и говорить, не умею я ковать своего счастья: характер у меня очень плохой. (Это, как нянька говорила, — характерная я очень.) Будьте здоровы, родной, и растите большой. Да пишите.

Т. Л.

Москва. 18.12.38.

Прошло столько дней, а я все лежу и болею и этому, по-моему, нет у же ни начала, ни конца. Сегодня проснулась с ощущением ужасной давности своей болезни, и первый раз за много дней мне захотелось принять ванну, нагуляться вволю, поработать и проглотить страшно много продуктов. (Спать, вы сами понимаете, мне уже надоело.) Пожалуй, это выздоровление. В доме мертвая тишина, я уже привыкла находиться в одиночестве и успела одичать за это время. Мой новый фаворит — котище Яша — развалился у меня в ногах — в позе тициановской красавицы. Его незатейливые котиные мозги, видимо, думают, что я неразлучима с диваном и что ему на всю жизнь уготовано счастье и сон на моих «божественных» ногах. Как вы думаете — коты умеют мечтать?

Я начала понемногу обдумывать свои рабочие задания и пытаюсь рисовать лежа. Сегодня сделала два наброска с Мухи. Она сидит за столом и рисует гусей в подарок отцу, щекой она ложится на стол (так ловчее), рисует она левой рукой и при этом так сопит от усердия, что я, положительно, ощущаю сквозняк. Очень смешная девочка, только детей рисовать очень трудно: все у них как-то закруглено, не четко и хотя и обворожительно, но неопределенно. Характера еще нет.

Лёнечка! Это я пишу просто так. Это, чтобы вы мне тоже поскорее написали, потому что мне грустно становится, когда вы мне не часто пишете. Я все работаю, работаю и работаю — и, пожалуй, это все, чем я сейчас богата.

Я почему-то очень расстроилась прошлым вашим письмом, только не знаю, как нужно на него ответить. Знаю только, что нужно отвечать на него не наспех и очень внимательно и серьезно, а сейчас я на это не способна. Но все-таки я скажу, что статьи писать нужно и писать статьи хорошие. Это не значит, что все в жизни должно быть разложено по полочкам, на этой — то, а на этой — это. Нет, это не нужно. А просто чахнуть себе нельзя позволять, Лёнечка, пожалуйста, не чахните — мне очень хочется,

чтобы вы писали разные хорошие сочинения. Вот и все. Потом, состояние растерянности — это больше подходит к нашей женской психике. Все-таки свет так устроен, что мужчина должен быть решительнее и определеннее нас, дамочек.

А я, знаете, живу плохо и растерянно. Мир, хотя и прелестен, но уж очень похож на карусель, обвешанную добром и злом. Крутится, знаете, такая машина и задевает тебя то плохим, то хорошим. Иногда заест на плохом и ты заскучаешь. Но ведь тоже не век?! А в общем — это все мура, а то, что «всяк своего счастья кузнец» — это вот, пожалуй, правильно.

Я соскучилась без вас. Пишите мне почаще, пожалуйста, и пишите мне разные хорошие письма на 15–20 страниц — я в них очень нуждаюсь.

* * *

Со мной тут произошла история занятная. Я ехала в трамвае — лопающемся от людей. Стоял стон и ругань. Было душно, как в противогазе. Кондукторша одичалым голосом призывала к порядку; около выхода беременные и новорожденные орали похожими голосами; ущемленная дверью поблекшая блондинка рыдала, краснела и приобретала свой «первоначальный» вид. Подгулявший семьянин дышал на меня перегаром, сзади кто-то упорно принимал мою спину за забытый дома носовой платок. Рыхлая девица (Пуся № 2) трудолюбиво проламывала мне бок своими покупками. Зажатая в этом треугольнике, я теряла сумку, перчатки и присутствие духа. От крика стоял туман. Орали все разом — на соседа, на кондуктора трамвая, на невинных деток, на всех сразу, на жизнь и на все на свете!

И вот среди этого содома я, уже чуть живая, подняла глаза к Богу и… обалдела — прямо на меня двигался волжский пароход. Нос рассекал воду, по бокам шла волна и кружилась пена, на палубе толпились улыбающиеся, спокойные, хорошо упитанные люди, в дверях стоял «у вас лужа-с» и плевал на тарелку, а на носу развевался алый флаг с «Памяти Гурьянова». (Словом, все было, как живое — старательный художник вывел даже сетку на палубных перилах.)

Я обмякла, простила и своих соседей и неласковую жизнь. Подумайте только — какое-то обыкновенное учреждение, рекламирующее линию Москва — Уфа, догадалось, что символ покоя — волжский пароход. (А я-то, дурочка, не могла додуматься до этого сама.)

Вы не угадали, Лёня, никакого у меня блаженного состояния

нет и отдыха тоже нет. На носу висит вторая программа, в которой мне, видимо, придется работать более интенсивно, чем «в содружестве с Рыклиным[26] и Тумановым[27]». Кстати, эта работа носила настолько аварийный характер (у нас комитет снял одну миниатюру) и случайный, что я даже сняла свое имя с афиши, но в «Советское искусство» информация все же проникла (ваш брат журналист ведь на ходу подметки режет). Вы, наверное, и знаете об этом из газеты? Да? Типот психует и ругается с дирекцией, и неизвестно, будет ли ставить вторую программу. И вообще ничего неизвестно. Будущее темно и непонятно. Программа (первая), как я вам уже писала, — мура. На трудные условия, как это делает Типот[28], ссылаться нечего. Но ясно, что сразу такие вещи не делаются. Нельзя в два месяца создать новый театр.

Работы, Лёнечка, очень, очень много. Трудно работать в трех местах. Что и говорить, трудно. Если к этому еще прибавить, что в театре миниатюр не люди, а звери, и что я очень мучаюсь от этого — будет, пожалуй, и все о работе. Хватит!

Милый мой, как вы справедливы и вместе с тем несправедливы в своих упреках, обращенных ко мне. Конечно, вы правы, ругая меня за некоторую внешнюю небрежность. Письма я вам пишу не по инерции, это неправда, но уклончивые — это так и есть. И подумайте сами, что я могу еще сделать. Зачем мне смущать ваш душевный покой? Только помните — я вам когда-то писала, что как бы я с вами не обращалась, что бы вам не писала, — вы не забывайте одно, что я отношусь к вам хорошо.

(Без даты)

* * *

Я тоже хотела бы придти к вам в гости… В морозный зимний вечер, или летом, когда будут открыты окна и в сумерках можно вести негромкий разговор, или весной, когда, вымокнув до нитки под дождем, — сидеть в ваших ботинках и проклинать жизнь простуженным голосом, и заедать проклятия хорошим антоновским яблоком… Да, каюсь, я тоже хотела бы иметь возможность и право проделать все эти упоительные визиты.

Хотя, знаете, жизнь велика и еще много впереди разных зим и весен — лишь бы мы с вами остались бы хорошими людьми, не изоврались бы и не растеряли бы друг друга в этой игре в жмурки, когда в неразберихе можно поймать совсем другого человека.

Сейчас в Москве опять зима, но тут один день был просто

весенний — и солнце, и цветы, и воробьи, как оглашенные, скакали, и я решила, что жить необходимо и стоит жить на этом свете и именно на этой земле.

Письма Чехова я не читала. Дали бы почитать.

Дорогой Лёня, получила я ваше письмо и тоже как-то немного расстроилась. Я подумала — как быстро мы, люди, умеем засорять нашу жизнь и наши отношения. Мы надуваемся с вами — от письма к письму. Вы — за то, что я не пишу оттого, что работаю по 14 часов в сутки, я — за то, что уговариваю вас не чахнуть (тоже дура порядочная), а вы заявляете мне, что и не думаете этим заниматься. Все это очень несуразно.

Мне кажется, что надо взять за основу одно — что мы относимся друг к другу хорошо (не учитывая никаких равновесий). И это главное.

И не так уж часто встречаются в жизни отношения — бескорыстные, не лживые, доверчивые и, если хотите, нежные. Это надо беречь, в это надо верить и не надо сбивать себя — ни письмами, ни разговорами, ни любыми случайными обстоятельствами. Очень обидно будет, если все это засорится, обрастет всякими обидами, недоверием и озлобленностью. Это уже будет конец нашей дружбы, потому что в таком виде в ней ни вы, ни я не будем нуждаться. Это не значит, что нельзя вам или мне обижаться или ругаться — но только надо помнить, что мы относимся друг к другу хорошо, и это должно быть точкой отправления, а не всякие там настроения (я не знаю, понимаете вы или нет — о чем я говорю?).

Теперь дальше. Хорошо вам писать мне разные вещи про платформные разговоры, мою невнимательность и т. п. Вы даже имеете полное моральное право (я вам завидую даже) упрекать меня, в чем хотите. А я не могу этого делать.

Поймите, глупый вы человек, мне бесконечно труднее, чем вам. Поймите простую вещь: я не хочу питать вас надеждами и иллюзиями, я не хочу портить и осложнять вашу жизнь. Я не хочу время от времени подбрасывать вам кусочки нежности только для того, чтобы удерживать вас около себя. Я не хочу играть с вами в жмурки. Потом у меня есть своя жизнь, в которой я тоже (если я ей живу), хочу быть откровенным человеком, хорошим товарищем, не предателем…

(Без даты)

1939 год

Вы все пишете правильно, со своей точки зрения, к

сожалению. Хотя я и не требую от вас какой-то особенной интуиции, чтобы за сотни верст могли влезть мне в душу и понимать меня на расстоянии. Я гораздо мягче вас в этом отношении.

Давайте условимся так: я буду писать вам «естественно», т. е. всякую муру, а вы не будете судить меня строго. Хорошо?

Так вот — Шарль Нодье сказал, что лишь людям заурядным пристало негодовать на судьбу, благородное сердце не боится ее ударов. Я все хочу внушить себе, что у меня благородное сердце, но это что-то плохо получается.

Лёнечка, не ждите от меня ни разумности, ни аккуратности, ни вообще ничего хорошего. Я разваливаюсь на составные части. Ничего я не знаю, ничего я не хочу, словом, у меня убийственное настроение и состояние и, мне кажется, что этот период надо переживать как карантин — как если бы я была больна чумой. Очень жалко, что жизнь складывается так, что невозможно отсидеться где-нибудь в пещере совсем одной месяц-другой.

Я работаю очень много — вот и все, что можно сказать про жизнь. Описывать это не стоит, потому что вы ведь знаете, как я работаю. Сперва увлекаюсь, потом ною, потом прихожу в восторг от собственной гениальности и, наконец, в ужас от сотворенного.

Так вот и сейчас — все, что уже сделано и что нельзя уже переменить — кажется мне дурным, неправильным и робким. Словом, это сказочка про белого бычка… Это просто удивительно — как мне удалось выхолостить себя за этот год. А вы говорите писать. Чего уж тут писать, тут уж лучше скромно помолчать.

Не верю я никому и ничему, и на все мне наплевать. И сама я кажусь себе такой дурной, что вот даже если вы ругаете меня — мне как-то все равно, а если пишете, что любите меня, — я даже не всегда верю. (Не злитесь, мы же уговорились про естественность.)

А у кого, скажите пожалуйста, найдется столько терпения и души, и любви, чтобы возиться со мной и возвращать это «хрупкое растение» к жизни? (Я советую вам подумать об этом крепко, вам сразу станет свободнее и легче жить. Я не кокетничаю.)

Все зависит от меня, конечно… Только вот горе — я сама от себя не завишу. Не получается! Я же вам говорила, что переживаю запоздалое «повзросление». Это очень трудно — формироваться на тридцатом году жизни. Этим надо заниматься в 16 лет.

А сколько поганых людей вокруг, Лёнечка, просто и не пересчитать. Я все вспоминаю Андерсена. Подумайте, как это он мило придумал про мальчика Кая. Вот и со мной случилось что-то в этом роде. (Помните «Снежную королеву»?) Только не

смейтесь, ради Бога. И не думайте, пожалуйста, что я совсем спятила с ума. Нет, уж я как-нибудь продержусь, хотя «локтей» вокруг меня не так уж много.

У бедной Ниночки-сестрички второй месяц больна Маринка[29] и очень серьезно. Мне жалко ее очень, она тоже сидит дома с воспалением среднего уха.

В Москве — день весна, день зима. На душе мрак. Театр миниатюр выпустил 2-ю программу. Когда вы приедете? Пишите мне. Я не буду скрывать — ваши письма мне очень нужны. И радуют меня. Пишите.

Т. Л.

Москва. 20.02.39.

Я вам скажу откровенно, милый мой Лёня, что я такого удовольствия, как сегодня, давно не получала. И все, что бы я ни стала писать, — все это будет типичное не то.

Знаете, так бывает, когда узнаешь или увидишь что-нибудь новое — и вроде как с тебя шкурка слезает. В общем, отпадает все наносное, не твое и, наоборот, открываются все твои лучшие чувства. Выползают наружу.

И всего-навсего я была на просмотре «Сказки» в 3-м детском театре. Из всего, что я видела в этом году, это самый лучший спектакль. Этот и «Павел Греков». И Светлов[30] — молодец, и Пыжова[31] — молодец, и актеры — молодцы, и художник — молодец. Все — молодцы. Одна я — дура. Все хочу расти в высоту. Так можно сделаться тоненькой-тоненькой и высохнуть под конец. В высоту не надо стараться расти, в высоту люди вырастают без старания, сами по себе. А надо корни поглубже пускать и в ширину — все кругом окапывать. Вот тогда, может, получится толк.

И кто это сказал, что я художник? Велите этому товарищу заткнуть глотку. Я сапожник, а не художник. Заниматься украшательством еще не значит быть художником. Для глаз чтобы было приятно — это будет потруднее. Ну, хватит о себе.

Все я да я. На все голоса и при каждом удобном случае ору о себе.

Лёнечка, это очень хороший спектакль. Я пишу лежа, уже легла спать и очень устала, потому что в течение 2-х часов — в лицах — рассказывала всю пьесу Григорию.

Ваше длинное письмо читала очень долго. Это уже — шедевр вашего почерка. Я так до сих пор не разобрала, например, почему Коварский[32] счастлив, а вам нельзя мешать его блаженству. Точно, это таю «глупо мне мешать его минутному блаженству», «хотелось… было… ибо это человек не ограниченный, с известной

долей скепсиса. Я поглядел потом на Лид. Петров. и подумал…» и т. д. Вот и разберись тут, что к чему. Я уж и щурюсь и разные варианты выдумываю — ничего не выходит. А интересно — в чем там закавыка в этом минутном блаженстве…

Мои новости таковы: 1. Скоро я умру от переутомления. (Есть такая заразная болезнь.) 2. У меня ремонт (грязь на 2 недели, целый день стучат мастера, живу на потолке, работать негде, не надеюсь дожить до чистой отдельной комнаты). 3. Я расплевалась с театром миниатюр, безумный восторг и, как мне кажется, с обеих сторон. 4. Я заваливаюсь с «Лгуном» Гольдони (везет мне в этом сезоне на лгунов) — мне мала сцена. Не хватает нескольких метров для воплощения моих гениальных идей. Как тут быть? Что вы думаете на этот счет?

Я сегодня получила ваше письмо и пришла в панику — что это за бред? «Приглашаем вас на разговор» — ну это еще куда ни шло, (хотя я бы ни в жизнь не пошла на собрание, загримированное под разговор), а вот, что разговор начнет Л. Малюгин — это меня сразило. Умоляю вас — начинайте, что хотите: доклады, статьи, лекции, «слова», речи — только не «разговор начнет Малюгин». Или, если уж начнете, во-первых, скорее его кончайте, а во-вторых, подробно мне опишите, как вы его начали. Умираю от любопытства.

А у нас в Москве — весна! А в Ленинград я опять не знаю — попаду ли, и «Лгун» мешает, а потом этот ремонт оказался такая прорва, и я ухлопала в него все свои деньги, и нужно опять трудиться. А мне надоело трудиться. Мне бы хотелось мало-мало, но хорошо, хорошо работать, а чтобы денег платили много-много.

А у вас, барин, тоже описочка в письме была «так себе» (между прочим, у меня то была, действительно, орфографическая ошибка, я написала ни, а потом другой ручкой, не самопишущей, переправила, так что можете не ехидничать), успокоив меня, что я не похожа на матушку Нины Эфрос[33] — вы написали, что это вас перепугало, а потом вставили не. Вот видите? А если еще Фрейда вспомнить — совсем вам конец придет.

Небо очень синее и весеннее, а дни холодные — отчего это? Ведь уже должно быть тепло. У меня отваливается рука, 5 часов, а завтра работать. И потом очень хочется спать — я все равно не выдумаю ничего умного.

Лёнечка, будьте здоровы.

Т. Л.

2.03.39.

P.S. Добрым словом я вас буду вспоминать не только во время вашего «разговора», а вообще я вас вспоминаю добрыми словами и мыслями.

* * *

Вы понимаете — я сегодня, воспользовавшись, что я больная и что мне не надо идти в театр, целый день возилась и убиралась (сегодня кончили работать штукатуры — это первая часть поэмы о ремонте — и грязь вывозили на тачке), и все думала: вот кончу, достану чернильницу, бумагу и в тишине и покое сяду писать Лёне письмо. И написать вам хотелось много и обстоятельно и, главное, было что написать.

Но вот настал этот желанный час, я сижу за столом, а мысли мои разбежались (как это все-таки обидно — переписка) и меня одолела страшная усталость. Надо простить меня — ведь все-таки я больная. Вчера я заснула очень рано и проснулась в пятом часу утра. Горел свет. Я оглянула знакомый мне пейзаж — бочка с известкой, лестницы, доски и т. д. и вдруг рядом с подушкой возникло ваше письмо. Это было как с того света. В общем, это было очень приятно. И вот я стала его читать — еще очумелая от сна. И очень быстро мне стало стыдно. Стыдно, Лёнечка, ужасно.

Я, конечно, могла бы и не писать вам об этом, но, по-моему, лучше уж признаться во всем откровенно. Это о статье. Вы знаете, Лёня, я ведь ее не читала. Это очень обидно, конечно. И вы напрасно ехидничаете со статьей о театре миниатюр, т. к. я не читала и ее. (Стоит ли мне говорить, что меня ваша фамилия на страницах газеты (Л. Малюгин) гораздо больше радует и волнует, чем театр миниатюр.) Это вы и так, по-моему, знаете. Случайность или небрежность это? Пожалуй, случайность, видимо, этот номер от меня ускользнул, но не в этом дело.

Дело в том, что я вот сейчас думаю, что я мало волнуюсь за вас. Много думаю, а волнуюсь мало. Вот что плохо, по-моему. Много думаю о вас, но как-то в связи с собой, а не то, чтобы только о вас, вашем деле, ваших «разговорах». Я подумала об этом, и мне стало как-то безнадежно стыдно. (Не знаю, к чему я все это пишу и растягиваю так длинно, но, я надеюсь, что выудите из этой муры хоть крупинку огорчения…) Нет, у меня, явно, не получается письмо.

Теперь относительно «Сказки». Лёнечка, я не очень знаю, какая это пьеса в читке, скорее всего плохая, но спектакль очаровательный. И еще я хотела сказать, что вы не правы, когда судите об искусстве с профессиональной, а, следовательно, всегда зауженной точки зрения. Повторяю, я не читала вашей статьи и не знаю ваших доводов, но, мне кажется, что искусство заключается не в том, чтобы создать идеальную вещь, к которой «не подкопаешься». Иногда сталкиваешься с вещами далеко не совершенными, но они волнуют тебя и тревожат. А главное —

тревожат, это очень важно шевелить человека. (Это, наверное, и есть искусство, а?) Совершенство, конечно, вещь прелестная, но редко встречающаяся. А вот очень важно, когда вещь революционная (это в смысле смелости, прогрессивности). Важно, когда художник смело и ответственно, не боясь риска — открывает всем свои мысли и мечты. Это я люблю. Это пленило меня и в «Сказке» и в «Грекове». А что «Павел Греков» безнадежно слабая пьеса — неужели вы думаете я это не заметила? просто даже ни к чему это объяснять ни вам, ни мне — и незачем тратить на это такую красивую бумагу. Просто обидно даже стало, что вы мне это объясняете. И, конечно, эта пьеса сугубо злободневная (на 3–4 месяца), но тема поднята ответственно, смело, мужественно (это вам не Карасев) и доходит не своим формальным совершенством.

Скажете — это не искусство? Ну, милый мой, когда куча людей после этого зрелища становится лучше, когда каждый человек, уходя домой, волнуется, вспоминает свою жизнь и переоценивает свой характер и мировоззрение — это все-таки искусство. Пускай примитивное, но агитирующее за большое дело.

Вообще нельзя быть белоручкой. Вот и Светлов — он не побоялся, что его обвинят в слащавости (и, заметьте, не стал писать традиционные пьесы в стихах), не побоялся считать действительность романтичной — и я ему в этом верю. И потом, что меня особенно пленило — это то, что романтизм этот наивный, детский. И когда смотришь спектакль — все детство (все-таки самая лучшая пора) встает перед вами во весь рост. Просто удивительно. И надо быть большой чистоты человеком, чтобы так возобновить свое детство, как это сделал Светлов. И потом, как естественно (и нахально) люди начинают говорить стихами. Нет, он молодец.

Пускай все детские книги собрались и столкнулись у него в этой сказке, пускай Андерсен лучше, но все-таки все детские театры ставят разные там Лукоморья да Томов Кэнти, да разную классику или слюнявые сказки, а тут какое-то правильное зрелище было показано.

Любой ребенок, конечно, любит всякие зрелища, но в глубине души он мечтает о детективном, полном необыкновенных приключений, страшном, наполненном большими, опасными и необыкновенными чувствами спектакле. И потом — он мечтает о мужестве. Вспомните Тома Сойера, почему мы все — и мальчишки, и девчонки, и взрослые — так любили эту книжку? Потому что, по-моему, там есть эта вечная и необходимая нам (в особенности в юношестве) тема. Тема мужества и нежности.

Вот вы написали хорошую статью о Казико[34] и назвали ее очень хорошо. И вот «Сказку» можно, по-моему, назвать «Мужество и нежность». А написана она, может быть, и не очень хорошо — не заметила.

Между прочим, театр, главным образом, Пыжова — очень сильно сократили пьесу (так мне передавали) и здорово ее вытянули…

Я очень плохо себя чувствую, Лёня, у меня жар и поэтому я так глупо и длинно пишу. Простите меня. И постарайтесь понять что-нибудь. Мне все кажется, что жизнь такая большая, мы в нашей сутолоке видим всегда ее не всю, и я так бываю благодарна людям, которые, если и не открывают новое (мир, конечно, давно открыт), то хоть возобновляют забытое и утерянное. Как-то свежеешь от этого. Вы понимаете меня?

Такой ужас эти письма, кричишь вам, как глухому, а вы уже давно скучаете от моей монотонности.

А на газету вам нечего обижаться — это все чепуха. Вы ругали пьесу, а Паустовский[35] хвалил спектакль. Это все разные вещи. Глупый вы какой-то — не расстраивайтесь. Право же, надо проще смотреть на вещи.

А «Сказку» я прочту — может быть, тогда я с вами соглашусь. Что же касается 30-ти лет (только, ради бога, не подумайте, что это утешение), я вам давно хотела сказать, что один из ваших основных недостатков — это ваша молодость. И, чем старше вы будете — тем станете лучше. (Для меня, по крайней мере.) Но должна вас разочаровать, что 30 лет — это еще непростительно мало.

А Цымбал[36] ваш все-таки порядком опустошенный человек (это между прочим). А Гурвича[37] я так и не прочитала. Вот и Григорий все очень хвалит этого самого Гурвича. А где же я возьму эту самую книжку? Лёня, как мне найти вашу статью о «Сказке», когда, в каком месяце она была напечатана и где? В Сов. иск.? Напишите мне, пожалуйста.

Нет, все-таки позор — мужчина и горюет, что ему стукнуло 30 лет — наверное, все подытоживаете пройденный путь? Глупости все это. Что нам, бабам, тогда делать? Умирать?

Теперь в порядке самого подлого оправдания — о «разговоре». После того как я отправила вам письмо (а у меня, знаете, есть ведь эта самонадеянная поспешность), до меня дошел этот «разговор». Лёнечка, вот честное слово — не вру. Только я подумала, что такие вещи доходят «на словах», а не в напечатанном виде. Правда? Задушевность теряется и превращается в смешное. Есть ведь такие слова, которые надо слышать, а не читать. Да? Насчет денег благодарю, но ведь вы

знаете — я долгов терпеть не могу. И хоть вы смеетесь с этого, но так ведь и есть.

У нас тоже, к сожалению, зима и 10 градусов мороза.

Лёнечка, почему она не сохнет? (перегородка). И, говорят, она высохнет только к первому числу, а красить и белить ее можно только, когда она станет совсем сухая. Правда, очень обидно. Все-таки мне очень хочется поехать в Ленинград. И, может быть, я это сделаю.

Вы как-то написали мне, что ленинградские (и вы вместе с ними) собираются с ответным визитом в Москву. Напишите мне, пожалуйста, состоится ли — и если состоится, то когда — этот приезд. Мне, по некоторым соображениям, очень важно это знать. Я вам потом объясню, в чем дело. И потом еще одно дело. Лёня, спросите при случае у кого-нибудь, что это правда, что в Ленинграде можно легко и спокойно купить электрический счетчик или все это утки. Хорошо? Ну и сами понимаете — ежели это правда и вы таковой увидите — хватайте его немедленно и сразу попадете в мои благодарные объятия. Деньги и слезы благодарности тоже будут немедленно представлены. Узнайте, пожалуйста. Только прошу вас — не рыскайте по городу в поисках мифа, я тогда просто обижусь на вас. Слышите?

Мне не очень нравится, как у меня получается Гольдони (хотя режиссер в восторге, но она — дура), по-моему, все это робко и малоинтересно. И я очень огорчаюсь.

А жизнь идет как-то страшно быстро, и мне даже страшно становится — вот, когда я все переделаю, что же у меня останется? Пора спать.

Что же касается моей жизни, то фотография моя в силе и по сегодняшний день.

Пишите почаще, честное слово, весь мизинец ободрала: по 5 раз в день все просовываю его в почтовый ящик. Почему вы небрежничаете так?

Т. Л.

Москва. 11.03.39.

Я поправилась и выхожу, но толку от этого немного. 30-го у меня премьера «Робин Гуда», а 25 апреля «Лгуна» Гольдони и еще всякие мелкие делишки. Хотя работы сейчас относительно немного. Вся первая половина апреля тоже будет довольно свободная. Только я уж очень дохлая. Сейчас сижу у брата, выдрала из его записной книжки листики и пишу вам кусочек письма. Я не могу похвастаться особенно бодрым настроением духа, но, я надеюсь, что все это не вечно. Ремонт мой из-за болезни еще не окончился. Надоело ужасно.

Лёнечка, вы читали «Пятую колонну»[38] в первом номере «Иностранной литературы»? Если нет, то поспешите прочитать — это любопытно. И про Генриха 4-го тоже.

У нас началась довольно бурная весна. Я смертельно хочу хотя бы немножко отдохнуть. Так, чтобы ни о чем не думать. Только о небе, земле, деревьях и вообще только об этих вещах, которые называются природой.

Слишком много было удач, неудач, тревог и забот, и всяких штук за эту зиму. И людей тоже было слишком много — и все они какие-то проходные. Какие-то шумные и лишние. А время бежит — и утраченное время это, пожалуй, еще грустнее, чем иллюзии. А по-вашему? Хотя не жалко!

Пишите мне большие, длинные, хорошие письма.

Т. Л.

Москва. 27.03.39.

Дорогой Лёня! Пожалуйста, не думайте, что я хоть на минутку забыла о вашем существовании. Этого не было, просто мне очень солоно пришлось это время. (На бедного Макара все шишки валятся. Н.Ш.) Почему у вас мрачное настроение? Вы все еще расстраиваетесь по поводу этой литературной кутерьмы? Полно, не первый и не последний раз все это случается. Я уже вам говорила когда-то, что за битого двух небитых дают.

И потом в некоторых случаях жизни нужно быть похожим на черепаху. Важно только главное, основное — и если в этом главном вы чувствуете себя правым — все остальное — чепуха. Плюйте на все и приезжайте скорее в Москву, я очень жду вас.

Я хотела послать вам фототелеграмму (накануне получения вашей) и даже написала ее и встала в очередь, чтобы сдать, но потом передумала. Тоже очень мрачно была настроена. Да потом я решила, что это ведь тоже не утешение: не огорчайтесь, да не обращайте внимания и все такое прочее. Утешение должно быть действенным. У меня были трудные времена. Сейчас все более или менее образовалось.

Приезжайте, обо всем на свете поговорим. Ремонт мой тоже уже подходит к концу, и я сижу уже в «своей» комнате и пишу вам письмо за «своим» столом. Шлю вам привет, милый.

Т. Л.

Москва. 14.04.39.

Вы стали требовательны, нетерпеливы, заносчивы и небережливы. С колоссальным трудом я отмахиваюсь от ваших недостатков и берегу достоинства. Мне иногда кажется, что вы любите не меня, а свою любовь… Есть у меня любимое письмо от

вас, прошлогоднее. Я его люблю не только потому, что оно хорошее, а еще и потому, что после этого письма вы уже перестали относиться ко мне бескорыстно. Вы стали требовательны и забыли про меня… Мне безумно больно, что вы там где-то страдаете, и мне кажется жестокой несправедливостью — если вы так ждете моих писем — огорчать вас рассказами о моем состоянии и упрекать вас в чем-то. Только я это делаю от доброго отношения к вам и к нашей дружбе.

Так уж случилось, что я строю свои отношения с людьми на доверии. Я, доверяя вам, доверяю все как есть целиком — и горечи свои, и обиды, и свои недовольства вами, и разочарования, и трудности. Ничуть я не хочу забежать со спины и уколоть вас, унизить. Что мне таиться перед вами? (Ведь я ни на шутку считала вас своим другом.)

Вы же знаете, как я себя стыжу за многое и не считаю себя хорошей. И если я выговариваю вам, то это не по праву лучшего, а по праву любящего и, что уж совсем ответственно, по праву друга. Мне все-таки очень грустно и, знаете, милый, мне как-то нет никакой охоты жить…

Я подумала сейчас, что это ужасно противоестественно — во всех случаях жизни — что вы живете не в Москве. Даже, если бы мы не виделись неделями — все равно противоестественно. Даже если бы раздружились, хотя в это мне как-то не хочется верить. Неохота. Дружба это все-таки большое счастье.

Я предлагаю вам беречь всякие отношения, хотя бы мало-мальски похожие на дружбу. Это прочные и радостные отношения, и потом это отношения, которые кладутся в основу всем другим. Это база…

Я получила вашу фототелеграмму и все думала о ней. Дело в том, что мне показалось, что там проскользнула тень, знаете, такого тонкого юмора. А по-нашему — насмешка. Это правда? Или она была составлена простодушно, и все мои подозрения ни что иное, как плод больной фантазии? Меня, во всяком случае, это очень обескуражило, так как я очень привыкла доверять вам, а если вы не можете принять моей внимательности так, как надо, то, пожалуй, и слепому моему доверию — конец.

Разъясните мне все это, Лёнечка. Я все пишу и пишу и, кажется, скоро сойду с ума от этих страниц и чернил, и мягких знаков. Остановите меня. Очень хочу вас увидеть, хотя это письмо все же в какой-то мере заменило мне разговор с вами. Больше не буду писать такие письма. Не буду вас мучить… Что же вы находитесь так далеко?

Пойду лягу, а то душа расстается с телом. Очень уж я умучилась этим письмом. Пишите. Если от меня не будет писем

— не огорчайтесь, и не корите меня — это не небрежность, я болею.

Т. Л.

05.08.39.

<…> И это не ересь, как вы пишите, а сущая правда. Это я не в том плане написала, кто из нас лучше или интереснее, а просто я хотела сказать, что вы заносчиво, небережливо относитесь к моим с вами отношениям и что вы поспешно и нетерпеливо требовательны. Вот и все. Разве это непонятно? С вашей встречей в Плесе — это тоже мура. Хотя гордячка, как вы изволили заметить, я, действительно, порядочная, но это не имеет никакого отношения к вашему приезду. И вообще, вы меня, как мне кажется, не поняли по всем основным пунктам, так что и бессонная ночь, и разные роскошные идеи пропали, временно, даром. Но это все дело поправимое. Приезжайте скорее, я гарантирую вам более спокойную жизнь.

Я много, очень много о вас думаю и искренне хочу помочь вам и позаботиться о вас. Какой бы вы не были нескладный — все-таки я ведь выбрала вас в друзья из многих других людей…

Я по-прежнему ни черта не делаю, но лежать на животе и кричать «караул» на всю вселенную мне тоже уже осточертело и я подыскиваю себе занятие более действенное и более достойное. С работой у меня на редкость безрадостные перспективы. Просто давно уже не было такого захолустного и убогого сезона. И это меня тоже очень расстраивает. Мне никто ничего не предлагает, а проявлять инициативу самой — как-то нет ни желания, ни сил.

Газеты и «Последние известия» приводят меня в трепет. А, в общем, жизнь — копейка… И я надеюсь еще когда-нибудь увидеть небо в алмазах. Но это уже по привычке и из озорства, а не от желания и уверенности.

Словом, Таня стала старая, мудрая, грустная и полоумная… В комнатах — холодно, на улице — тоже. А на сельскохозяйственной выставке и на стадионе уже настоящая осенняя осень. Солнце не греет, холод холодит, дождь мочит, ветер продувает и листья летят. Но, к счастью, мир устроен так, что имеет четыре времени года, которые в угоду нам — старым истерикам — меняются четыре раза в году (а не в жизни). И это очень мило. Пишите и приезжайте. Буду ждать вашего приезда.

Т. Л.

13.09.39.

P.S. Какие такие дела вы задумали? Меня разрывает на части от любопытства. Напишите уж поскорее. Статью посылать вам не буду — вручу самолично. Сегодня уезжает брат. Сейчас пришел

прощаться в военной форме и не дает мне писать.

* * *

Милый Лёня! Здесь все на месте, все по-прежнему, вот только вас нет, но… вы сами виноваты в этом. Я обежала всю округу — немного пустынно, запущено, домики стоят холодные, и желтая листва без конца летит по ветру. В доме, где вы снимали комнату в первый год, из вашего окна выглядывала бледненькая девочка и звала козу Мурку. Дом же, как и был, — половина белая, половина желтая — только лавочки уже нет.

Мы очень долго ехали сюда на пароходе и приехали только 27-го числа. Все время было солнце, и Волга и небо были очень синие. Сегодня серенький денек, и мы с Леной[39] обрадовались ему, как лучшему другу, т. к. писать при мягком свете интереснее.

Я много работаю и стараюсь ни о чем не думать. А живу я в комнате над столовой и сплю на той самой кровати, на которой лежала в то лето с больной ногой, и могу смотреть в окно на дорогу, по которой вы вышагивали после мертвого часа с книжкой и газеткой под мышкой.

Иногда мне кажется, что жизнь остановилась, иногда — что кончилась, но чаще всего я испытываю животную радость оттого, что меня никто не мучает и оттого, что я ни о чем не думаю. Я оставила в Москве ваш домашний адрес, очень неприятно писать на театр. Шлю вам нежный привет.

Т. Л.

Москва.

P.S. Не забудьте послать зубной докторше билет. В Отрадном я еще не была, но пойду туда обязательно.

Вы знаете — я пришла к выводу, что с годами люди становятся зрячими, а то молодость застилает им глаза. Напишите мне — как ваши успехи в жизни.

P.S. А насчет того, что Т. А. Луговская — это сложный организм, я думаю, что чем сложнее организм, тем более простые страсти им владеют.

21.11.39.

Милый Лёня! Все ругаетесь на меня, все ворчите. Нет того, чтобы простить великодушно. Право же, мне нечего написать вам нового — жизнь моя скупа приятными событиями. Работаю по-прежнему с большим усилием, самочувствие отвратительное, о настроении, пожалуй, благоразумнее будет просто умолчать.

Новостей особенных нет, вот разве только что начала работать с натурщицей, регулярно, два раза в пятидневку.

Работаем втроем — я и еще 2 художника, хорошие и талантливые парни. Рисуем по три часа подряд, злостно завидуем друг другу.

За окнами рано темнеет и все время наискось несется первый снег, удивительно легкий, какой-то совершенно невещественный и растворяющийся в воздухе. Такой, знаете, заунывный пейзаж…

Звонил Дрейден и кудахтал в телефон что-то нечленораздельное. Как с того света. Звал куда-то в клуб, но я не такая дурочка, чтобы идти.

Голова моя набита до отказа разными новыми идеями, пока еще довольно туманными и заумными. А в общем, все это мура. Очень бы хотелось поговорить с вами об «Учителе»[40]. Я осталась при особом мнении. Итак, жизнь продолжается.

Т.Л.

27.11.39.

P.S. Не дежурьте, пожалуйста, по ночам в редакции, а то мне становится очень грустно.

1940 год

…Неправильно вы живете, и любовь ваша неправильная, где-то не подошла она к жизни. Мы не можем сейчас понимать друг друга. Мне пришлось этой осенью пережить большое горе — мало кто знал об этом, и сейчас мне особенно ясно (как это всегда бывает после того, когда человек особенно себя пережил), что тот бульон, в котором вы кипите, состоит из чувствований, переживаний и иллюзий, но никак из страстей, желаний и решений.

Жестокая ваша ошибка… Вы пишете, что хотите помочь мне, вы не помогли мне своим письмом. Да и не надо мне уже помощи (и это не от гордости, поверьте, пожалуйста), потому что я уже помогла себе сама. Я живу так, как мне хочется — иначе бы я так не жила. Вы знаете меня — хоть немножко — полегче я жить не могу, так уж, видно, на роду мне написано, но компромиссов (а это для меня самая большая тяжесть) я в душе сейчас не держу и беседы за чайным столом мне приятны и радостны. Мне стыдиться нечего (пережито уже все и письмо было, действительно, исповедью), потому что я самостоятельно и независимо, без вранья и самообманов делаю свою жизнь. Могут быть ошибки — с кем не бывает, — но вранья не потерплю.

А жизнь бежит, бежит вперед, и сомнения мои уже другие,

чем были еще недавно, и трудности уже не те. И жалеть мне не о чем, и укорять некого, потому что все, что сейчас есть в моей жизни, — все сделано моими руками (моя нянька говорила: что потопаешь, то и полопаешь — вульгарно, но очень правильно).

А люблю я вас вовсе не за вашу любовь ко мне — кстати, ваша любовь мне как раз вовсе не очень нравится, а за то, что мне приносят много радости мои отношения с вами, не в смысле безумного веселья и легкости, а радости оттого, что я становлюсь лучше, глубже и больше. Я расту и берегу (и всячески оберегаю от вас) поэтому дружбу мою с вами, тем более что и вы, по-моему, не стали за это трудное время хуже и мельче. Конечно, если бы я смотрела на нашу дружбу так заунывно, как вы, — я бы ее давным-давно не имела. Да, я укоряю вас за то, что вы со мной не поговорили, потому что вы же сами сказали, что вам необходим этот разговор, а потом описываете мне, что мы заговорили да записали наши отношения. Что это за непоследовательность и невзрослость? Спросите меня, о чем хотите, обо всем, что вас мучает, — можете даже составить анкету — вы же знаете — я отвечу прямо, и вам ясней и легче будет жить, потому что так, как вы живете — жить нельзя. Нельзя жить на приливах и отливах своих надежд и разочарований. Если вы не понимаете меня достаточно, — переспросите или хотя бы намекните, потому что я всегда вам помогу.

Письмо ваше нехорошее. Меня-то вы, может быть, не хотели в нем обидеть, но мою жизнь хотели. Поймите же, что я и моя жизнь — это одно и то же…

Я живу очень трудно, работаю не по силам и заматываюсь предельно, но обо всем этом напишу потом, в другом письме.

Спасибо за телеграмму и за память. Обнимаю вас.

Т. Л.

Москва. 2.02.40.

Лёнечка! Какая страшная вещь жизнь. Сегодня наконец вырвалось два часа свободного времени, я села писать вам письмо и с ужасом увидела, что ваше письмо датировано 12-м числом (!) И, что самое горькое, когда я его перечитала, оно мне вдруг показалось гораздо человечнее и важнее, чем раньше. А самое неприличное, это то, что у человека (я осмеливаюсь называть себя человеком) нет буквально ни одной минуты, чтобы осуществить свое самое скромное и минимальное желание. Получается так, что я вам пишу письма в метро, в трамвае, на световых репетициях и, наконец, засыпая в постели. Это обидно, обидно и неприлично так жить.

Моя жизнь опять стала похожа на страшный сон,

наполненный препятствиями, которые надо преодолеть. Встаю в 8, ложусь в 3 и весь день кручусь, как мясо в мясорубке. 20-го у меня генеральная «Золотого ключика». Спектакль этот оказался нагружен непредвиденными трудностями и осложнениями. Приходится буквально вытягивать его за уши из провала. Я бы написала вам подробнее про все свое горе, но надеюсь — рассказать на словах. Какая страшная вещь жизнь. Какими огромными трудностями приходится расплачиваться за пустяковую радость. Даже за радость творчества. < … >

Был у меня на днях Фадеев[41]. Я люблю его за то, что он жестоко и смело относится к жизни, и за то, что он такой широкий, большой человек. И вот он приходит ко мне искать — если не утешения, то какой-то уверенности и возобновления (я, отнюдь, не имею в виду романтические чувства) своих временно растерянных сил и чистоты.

Он говорит: я пришел к тебе, как к своей молодости, пришел посмотреть ей в глаза. Все это хорошо, я подумала, что мне, наверное, всю мою жизнь придется купаться в горе. Своем и чужом. Трудно смотреть правде, трудно смотреть горю, трудно смотреть жизни в глаза. Много для этого нужно душевных сил. И я счастлива, когда нахожу их. И я подумала, что я всегда после несчастий и трудностей испытываю какую-то грустную радость. Это оттого, что человек растет на горе.

И все-таки, хватит ли души для того, чтобы вплотную познакомиться с жизнью. Эх, Лёнечка, Лёнечка, не гудите вы на меня и не вколачивайте вы мне укоры-гвозди в голову — я ни в чем не хочу вас обвинять. И меньше всего, что вы мне не помогли в том, в чем вы и не могли мне помочь. Я себе сама самая главная гуделка, а если и бросаю в вашу сторону упреки — так это либо по справедливости, либо в минуту горечи.

Бестолково я вам пишу письмо, все это можно бы написать в двух словах так: Лёнечка, я живу черт знает как, но жилы у меня пока еще не лопнули, а голова — на одну копейку, на один медный грош поумнела. Но глупа еще эта самая моя голова, глупа и слаба. Вот и все.

Я, как пьяная, от усталости.

Прочтите год 22-ой, альманах пятнадцатый — Паустовского о Грине. Просто до крика скорбная история. Вы совсем пропали и заглохли. Просто не представляю, что у вас творится в голове и в сердце. Одно скажу — не вешайте, милый, нос.

Я написала вам тут весеннее письмо, а потом повалил снег и неприятности, а теперь появилась опять весна, но какая-то тяжелая, томительная и неулыбчатая. Черкните два словечка о своем житье-бытье. Вы обманули меня, что в марте хотите быть в

Москве — или это правда?

Т. Л.

Москва. 28.02.40.

P.S. Где вы — в Ленинграде или в Новгороде?

* * *

В Москве холодная и ветреная погода, солнце хотя и светит, но по ошибке. Я поняла недавно, что обладала хлопотливым свойством плести из небольших радостей счастливую жизнь. Сейчас же я чувствую себя такой усталой, что даже это рукоделие мне не по силам.

Читали ли вы в 12-ом номере «Иностранной литературы» об О'брайеновской новелле — о том, как рассудительный пожилой почтальон решил стать деревом, ссылаясь на то, что жизнь дерева спокойнее и приятнее наполненной заботами, болезнями и усталостью жизни человека? Идея мне понравилась, и я приглядываю для себя подходящий участок и приятный ландшафт.

Кроме шуток, жизнь полна мучительными думами и безнадежной усталостью. Занята я, главным образом, тем, что стараюсь перехитрить свое начальство и убежать с работы…

Целый день рвут телефон разные люди, старающиеся на все голоса доказать мне свою преданность и мою очаровательность. Это весенние птички, исполняющие необходимый ритуал. (Удивительное дело! Я заметила, чем меньше тебе нет дела до «дел мирских» — тем мир больше интересуется тобой. Обидная несогласованность.)

Я рычу, как автомобиль и злюсь на весь свет, а больше всего на вас. Любите меня, пожалуйста, — давно уже замечено, что даже безнадежно плохие люди исправляются под благотворным действием любви.

Т. Л.

Москва, в которой я надеюсь увидеть вас в мае.

Апрель, 24, год 40.

* * *

…болею давно (с 26) и нудно. Лежу, как паралитик. Самое главное, что перестала так ужасно болеть голова. Перештопала много чулок и передумала много мыслей.

Вчерашний день я совершила безумство. Лежать бы мне

нужно, Лёнечка, а я убедила Григория, что мне необходимо пойти в консерваторию и послушать 5-ую симфонию Шостаковича. Между прочим, перед концертом мне позвонил Дрейден и предложил пойти с ним, но я уже обещала другому кавалеру под названием Гриша Широков и сосватала ему птичку — Чайку[42]. Так что мы были все вместе. Видимо, я также полна этой музыкой, как вы спектаклем «Много шума из ничего». Нет, это все-таки другое, несравнимое и большее.

Словом, давным-давно мне не приходилось испытывать такого большого волнения. Целый день сегодня я как потерянная. Музыку не опишешь.

Я очень рада была увидеть Дрейдена, только он своей трепней (простите) помешал мне донести до подушки это радостное событие, которое пришлось потом восстанавливать.

Лёня, послушайте, пожалуйста, эту симфонию, это очень, очень замечательно — а потом поговорим на эту тему. Вот я лежу и пишу вам письмо, и это занятие мне не по вкусу. Физически невозможно написать на бумаге весь ворох мыслей, которые посещают голову околевающей Тани. (Сейчас по радио читает Аксенов[43], что за голос! За один этот голос можно доверить человеку всю свою жизнь.)

Вы знаете, Лёнечка, я тут все размышляла о высоких материях (тишина и безделье, и повышенная температура способствуют этому).

Вот, например, я думаю, как трудно найти свое место в искусстве (это куда труднее, чем в жизни). Как трудно в этом хаосе тщеславия и желания быть лучше всех, сохранить и найти свой голос и свои слова. Какая куча талантливых людей сидит между двух стульев, занимая мировоззрение у соседа, занимая мысли, образы и даже впечатления. Вот так я лежу и меланхолически обозреваю жизнь.

* * *

Я пишу на этом же листе, чтобы быть честнее и чтобы вы знали, что я о вас много помню. Кабы была моя воля, я бы все письма начинала с «ах» да «ох», но что толку в этих охах, да и надоест читателю быстро.

Ваше ленинградское искусство доконало меня вконец. Я просто не представляю, как это вы выдерживаете такой ритм постоянно.

Сегодня, после «Лебединого озера», я устроила себе выходной день и отсыпалась до двух часов дня. Мне просто необходимо

было поговорить с вами, если бы вы знали, Лёнечка, какая обида, что это невозможно…

Все спектакли я переглядела еще раз (большое спасибо вам за билеты), очаровалась сказками Пушкина, это большой, искренний и трогательный спектакль. «Снежная королева» мне не понравилась, у нас она куда лучше поставлена. Прелестно Дудинская[44] призывала правой ножкой к восстанию. Очень мило. Уланова[45] настоящая балетная актриса и, кажется, единственная из всех балетных, на которой я бы разрешила вам жениться. За Сергеева[46] сама готова пойти замуж. В первый раз в жизни я поняла, что мужчина может быть балетным и что это уважительно. «Голубое и розовое» довольно типичный тюзовский спектакль (мне не понравился их художник Якунина[47] — если не считать Пушкина — я, признаюсь, погрустила немного, что Бог не дает мне в руки какой-нибудь театр, вроде зоновского, ибо, без скромности, скажу — я бы сделала не хуже, но это все из области лирики).

А вот после «Тени» я заболела — или, как изволил выразиться Григорий, начала яриться. Мне писать об этом не с руки, я не умею писать о серьезных вещах, и не подумайте, пожалуйста, что я ругаю спектакль. Нет, спектакль хороший, смелый, интересный и т. д. Только все это не живое, это ненастоящее искусство — это какая-то штучка, хорошо сложенная и красивая, которой все время крутят у вас перед глазами. Нет, лучше я буду вам объяснять, что я думаю, а то будет совсем непонятно. Скажу вам только, что все это внешнее, поверхностное и эгоистическое искусство, это пошлая и стыдная самореклама, это подлинный формализм (я имею в виду только Акимова) и абсолютная пустота. Просто жалко этого человека и его таланта. Гошева просто удивительная актриса. Надо ей переходить в другой театр.

Эта самая «Тень» заставила меня переоценить (радуйтесь, пожалуйста) мое отношение к МХАТу (это уже плохо) и к моей профессии. Лёнечка, когда мы (когда-нибудь) увидимся, я расскажу вам обо всем подробнее, и правдивее, и точнее.

Я очень соскучилась без вас, и я смертельно горюю, что это звучит пустой фразой. Все мое общение с вами заключается только в том, что я хожу в магазины смотреть на мужские галстуки, но оказалось, что я в них ничего не понимаю и выбирать их не умею.

Акимов поймал меня в театре, отвел в угол и таинственно заявил, что он хотел мне пожаловаться на судьбу и на вас, что его обижают и что он с вами в ссоре. Все это было крайне нервно и не очень умно. Я прикинулась дурочкой и пожалела, что двое людей,

к которым я так хорошо отношусь (вы не находите, что я становлюсь подлюгой?) в ссоре, и спросила с ангельским лицом, из-за чего же вы оба, такие умные, такие сдержанные, такие тонкие, такие бескорыстные люди — могли поругаться? Но он вильнул хвостиком и убежал…

Сейчас звонил Эфрос[48] и вопил от восторга после «Тени», а мне просто неудобно объяснять людям, почему мне все это не по душе. Только мне это, действительно, не по душе.

Напишите, когда вы будете произносить доклад в ВТО. Мне это важно. Я хочу вас повидать и вместе с тем мне нужно будет уехать.

Озорное мое настроение завершилось тем, что я подала в театре заявление об уходе, но уйти мне не позволили. Тогда я потребовала, чтобы меня отпустили на 4 месяца в отпуск После долгих ломаний — отпустили. В связи с этим моя жизнь несколько обновилась и разгрузилась. Поживем — увидим, что будет. Привет вам.

Т. Л.

3.05.40.

Позвонила вам в 10 ч. 40 м., но 105-й не отозвался. Хотела вам кое-что сказать на прощанье. Потом шла домой, не в ногу с дождем. (Весна цветет на глазах от двух вещей — от солнца и от водки, а я была пьяная.) Шла по переулку и «последние известия» слушала из разных окон и думала, что уж если у нас с вами не вышло ничего плохого, то подружиться-то мы с вами можем. А потом, не думайте, ради Бога, что я вас хочу обидеть или вышучивать. Просто, видно, не освоила другого способа выражать свое внимание.

В постель кинулась, как в воду в жаркий день, так устала.

А вы все едете, едете и едете — великий путешественник и путаник, и произноситель докладов, а, в общем, очень славный человек.

Т. Л.

Москва. 17.05.40.

1941 год

Милый Лёня, пожалуй, нет возможности объяснить вам сейчас причину моего столь продолжительного молчания, а выдумывать разные враки и отговорки нет никакого желания, да и вышла я уже из этого возраста. Придет время, и я приду в норму, и придет подходящая минута, и я расскажу вам все с

полной откровенностью и обстоятельностью.

А пока могу только сказать, что дело тут заключается главным образом в вас, а не во мне…

Итак, о вашей книге. Прежде всего чувствую себя свиньей, потому что она до сих пор еще у меня. Вы ни слова не написали мне о том, какой способ доставки вас больше всего устраивает, и я нахожусь в пассивной бездеятельности, а между тем вы, наверное, очень нуждаетесь в вашей рукописи. Словом, стыд и срам. <…>

С делами покончено и осталась целая страница чистой бумаги для «личной жизни», но я ею не воспользуюсь, так как для послания такого рода у меня нет сейчас ни нужной злости, ни доброты. Как же быть? В другой раз? Пожалуй, так и будет.

Желаю вам быть очень, очень хорошим, а то вы начали — без моего благотворного влияния — слегка портиться.

Несмотря на все тяготы, огорчения и испорченные характеры, очень хочу вас видеть и с вами дружить. Пишите мне, будьте человеком!

Интересует меня, кто это так усердно занялся последнее время тем, что портит Лёню Малюгина? Узнаю руку мастера…

Я набрала столько работы, что уже сейчас ясно, что и одной половины я не успею сделать к положенному сроку. На днях я обнаружила, что жизнь все-таки не остановилась, а продолжается, и по сему поводу я нахожусь в довольно безыскусственном восторге.

Т. Л.

Москва. 24.01.41.

P.S. Милый Лёня, я перечитала сейчас письмо и впала в панику и сомнение — отправлять ли его, потому что оно оказалось сплошь заполнено придирками к вашей работе. Может быть, вы обидитесь? Еще раз повторяю, что я не хвалю вас только потому, что хорошее и так останется хорошим, а мне хотелось указать вам на то, что с моей точки зрения — слабо и что, может быть, стоило бы немого подправить. И мной не руководило чувство мелкого тщеславия и желания вас обидеть, а только горячее желание оказать вам хотя бы крохотную товарищескую услугу (пожалуй, я ее не окажу, но это неважно). Прошу мне верить.

* * *

У меня уже несколько дней лежит написанное вам письмо, оно «отлеживается». Очень уж шибко психологическое, и я

стесняюсь его отсылать. Я сижу — уже не помню, сколько дней и ночей — и рисую, и мне все нравится, что я делаю. У меня уже болит спина и голова, и шея, и даже рука. И конца этому не видно.

Не надо хандрить, право же, не стоит. И потом, обязательно докончите книжку о «Дачниках». Как вам не стыдно падать духом? Надо быть сильным, веселым, здоровым и меня не забывать. И дружить со мной! (Как жених, вы окончательно погибли для меня. После вашей декларации: учительница с хорошими нервами, тихая, спокойная — я поняла, что мне нечего иметь на вас виды. И не учительница, и не тихая, а сумасшедшая. Увы, увы…)

Что с вашим отцом? Чем он болеет? А ваш Коварский — хам. Вам не жалко будет денег? Тогда я пошлю это письмо без марки.

Я вас крепко целую и желаю, чтобы все ваши мечтания сбылись. Когда я вас увижу?

Т. Л.

31.01.41.

Это уже утро. (Если мне прилично назвать утром 7 часов утра), и я уже встала и еще раз прочитала ваше письмо. Лёня, это очень нехорошо, что вы так говорите о своей работе: «лучше строить новый дом». Если вы что-то начали делать, надо кончать.

Вот я тоже взялась явно не за свой материал и, кажется, совершенно разорюсь на бумаге. После упорной работы (часов 12–14, а то и 16) моя комната становится похожей на заснеженное поле, весь пол покрыт набросками, которые я выметаю, что же тут делать? Конечно, я тоже все время думаю, что я просто бездарность, но все же бьюсь и бьюсь, и замечаю, что то, что я делаю сегодня, еще очень плохо, но уже лучше, чем вчера.

Ах, если бы вы знали, как мне хочется плюнуть на все это, принять ванну и лечь вовремя спать. Только, видно, самоусовершенствование заключается, главным образом, в трудных и неприятных для нас вещах.

Нет, милый мой, вы можете писать книжку и должны ее написать. Где напечатаны ваши статьи? Я хочу их прочесть. Насколько мне помнится — я, когда говорила о новом горьковском герое, — не имела в виду именно «Дачники». Или я не права, или вы меня неправильно поняли.

Т.

P.S. Ваша манера оставлять чистой целую страницу у письма делает вас в моих глазах сверхчеловеком. Не могу равнодушно видеть пустого пространства.

1.02.41.

* * *

Милый мой! Спасибо вам. Желаю вам жизни и здоровья. Может быть, еще увидимся — я в это верю.

Татьяна.

27.06.41.

* * *

(В Киров)

Милый Лёня, каюсь, письмо получила ваше позавчера вечером. Хотела ответить вам ночью, но забыла захватить с собой карандаш. (Такая досада!) А вчера прокрутилась весь день и вечером поехала к маме отвезти ей питание. Сейчас сижу у нее и пишу вам, завтра опять поеду в город. У меня тоже какая-то неуверенность, что это письмо дойдет до вас, поэтому очень не хочется писать задушевно.

Спасибо вам, милый мой, за письма (и письмо и открытку я получила одновременно). Признаюсь, я поплакала изрядно и оттого, что вы нашлись, и оттого, что вы думаете обо мне и даже заботитесь.

Я отвыкла от поддержки и очень нуждаюсь в ней. Вы поддержали меня. Буду писать очень коротко — вот моя жизнь: Гриша работает на фабрике, но я его совсем не вижу. Сестра за городом и занята здоровьем Марины. Брат лежит в больнице с больной ногой и все заботы о моей бедной маме уже очень давно лежат на мне. К этому примешиваются еще разные меркантильные дела — ибо брат не работает совсем очень давно. Не работаю и я, как вы, наверное, успели догадаться. Я пожила с матерью на Лаврушенском, но путешествия с седьмого этажа с разбитой старухой оказались делом нелегким, и я изловчилась и перевезла ее на дачу, тут, по крайней мере, нет седьмого этажа.

Это путешествие произошло около 1 августа, и с тех пор я веду жизнь довольно бездомную и тяжелую — в буквальном смысле слова — потому что все для мамы я вожу из Москвы. Я все-таки вам скажу, что все было бы прекрасно, если бы я могла работать, и я горько жалуюсь, что болезнь мамы не дает мне возможности для этого.

Спасибо за приглашение приехать в Киров, но тут у меня очень много людей, которые погибнут без меня, везти же их с

собой нет никакой физической возможности и материальной. Да и бессмысленно, мать моя все равно помрет дорогой, а я ее люблю.

К тому же и оставить Москву я не в силах — этот город проявил больше выдержки и спокойствия, чем я могла думать. Мне, как старой москвичке, это особенно дорого.

Словом, все в порядке. Друзья мои тоже поразлетелись — Каждан на фронте, Сухоцкая даже не знаю где, Нина Эфрос живет у нас в деревне — остальные на месте. Ваш замдиректора и не мог мне дозвониться — по той простой причине, что у меня нет телефона.

Вы правильно делали, что надеялись на мою выносливость — эта моя черта не подвела. Правда, если бы вы встретили меня в Кирове на вокзале, вряд ли вы узнали бы меня. Но ведь люди говорят: были бы кости, а мясо нарастет…

Лёнечка, очень скучно заниматься описанием своей жизни, мне хотелось бы написать вам какое-то совсем другое письмо, но как-то не получается. Настанет время — мы увидимся, я поплачу, а вы утешите меня. А потом я сварю вам щи и кашу и выдам горячего чаю. Сейчас же я не хочу распускаться даже письменно — ибо дамочка я не героическая, а довольно хлипкая.

Я рада, что вы есть на свете, я благодарю за это и судьбу, и вас, и вашу маму. Я верю, что мы увидимся. И я верю в жизнь и в то, что вы и я сумеем достойно пережить все трудности, которые выпадут на нашу долю.

Держите меня в курсе ваших дел. И в случае изменения вашей судьбы, известите меня немедленно. Обнимаю вас очень крепко и от всей души.

Т. Л. 41.

Напишите мне ваш точный адрес, а то как-то неприятно писать в никуда.

14.09. Провалялась больная 3 дня, одна, как собака — сегодня меня навестили и я просила отправить вам письмо.

Привет. Т.

* * *

(В Киров)

Милый Лёня, вчера получила ваш перевод, прямо даже не знаю, что сказать. Ну, в общем, спасибо сердечное. Я вышлю вам деньги при первой же возможности — это будет дней через 10–12. Надо сказать прямо, что они меня сейчас выручили. Только я

очень испугалась — не очень ли я ныла в письме к вам? Помню только, что состояние у меня тогда было довольно поганое, видимо, я заболевала…

Почему нет письма? Как и что с вашими делами? И как у вас насчет щей и чаю? И живы ли вы? И где вы? Пишите чаще, Лёнечка.

У меня все по-прежнему. Конечно, очень хочется пережить войну и умереть от старости. Но ничего не попишешь — время суровое, и надо к нему приноровиться. И я приноравливаюсь. Человек привыкает ко всему, а если у него есть хоть на копейку мужества и если он любит свой народ, он просто обязан вести себя достойно и спокойно.

Я очень беспокоюсь — как вы там один-одинешенек, как вы проживете? Не стоит сейчас разводить сантименты, но иногда мне кажется, что достаточно мне протянуть руку, как я встречу вашу. Вообще я чувствую где-то вас рядом со своей жизнью. Ну, а там будет, что будет.

Т. Л.

Москва. 21 сентября. 41.

P.S. Но все-таки я должна признаться, что я не героиня, а самая обыкновенная женщина.

1942 год

Милый мой Лёня, самый лучший из всех когда-нибудь существовавших на свете! Наконец-то получила первое ваше письмо (на Жуковскую), в котором вы пишете, что писали и до востребования, и на Педагогическую. На почту я хожу исправно, но получаю фигу, а на Педагогическую пошлепала сегодня под проливным дождем (это здешний заменитель снега) и была вознаграждена за подвиг одним письмом и переводом, о котором речь будет особо. Вам я отослала 2 письма, а сколько телеграмм — даже не помню. Очень беспокоилась, что с вами случилось что-то недоброе.

Вот я очутилась в Ташкенте. Я писала вам уже про дорогу, не хочется повторяться — тем более — это до грусти стандартная и шаблонная история. Уехала в Ташкент, а не к вам (о чем частенько жалею) потому, что сюда можно было ехать организованно (с писателями и братом), а у матери за 2 дня до отъезда был второй удар — я везла ее заново парализованной. (Я не в силах была с ней ехать одна, а увозить ее мне приказали доктора.) Все остальное вы представляете сами. Мне же до сих пор непонятно, каким образом удалось в Москве внести ее в вагон, в этой толчее. Посадили нас Саша Фадеев и Гриша.

Потом мы пересаживались, потом пропал мой чемодан, потом запсиховал и заболел брат, словом, разная такая петрушка. Потом Ташкент. Потом была больница и в ней третий удар. И я жила с мамой там. С ней и еще с 25 человеками в небольшой палате № 1. (Нет ничего страшнее ташкентской больницы, наполненной беженцами.) И все ждала, что вот-вот она умрет, но она осталась жива, и я, простояв 2 суток в очереди за каретой скорой помощи, перевезла ее домой. В мой теперешний дом на Жуковскую. И коротаю с ней век. Бедная старуха — от нее осталось очень мало. Трудно и ей и с ней. Вот и все. В общем, всякое было…

Гриша, проделав фантастическое путешествие по всей стране (был и в Кирове, звонил вам по телефону), попал в Алма-Ату на кинофабрику, где и живет по сю пору и делает фильм про Гитлера. Брат болеет и находится при мне. Сестра — в Москве.

Видела Лиду Жукову[49], она в Ташкенте, тоже мыкает горе… Я рада встретить любого человека, лишь бы он знал вас, даже просто, чтобы он был из вашего города. Очень трудно вам писать эти глупые описательные письма. Иногда мне кажется, что только вам я сумею рассказать все, что случилось со мною за это время, что вам будет до этого дело.

Все-таки очень одиноко. Пожалуй, и трудновато бывает иногда. Я думаю так: если я не сдохну от сыпняка или голода — к чему есть все предпосылки — значит, останусь жива. Вообще же, я стала гораздо спокойнее, чем раньше — до войны. Потом я теперь стала глава довольно большой семьи: двое болящих — мама и Володя, Поля[50], которая приехала с нами, и еще Любочка[51], с которой я побраталась здесь в Ташкенте. Она — москвичка и ей было совсем худо, и я взяла ее в сестрички, за что и вознаграждена судьбой, ибо это оказался очень большой души человек. Она не маленькая, даже старше меня, только очень была бедная.

Я даже нанялась на работу в здешний дворец пионеров, только меня, наверное, выгонят, потому что я разрываюсь на части и работать не успеваю.

Город дикий, об этом в след. письме, а то завтра рано надо вставать. Есть здесь, кроме пыли, нечего. Вообще, бред какой-то. Сестре вашей я не писала. Деньги ваши еще не получила, так как на почте денег не было, но получу и истрачу, а вы напишите мне, куда мне выслать долги — вам или маме вашей.

Спасибо вам, Лёнечка, за то, что вы думаете обо мне и заботитесь так трогательно, только это не нужно, я думаю, что я не пропаду.

Ташкент. 30.01.42.

Милый Лёня, очень трудно сейчас писать письма, трудно найти интонацию, за которую можно было бы спрятаться. Потом очень много нужно описывать, как живешь, да что ешь, и про себя и про всех других. Картина преступления ясна: совершена какая-то очередная блистательная глупость, и я (вы же знаете — как я легка на подъем!) очутилась в Ташкенте. Городе, где даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это скорее похоже на быстро стынущий столярный клей), городе, где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют «ага», где про ваши родные ленинградские и московские края говорят — Россия (!), где гроб — один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я. Зачем, почему — совершенно не могу понять.

Живу как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное, а московские тревоги, все прочее вспоминаются каким-то очень содержательным событием в моей жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь этого города. Мне кажется, что я застряну здесь на всю жизнь. Лёня, обещайте мне, что когда кончится война и,

если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнусного города. Хорошо?

(Это уже вечером) Лёнечка, я опять получила от вас письма и сразу 2 — от 26.01 и 17.01. Я, конечно, не смогу объяснить вам все, что со мной происходит (вы во многих своих прогнозах правы), но только опираюсь я сейчас на очень малое и в том числе на вас, ваши письма. Это пришло неожиданно, в общем, это даже страшно.

Тут есть кой-кто из друзей: Нина Сухотская, Леночка Булгакова[52], и хотя им живется не слаще, все-таки это очень приятно. Правда, я человек, несмотря на свою чрезмерную болтливость, замкнутый и на подлинную откровенность неподдающийся, но все-таки это люди свои.

Я не помню, писала ли я вам, что я очень привязалась к вам, и хотя делаю все, чтобы этого не было — ничего не могу с этим поделать. Видно, уж ничего и не поделаешь. Очень уж я вам доверяю. Потом, мне кажется, что вы меня понимаете…

Конечно, жизнь моя здесь не сахар, еще этот паршивый черт, мой горячо любимый брат, совсем свихнулся с ума и потерял волю и желание жить, и пьет водку (только это между нами).

У меня нет ощущения, что вы далеко, я очень чувствую вас все это очень трудное время. Получаете ли вы мои письма? Я очень благодарна вам за заботу, только вы, милый мой, денег мне больше не присылайте. Во-первых — я выкручусь, во-вторых, и так у вас в долгу, как в шелку. Это очень опасно. Я все лелеяла надежду в скором времени отослать вам мой первый долг, а тут вдруг он умножился (а деньги я, конечно, растранжирила). Потом у вас и без меня хватает заботы, а я, в конце концов, дама еще молодая и должна позаботиться о себе сама.

Кстати, о самостоятельности. Вы знаете, я еще никогда в жизни не чувствовала себя такой бабой. Очень я устала от этой эмансипации — за всю жизнь устала — и хочется мне приклонить голову на какое-то плечо, но сейчас, конечно, об этом не время даже мечтать.

Не помню, писала ли я вам, что я нанялась на работу в здешний дворец пионеров и даже сделала им макет к Катаевской пьесе о солдате (даже не знаю толком, как это мне удалось). Но работать мне очень трудно из-за домашней нагрузки — мама ведь находится в очень тяжелом состоянии. В общем, совсем ей плохо, и она одна оставаться не может…

Вы знаете, вот я все-таки чудачка. Вот случились со мной разные неопрятности, и вот даже все кругом удивляются, как это она, дескать, одна все вытягивает — и мать, которая кричит, плачет день и ночь и никого не узнает, и ничего не понимает, и

брат, который нуждается в ежесекундной опеке, и уж никак не является опорой — и еще Поля и Люба, и мужа нет, и никого нет. И потом эта моя московская жизнь (когда я уехала с дачи), эти ночи на 7 этаже в пустом доме вдвоем с матерью (кстати, мне было очень страшно), и дорога, и больница, и просто ответственность за эту большую семью, ну и еще разные мелочи… А мне почему-то кажется, что все это еще не тяжести. Вот другие люди начнут рассказывать о пустяковых бедствиях и получается трагедия, я вот даже того, что было, рассказать не могу. Мне почему-то кажется, что я обязана все терпеть и переносить. В общем, я выносливая. Правда, Лёнечка?

Мне очень хочется — как вы думаете чего? — СПАТЬ. Сейчас лягу и буду вспоминать Плес, как хорошо там было. Тепло, солнце и Волга, и березы, а ночью звезды и пароходы гудят. Прелесть! Все-таки мне не очень хочется умирать, не повидавшись с вами. Сегодня забегала к Лиде — мне всегда приятно видеть людей, которые знают вас…

Сестре вашей я не писала, но то, что вы пишите про жизнь на этой станции «Чу», кажется басней, ибо не может быть, чтобы так близко от Ташкента продавали бы пищу ровно в 10 раз дешевле. Словом, это не «Чу», а рай земной, куда, увы, мне, грешнице, вход закрыт, ибо я связана с Ташкентом по рукам и ногам…

Как бы я хотела, хоть на минуточку, вас увидеть. И увидимся ли мы когда-нибудь? Как вы думаете, Лёня, а? Милый мой Лёня, я вас очень крепко обнимаю и желаю вам быть живым и здоровым и — по возможности — счастливым.

Ваша Т. Л.

14.02..

P.S. Пишите мне исправно и разные хорошие письма.

Милый Лёня, вы меня зря хвалите за спокойствие — это просто смертельная усталость и обреченность и, главное, невозможность вести себя иначе при данных обстоятельствах. Пришлось хлебнуть горя за все это время всем. Я делаю с успехом тысячу вещей, которые принято называть самообладанием: работаю, пудрю нос (пока еще есть пудра), веселю и утешаю людей, навела даже бесподобный уют у себя в доме. Только все это чепуха, а душа отшиблена — у меня не хватает мужества заглядывать в будущее и заглядывать в глаза моей умирающей матери. Умирает она тяжело, мучительно, положение ее поистине ужасное — помимо всех ее болезней и страданий у нее еще обнаружен рак. Кричит она, не замолкая ни на минуту (днем и ночью). А я, кажется, готова закопаться в землю, чтобы только не слышать этих душераздирающих воплей. Мне пришлось тут

уезжать на две недели в Алма-Ату, где заболел Григорий воспалением легких. Просидела у его постели и уехала, оставив его выздоравливающим, но худым, зеленым и ослабевшим.

Все это не самые счастливые эпизоды из моей жизни. Но Алма-Ата город прелестный — очень мил, главным образом тем, что там произрастают березы. Проезжала ночью станцию «Чу». Вышла на перрон и увидела пустынный горизонт, здание вокзала в духе Корбюзье и 4 круглых тусклых фонаря. Что-то было родное во всем этом, и встретилась я с этой станцией, как со старой знакомой…

Сейчас у меня неразрешимая задача с работой. На меня навалили ее невероятное количество, и хотя выполнить ее нет никакой физической возможности — все-таки это единственная возможность не сойти с ума. С другой стороны я должна, видимо, буду ее оставить — ибо уход за матерью требует моего ежесекундного присутствия.

Очень волнуют меня сестра, Маринка и Тамуся[53], которые живут в Москве. Об этом тоже боюсь думать…

Милый Лёня, я категорически требую, чтобы вы прекратили этот золотой дождь, которым вы меня засыпали. Я трачу ваши деньги, и это сущий разврат. Я осуждаю это. Спасибо вам за внимание и заботу, только делать этого больше не надо. Хорошо, милый?

Пишите мне чаще, наверное, у вас есть минут 15–20 вечерком, когда вы остаетесь один. Пишите мне в это время, не ленитесь, а то ведь вы, наверное, все время читаете ваши поганые пьесы. Да?

Я прихварывала тут немножко, но особенно задержаться мне на этой болезни, к сожалению, не удалось.

Была еще у меня Лида Жукова с женой С. Л. Цимбала — очень красивенькой и очень обыденной женщиной. Впрочем, Бог с ней, пускай живет и в этом виде…

Тут весна, но очень противно. Лучше жить в любом холоде, но на родине. Будьте здоровы и помните меня, пожалуйста.

Т. Л.

Ташкент. 25.03.42.

P.S. Я не поздравила вас с днем рождения — потому что я никогда точно не помню это число. Никак не пойму — почему от вас так давно нет писем. Вчера у нас было землетрясение и поймали скорпиона. Если вы мне не будете писать, я сделаю из вас обезьяну и, когда кончится война — воздам по заслугам.

Т.

* * *

Здравствуйте, Лёня! Я получила ваше письмо, где вы поругиваете меня за безнадежность. Может быть, вы и правы, пройдет время — жизнь убережет нас от смерти, и мы встретимся. Только я должна предупредить, что я уже не прежняя блондинка, а с некоторой проседью.

7-го апреля умерла мама. Первый раз в жизни я видела, как умирает человек Это очень тяжело и очень торжественно. 9-го мы ее похоронили, и сразу этот несчастный город стал мне родным.

Обмыла, одела, положила в гроб, забила гроб и зарыла могилу — все своими руками. И на всю жизнь мне запомнилось ее строгое, красивое лицо.

Потом ясный день, дощатый гроб, тюльпаны и еще какие-то цветы, кажется, вишня. Я нашла чудесное место на этом азиатском кладбище — совсем русское — просторное и тихое, тополь растет в ногах. Вот и все.

Вот и осталась я одна и ничто уже меня не связывает, а как грустно, если бы вы знали, и как все безразлично.

Вот и прошло детство, юность, да и молодость, пожалуй, на исходе.

Как вы живете? Почему-то мне очень интересно — чем вы питаетесь (напишите мне подробно), кто вам штопает носки и зашивает рубашки. Почему вы редко мне пишете? Я ведь просила вас не лениться. Нехорошо, милый. Ну, спокойной ночи, буду ложиться спать.

Т. Л.

Ташкент. 10.04.42.

Лёнечка, сообщите мне, пожалуйста, адрес вашей мамы — я хочу понемножку начать высылать вам денежки. Все сразу я не могу, а понемножку смогу. Если же вы, поганый человек, не напишете мамин адрес, то вышлю на ваш.

Обнимаю вас и очень тоскую.

Т. Л.

17.05.42.

P.S. Это письмо случайное, я напишу вам скоро-скоро подробнее. Вы не забыли еще меня?

* * *

Здравствуйте, Лёня, милый друг мой!

Вот приехала я вчера в Алма-Ату и поселилась с Григорием в довольно милом подвальчике.

Я писала вам из Ташкента бесконечное письмо, но оно так и

осталось недописанным и не отосланным. Очень трудно писать и еще труднее объяснять разные разности, которые тревожат мою душу. Уезжать из Ташкента оказалось не так легко и, по совести говоря, не очень хотелось, но я думаю, что сейчас нельзя жить в свое удовольствие, и мне пришла пора немножко скрасить собачью жизнь Гриши, который заслужил это своим долгим и бескорыстным терпением.

Настроение у меня смутное. Знаю ясно только одно, что если суждено еще жить, то по-старому жить уже нельзя.

Еще тяготит меня оторванность от общей жизни страны. Пока жива была мать, в этой жизни был смысл и необходимость, сейчас же меня это начинает не на шутку пугать.

Ясных планов у меня никаких нет, оглянусь, а потом и решу что-нибудь.

Я очень соскучилась без вас. Много бы дала, чтобы повидаться с вами. Это письмо пишется очень наспех. Пишите мне чаще. Адрес мой: Алма-Ата, Дом Советов № 22-а, мне или Широкову, для меня.

Давно нет от вас вестей и это уже начинает меня тревожить.

Лёнечка, я пишу на тот случай, если вы будете в Москве раньше меня[54]. Я прошу и требую, чтобы вы немедленно по приезде в Москву дали мне телеграмму. Я очень волнуюсь за вас, как вы и что с вами. Трудно мириться с тем, что нельзя увидеться с вами в течение года, но теперь целых 1,5 месяца у меня нет даже вашего адреса. Очень бы мне нужно было повидаться с вами. Я думаю, что это так и будет.

Т. Л.

10.06.42..

P.S. Думаю, или вернее надеюсь, что не буду задерживаться слишком долго в Алма-Ате. Мой адрес: Алма-Ата, Дом Советов, 22-а, мне. Обнимаю вас.

* * *

Лёнечка, только вчера получила ваше письмо, и вчера же вечером зашла ко мне С. Магарилл[55] и, между прочим, сказала, что Бол. Драматический гастролирует сейчас в Москве. Правда это или нет — я не знаю, как не знаю теперь, куда адресовать письма.

Я очень долго не имела вестей от вас и, признаюсь, беспокоилась. Оказывается, вы давным-давно уже живете в Кирове, а я-то выдумываю Бог весть что. Почему же вы, негодный

человек, не прислали мне телеграмму из Москвы?

Что вам написать о себе? В общем, все довольно запутанно и неясно. Я — по целому ряду причин — рвусь в Москву, вызов (если он будет), должен прийти на ташкентский адрес. Но его еще нет. Возможно, мои московские товарищи передумали вызывать меня — им, конечно, виднее, но мне не легче.

Моя алма-атинская жизнь несколько тяготит меня. Во-первых, я отвыкла от Григория за этот год разлуки, во-вторых, я не работаю, т. к. договоров нет, а на штатную работу я боюсь поступать, потому что не потеряла надежды получить вызов в Москву. В-третьих, мне сейчас, видимо, везде будет беспокойно по причинам от меня независящим.

Алма-Ата, хотя и причудливо раскинулась у подножия снежных гор, все же довольно милый город. Прямой, чистый и озелененный до противности. На одной из магистралей города находится трехэтажное здание урбанистического вида (здесь в Средней Азии обожают этот тип архитектуры) — это гостиница «Дом Советов», набитая до отказа ленинградскими и московскими кинематографистами. Дамы всех мастей и оттенков, но, в общем, до такой степени все на одно лицо, что иногда начинает казаться, что ты галлюцинируешь. И мужчины — готовые растерзать на части всякое новое лицо женского пола. Если случайно природа не наделила вас двойным горбом или оторванной ногой — любой лауреат к вашим услугам на любое амплуа — мужа, любовника, поклонника, друга и т. д.

У меня и Широкова есть комната с большим окном на уровне земли, куда заглядывает солнце от 3 до 7 часов, с рабочим столом, кроватью, шкафом и еще разными бебихами, которые я уже изобрела на месте и которые принято называть уютом.

Была здесь на несколько дней Лида Жукова — я была ей рада. Она уехала уже давно. Друзей у меня здесь нет, и это очень грустно. Зато от разных молодых людей, которые «захаживают» (среди них и старый ваш приятель М. Г. Шапиро[56] — это Лида подстроила мне этого кавалера), отбою нет. И все это мне порядком надоело, я как-то отвыкла от всего этого за этот год. И потом мне приятнее всего — когда я одна.

Тут люди живут какой-то странной жизнью — словно им осталось жить еще несколько дней и они стремятся за этот кусочек времени выполнить все свои желания (и возвышенного и низменного порядка).

Потом сюда приезжал мой брат и очень огорчился от моего вида, говорит, что я стала совсем тощая и требовал моего возвращения в Ташкент. Если я словчу — я поеду недельки на две, а может и совсем. Тогда напишу.

Лёня, Лёня, где же вы? Почему вы разрешили мне мотаться по Средней Азии и делаете вид, что жизнь очаровательна и что все в порядке? На душе, как вы, наверное, успели догадаться, мрачновато. За этот год у меня здорово испортился характер. Озлобленная я какая-то стала и раздражительная. И, конечно, как всегда, умудряюсь решать очередные проблемы. Может быть, сейчас и не время этим заниматься, но черт его знает (пожалуй, только он один и знает), может быть, в эти страшные дни как раз только и можно решить многие вопросы, так как время это не терпит не только лжи, но и никаких «средних» чувств. Все очень становится ясно.

Очень бы хотелось вас повидать. Боюсь только, что рассказывать вам придется про свою жизнь слишком долго, так что, пожалуй, самое правильное будет помолчать. (Вряд ли это мне удастся.)

Очень мне жалко вас, видно, здорово вы мучаетесь с вашими артистами. Я же говорила вам, что это народ так себе. И предупреждала вас, чтобы вы не женились на актрисах, а вот не слушались меня, теперь уж сами расхлебывайте, как хотите. Ходят упорные слухи, что в наши края приедет МХАТ. Вот было бы мило, если бы вы там были (во МХАТе).

Я иногда горько жалею, что оказалась не в Кирове, а в Ср. Азии, но вы, как всегда, сами в этом виноваты. Знаете ведь меня, слава Богу, достаточно, и вам хорошо известно, что мне надо отдавать распоряжения. Вот, кажется, и все.

Как это вы словчили и написали пьесу? Молодец! А денежки все же мне не высылайте. Прошу вас, милый, не надо. Очень я боюсь долгов. Очень мне тоскливо, Лёня.

Т. Л.

Алма-Ата. 22.07.42.

Милый Лёня, я совсем не уверена, что эта записка застанет вас в Москве. На всякий случай пишу, т. к. сегодня улетает Вирта[57], и я надеюсь на более скорую доставку письма.

Мне очень больно, что я совсем потеряла вас из виду, и вообще вы совсем отбились от рук.

Я живу так себе. Сейчас хлопочу о пропуске и билете в Алма-Ату, хотя еду туда с тяжелым сердцем. Там мне жить еще хуже, чем в Ташкенте.

Мне очень хочется прочесть вашу пьесу, которую вы «сработали» за эту зиму, и погордиться немного за вас. Постарайтесь как-нибудь переслать мне ее.

Спасибо вам большое за дружбу и заботу обо мне.

Т. Л.

Ташкент. 21.08.42.

P.S. Как только вы где-нибудь осядете более прочно, и это станет мне известно — я вам сейчас же напишу пространное письмо (в Москву).

Я не думаю, что вам в руки попадется это письмецо, но все же может быть. Очень прошу вас дать мне телеграмму — когда будете уезжать из Москвы, я тогда тут же пошлю вам в Киров письмо, а то мне все кажется, что если вас там нет, то все мои письма читаются на общем женском собрании. В этом письме, поскольку я не уверена, что оно попадет на вас, я тоже писать ничего не хочу.

Живу из рук вон плохо. Все хуже и хуже.

Хочу вас видеть. Пишите чаще. Обнимаю вас.

Т. Л.

2.09.42 (в Москву).

Сегодня один дядька, под названием Ершов, привез мне из Москвы чемоданчик, упакованный Тамусиной рукой. Очень было смешно снова держать в руках свои старые вещи, я даже забыла, что у меня такие были. И там, между прочим, было получено розовое платье (о котором вы справлялись) и голубая бумага. И я не могу удержаться и тут же хочу снова удивить вас этим цветом. Одно волнительно, что письма в таких конвертах могут и не дойти, и я очень прошу вас подтвердить мне получение этого письма, а то ведь я буду писать и другие. Жалко все-таки.

Я тут послала вам довольно грубое письмо, но что же я могу поделать? Только я буду стараться больше вас не ругать. Буду ругать себя. Я сейчас, кстати, занята самоуничтожением (довольно привычное занятие для меня). Но все-таки поднывать иногда я буду — хотя я и пришла к выводу, что нужно жить веселее — даже во время войны.

Я уже два дня хожу по комнате, но на улицу еще не выходила. Завтра выйду.

За окном холодно и листья летят — сразу как-то наступила осень.

Я стала очень страшная, еще страшнее, чем при вас. Чтобы меня хоть немного подправить, Гриша привез мне из колхоза много-много яблок, они лежат в мешке и пахнут так чудно. А вас нет — вот бы я подкормила вас яблоками-то, а?

Скоро начну работать и тогда не продохнуть до декабря. А жить мне сейчас, в общем, довольно сложно, порой даже мучительно. Вы ведь умный мальчик, слава Богу, и вам не надо ничего объяснять — вы и так все понимаете.

Я тут подумала, что, пожалуй, самая страшная вещь на свете — это скука. И в этом мне повезло — я никогда не жила скучно. И сейчас не живу. Пишите чаще, совсем часто.

Т. Л.

Алма-Ата. 26.09.

…какая бы я тогда измученная до последней жилки, сомневающаяся и все-таки счастливая — приехала бы к вам. Как вы имеете жестокость не писать мне чаще?

Письмо мое, о котором я вам телеграфировала, лежит у меня не отправленное. Это ужасно, что мои письма к вам вы получаете распечатанными. Это уж просто мания у меня, и я не отправлю его до тех пор, пока точно не узнаю, что вы осели где-нибудь…

Я должна была завтра выехать в Москву в командировку, но принуждена была отказаться (хотя это был бы замечательный выход для меня) из-за некоторых обстоятельств, а сегодня даже рада этому, ибо сил у меня очень мало после болезни, а командировка с тяжелой нагрузкой.

Дело с театром Завадского пока завяло (пьеса эта не пойдет в репертуаре) — хотя ихняя директриса сегодня справлялась обо мне опять.

Работаю в окнах КАЗТАГа — это очень неверная и скучная для меня работа. Да и работаю я сейчас плохо — я сама это чувствую — по причинам все тем же: полнейшей растерянности, измотанности и непрерывной нервной трепки.

Кстати, если б я поехала в Москву, я была бы день своего рождения в поезде, как это вы мне обещали когда-то в ташкентском письме — только вы писали: мы проведем этот день в поезде. Ну а тут я провела бы этот день в поезде. (Вы обманули меня, значит, да?) Все-таки не так было бы обидно.

Хотелось мне очень повидать милых моих москвичей и, главное, подкормить их хоть чуть-чуть, да и вас надеялась встретить в этом городе. Вот какая она, моя жизнь! Так себе.

А вы отлупите себя немедленно по затылку и бегите на телеграф. Да, да, да, я слабая, очень, очень слабая и полоумная женщина, и «душевно больная», и меня надо все время без перерыва любить, а то я возьму да и умру от недостатка жиров и от душевных переживаний. И мне бы только до вас дорваться, я с вас три шкуры спущу и сделаю с вас обезьяну. Так и знайте! И от вашего затылка останется одно воспоминание. Лучше играйте на попятный пока не поздно. Вот.

Т. Л.

Алма-Ата. 18.10.42.

А о чем вы думаете среди дня, негодный человек и изменщик, хотела бы я знать? А?

Ваше письмо я, действительно, получила в день рождения (это было очень приятно), но не солнечным утром, а к вечеру, когда в комнате такой холод (утром-то здесь пока теплынь), что руки стынут и сводит спину. А я сидела и рисовала цветочек и два яблока, которые мне подарили. Они уже успели вздорожать в 15 раз, и они стали такие ценные, что я решила сначала сделать из них натюрморт, а только потом съесть.

И уже стало темно и света нет, и я не могу вам писать в потемках (масла для коптилки тоже уже нет) о том, как и мне иногда кажется, что и вы меня мало любите и мало обо мне думаете. Настроение у меня, к сожалению, не «более или менее сносное», а несносное. Хотя сегодня как-то немножко лучше, и я себе сегодня не кажусь такой уж отпетой дрянью и мерзавкой, а вроде, думаю, что я все-таки ничего. И что ведь это, наверное, думаю я, так может случиться со всяким — даже и с лучшим, чем я, человеком — такое дело, как это случилось со мною, что приходится быть злой и жестокой и обижать людей ни за что. В общем, я думаю, ну авось, все как-нибудь образуется…

Обнимаю вас, ваша Т. Л.

31.10.42.

…здоровьем слабоватая задумала отвечать за все и за всех. Конечно, трудно это — не по силам. Помощь хотя и кратковременная пришла, как всегда, неожиданная и не из тех источников, откуда можно было бы ждать ее. Помощь пришла от братишки Володи, который приехал сюда, прелесть как душевно обошелся со мною (а я отвыкла от этого обхождения за последнее время) и не побоялся (хоть и на минуту) взять ответственность за мою судьбу. Назавтра, конечно, он уже забыл об этом, но дело было сделано и мне стало немножко легче. И я активнее принялась за работу, а я, хоть и лентяйка, но работа это все-таки прелестный наркоз.

Потом он приободрил меня настоящими прекрасными стихами. А стихи я тоже люблю.

Мне очень обидно, что я теряю вас, а вместе с вами теряю душевный темп — это очень важная вещь в жизни. Наверное, все горе в том, что вы держите меня на Олимпе, в то время, когда я — хотя и живу на высоте 600 м над уровнем моря — все же очень земная женщина, и мне неуютно быть в жилище богов. Либо вы сами должны натворить удивительных вещей и лезть на эту гору, либо меня снимайте, пожалуйста, отсюда (хотя вы и не можете поднять меня, но я похудела и стала легкая, совсем легонькая), а

то мне скучно так жить. Я божественных поступков делать не умею, т. к. состою в чине нормальной смертной женщины, понимающей что Бог неспроста сотворил ее после Адама и из его ребра.

Я же вам развивала свои теории, они совсем не «немного свысока». Что же касается наших и ваших грехов — все мы грешные и все хороши. Я тоже не лучше вас, наверное. И потом — помните: «всякий тяжкий грех прощается, непростительный забудется». Насчет неискупаемых грехов — тоже чепуха. Все грехи искупаются — любовью и содеянными делами. И работой, если человек вырос на этом, перестрадал — значит, он должен сделать, написать что-то хорошее. Вот уже и искупление. Надо быть шире и человечнее. Напишите мне про свою работу. Что вы делаете? Неужели только воюете с актрисами? Это вот обидно!

Пишите мне чаще, думайте обо мне больше. Не забывайте, что я слабее вас. И любите меня, если вам не надоело еще это занятие.

Т. Л.

27.11.42.

Лёнечка! Повторяю вам то, что уже писала в телеграмме — вашу молнию я получила 14-го вечером, часов в 11–12. Я не сразу догадалась, что это вы едете — хотя и предположила, что у вас могло что-нибудь стрястись в Чу, т. к. в Новосибирске сейчас живет Коростин, который как раз мог проезжать в Ташкент и, следовательно, мог послать мне телеграмму, но, правда, он должен был подписаться.

На следующий день я получила телеграмму из Кирова, и все стало ясно. Очень я взволновалась и огорчилась за вас. И ужасно злилась на проклятый телеграф, который, я считаю, поступил со мною просто по-хамски.

Конечно, если бы телеграмма пришла вовремя, я бы поехала на вокзал. Но забудем об этом…

Что с вашей матушкой? Я послала вам телеграмму на первый взгляд глупую, но я знаю, что в Чу болел один режиссер с киностудии и ему как-то переправляли туда из Алма-Аты лекарства. Именно это я и имела в виду, предлагая свою помощь. Все зависит, конечно, от ее состояния и рода болезни. Не знаю, легче ли вам будет от моего сочувствия, но я вам очень сочувствую…

Я не уверена, что это письмо застанет вас в Чу и поэтому не буду особенно распространяться о себе.

Я пробуду в Алма-Ате до середины — конца января, т. к. я заключила договор, а потом поеду в Ташкент, где тоже не думаю

долго задерживаться. Это я сделаю при всех возможных вариантах.

Я не знаю, успели ли вы получить мои письма, где я подробно описала вам про все эти дела.

Можно ли надеяться, что вы на обратном пути заедете в Алма-Ату? Если нет, то обязательно дайте мне знать, когда вы поедете — я встречу вас на вокзале. Мне очень хочется повидаться с вами. Только на телеграф я теперь уже не рассчитываю. Может быть, можно позвонить из Чу по телефону? 47–56. Или это сложно? Обнимаю вас, мой милый.

Т. Л.

15.12.

Милый Лёня, это письмо вы получите уже в 43-ем году — поэтому я посылаю вам все пожелания, которые вы сами выберете. Плюс желаю вам: 1) чтобы скорее окончилась война, 2) чтобы вам скорее исполнилось 35 лет, 3) чтобы вы скорее кончили увлекаться артистами, 4) чтобы все ваши близкие были живы и здоровы, 5) чтобы вы всю жизнь путешествовали с газетой в руках, 6) чтобы вы нашли себе достойную подругу, которая никогда не обременяла бы вашу душу дурным настроением, а ваш желудок вареными овощами, 7) чтобы вы дожили до 90 лет, и чтобы у вас была целая куча внуков, и чтобы я была крестной матерью вашей старшей правнучки, 8) чтобы театр им. Горького со всей труппой провалился бы в тартарары, а вы бы остались на поверхности вместе с книжным шкафом, в который вы упрячете несколько друзей по своему выбору (ни одной дамы я там не потерплю), 9) чтобы вам каждый день выдавали в столовой котлету величиной с калошу и суп с горохом, и пиво, и чай вприкуску, 10) чтобы вы никогда не принимали женскую любовь, как должное, а всегда — как дар, 11) чтобы вы лазили на березы до 55 лет, 12) чтобы ваша будущая жена ни в чем не была похожа на меня. Ну и еще разные хорошие вещи я вам желаю.

Я живу хорошо. Насчет печенки и всего остального — я здорова. Ваше письмо с вокзала я получила. Постараюсь не ссориться с вами в письмах в будущем году, но не знаю, удастся ли. Шлю вам привет и прошу любить меня и жаловать в 43-ем году.

Ваша Т. Л.

29.12.42.

(Рисунок елки) Я хочу, чтобы и у вас была елка.

Это будет новогоднее письмо № 2. С Новым годом, Лёнечка! Я сейчас пришла с просмотра очень хорошей картины («Мистер

Чибс»), вам бы тоже понравилась эта картина — она про школьного учителя. Меня проводили Виноградов и Столяров, и мы так орали дорогой и так здорово скрипел под ногами снег, что я решила, что уже настал Новый год.

Дайте руку (или, как вы говорите, дайте ручку) и держите меня покрепче за руку. Я вам наврала в прошлом письме, что живу хорошо: все то же самое. Я совершенно не представляю, какой это будет 43-й год. И мне даже кажется, что он будет очень трудный (для меня тоже). И я не представляю, когда я вас увижу. Все это мечты. Хотя, Бог вас знает, вы, действительно, соединили в себе неуверенность с твердостью и настойчивостью.

Я тружусь в театре, правда, с усилием и неохотой. Мой режиссер Марголин заболел, у него какая-то среднеазиатская печеночная болезнь. Наверное, спектакль в связи с этим затянется. Это худо.

Вы пишите мне чаще. Мне очень неуютно жить без вас. И напишите мне, в каком положении ваши военные дела, чтобы я не тревожилась.

Желаю вам счастья в будущем году. Не забывайте меня.

Т. Л.

А жить так, чтобы читать книжки Диккенса и быть покойной — это, наверное, не может быть.

Так не бывает, чтобы все счастье одному человеку. Обнимаю вас.

Ваша Т. Л.

31.12.42.

1943 год

Лёнечка, я не посылаю вам писем не только из-за отсутствия бумаги, а еще и потому, что Софа Магарил сказала мне, что весь ваш театр переезжает в Ленинград.

Насколько это верно, я не знаю и поэтому я решила терпеливо ждать от вас весточки. А писать впустую — тоже мне нет никакого интереса. Вы ведь знаете, как я не люблю, когда письма не попадают к адресату.

Несколько меня удивляет и волнует, почему нет от вас телеграмм из Кирова. Как вы доехали?

Я живу все так же. Ни шатко, ни валко. Прихворнула немного гриппом, завтра выйду в театр — трудиться. Зима в полном разгаре, завтра Рождество.

Новостей особых нет, за исключением того, что я, наконец,

решила проблему счастья (правда, в теории). Пишите. Свет не мил.

Т. Л.
8.01.43.

Напрасно вы обижаетесь на меня за то, что я не пишу вам ничего о своей работе. Уверяю вас, что если бы было хоть что-нибудь мало-мальски интересное — я давно бы похвасталась. Работаю я в одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД[58]), весьма скудно вознаграждающем меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное «разбогатение» объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности. Все очень просто и очень скучно, и никаких больших работ, как вы предполагаете, — я не сделала. Да их тут что-то и не заметно этих самых больших работ-то (только давайте уговоримся, что о моих неблестящих делах никто, кроме Тамары, не знает. Я здорова, и богата, и знатна. Ладно?)

Сейчас утро. Мне еще рано идти трудиться. Поля спит. Солнце жарит вовсю. Я с 7 часов уже встала. Мне ужасно милый, но грустный и безнадежный сон приснился. Приснилась мне мать — такая ласковая, заботливая (готовая пожертвовать всем, чем угодно, — лишь бы мне было лучше) и всепрощающая — какой только она одна умела и могла быть. И руки, и голос ее — такие милые и знакомые. Вот такая она, какой была до этой страшной болезни. И очень ласково и жадно она смотрит на меня и ничего не говорит, но все понимает. А мне так ужасно нужно ей что-то объяснить и рассказать, и пожаловаться (как в детстве), но я только могу сказать: мама, голубушка, и реву — очень отчаянно и с наслаждением. И такое забытое чувство горячей волной нахлынуло на меня: что есть опять человек, которому все важно во мне, который все простит, будет любить бескорыстно и позаботится, и заступится, и пожалеет. Ну а потом, как это всегда бывает во сне, я ничего не сумела расспросить, ни сказать и проснулась. Было уже утро, горели мангалы и со звоном наливались ведра под краном. И жарило солнце. И я вскочила со своей зареванной подушки и подумала — откуда я черпала этот источник ласковости и тепла и нежности в жизни? Все-таки от матери. <…>

<…> Провожала я тут своего приятеля-художника на фронт. Посидели с ним на его вещевом мешке в привокзальном садике (кругом спали его товарищи курсанты, по их лицам ползали

мухи), погрызли солдатских сухарей, поговорили о жизни, об искусстве, о моих работах, которые он незадолго до этого видел. Это очень талантливый художник, а сидел он рядом со мной бритый, обгорелый, в страшных грязных бутцах, нескладный, понурый и грустный. И очень захотелось немножко ободрить его и наделить теплом, и заменить на минутку и мать, и жену. Но я, наверное, не сумела этого сделать. Мы простились, и он уехал…

Тут как-то пришел к Ахматовой[59] какой-то человек, кажется, Янковский и сказал, что видел в кино ленинградскую хронику. Когда я вечером пришла домой, Лида уговорила меня пойти: ну и пошли. Летний сад, парочки, военные, очереди у киосков с анилиновой водой. Очень странно все это.

Подождали сеанса и уселись. Потух свет, и сердце сразу переместилось в горло. Показали несколько открыточных ленинградских видов, потом кусок крыши вашего театра. Потом вокзал и кучу людей, мимо которых проплыл аппарат, потому что он понимал, что эти люди мне не нужны. Запомнился какой-то верзила, занявший удачную позицию вполоборота — почти красавец, но уж очень длинный нос (Лида всплеснула руками и сказала: Рудник!). Не успела я его обругать — зачем он вас обижал, как произошла небольшая давка из-за первого места перед аппаратом и вынырнула ваша подруга Казико с какой-то мочалкой на голове вместо волос. Она быстро-быстро затрясла мочалкой, давая этим понять, что она кокетничает. (Старушке уже пора ложиться в гроб, а она все упорно настаивает на том, что в молодости была травести и носила мальчишеские штанишки.) Потом выплыл какой-то огромный блин, одетый в капор с оборочкой. Блин этот зашевелился, переместился и мне удалось догадаться, что это Никритина[60]. Потом поплыли еще какие-то незнакомые люди, все без исключения, как и предыдущие, делавшие вид, что они самые главные и что если бы они не приехали в Ленинград — город бы погиб. (Все чувствовали себя героями.) И тут я поняла, что вас я проглядела…

Но судьба изменчива, и уставший от актерских рож аппарат решил отдохнуть и задержался на одном лице, явно не актерского вида… Помните детскую книжку «Макс и Мориц»? Это были очень озорные мальчишки, и автор рассказал детям про все их шалости. И нарисовал их. Вот однажды они попали в чан с тестом и, когда выскочили, — оказались похожими на какие-то гигантские плюшки своей собственной формы. И нос их, и хохолок на голове, и руки, и ноги, и штанишки — все их, но все стало какое-то большое (круглое, без морщин и сделанное из теста)… Вот таким, покрытым тестом, предстало перед нами ваше лицо.

Все-таки было очень приятно встретиться хотя бы с вашей меховой шапкой, которая сохранила свою фактуру. Потом был красивый, но неправдоподобный кадр, как снимали чехлы в партере. Затем дядя в темном костюме осматривал сцену. Опять трясла мочалкой Казико, но уже перед зеркалом, и еще кто-то сидел перед зеркалом. Потом мы ушли домой.

Я рада за вас, что у Акимова идет ваша пьеса. Раневская[61] видела спектакль и очень хвалила. Говорила, что зрелище очень приятное, хвалила она и оформление.

Лида с дочкой днями едет в Москву — я не очень-то оплакиваю эту свою потерю.

Желаю вам всего доброго. Не забывайте меня.

Т. Л.

* * *

…И все-таки я вас столько ждала. По совести говоря, я кончила вас ждать только 3 дня назад. Ну, ладно, и не надо. И не приезжайте, пожалуйста. И вы не увидите Ташкента. Не увидите улиц, обсаженных тополями, дали, покрытой пылью, верблюдов — по одному и целый караван, звездного неба, полушарием покрывающего землю, нашего дворика, убитого камнем кота Яшку, бывшего еще недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка, вынутый из воды, душа с проломанной крышей, под которым течет арык, еще много арыков, хозяйственную и сердитую Полю (впрочем, в последнее время заметно притихшую, т. к. у нее украли сумку с паспортом и всеми нашими карточками и пропусками), помидоры, величиной с детскую голову, загулявшего Луговского, нашу соседку — стерву, узбечек в паранджах, алайского базара, «старого города», мои этюды, солнца, от которого можно закуривать папиросы, хмеля на наших окнах, скамейку в парке, на которой я писала вам письма, мангалы, дымящие днем и волшебные по вечерам, москитов и мух, величиной с наперсток, луну, словно взятую из плохого спектакля, скорпионов, ишаков, виноград 20 сортов (правда, очень дорогой, но красивый), белую собачку Тедьку, которая кусает почтальонов и которой кто-то аккуратно и в абсолютно трезвом виде красит брови черной краской, тихое и прохладное ташкентское утро, телеграф, с которого я отправляю телеграммы, розовые стены и голубые тени в переулках, коз на всех улицах, ботанический сад и зоосад, где есть 3 дохлых крокодила, много козлов, еще больше кур, еще больше маленьких юннатов, еще больше цветов и тишины и один

маленький медвежонок (мой друг), Пушкинскую улицу, спекулянтов, карманных воров, торговок вареными яблоками и чесноком, ташкентских котов, особняков, самоваров, мою подругу Надю, Сашу Тышлера[62], Бабанову[63], дыню, ростом в бельевую корзину, изюм, грецкие орехи на дереве и на базаре, поэму моего брата, 22 карандаша, 15 записных книжек и маленького Будду, которые находятся на его роскошном столе, моих учеников и мою злость, мой красный зонтик, дома под названием «воронья слободка», девочку Зухру и девочку Василю, которая продает кислое молоко, спящих во дворе людей, желтые цветы под окнами, кухню с провалившимся полом, очереди в распреде, улицу Карла Маркса и улицу Весны, Бешаган и Урду, каменные ступени и траву, растущую на крышах нашего жилища, нашего уюта и беспорядка, старый веник, совок для угля, бумажные абажуры и лампу, сделанную из детской игрушки, глиняные кувшины, мебель, которую я сама красила, диван, на котором я пролила немало слез, папиросников на углу Жуковской, ташкентский трамвай, в который невозможно влезть, ярко-синего неба, белую акацию и адамово дерево, решетки на окнах от воров, нашу дворничиху, вокзал, желтые занавески на моих окнах, привешенные на биллиардные кии, плиту в глубине комнаты, саксаул, библию, сломанный штепсель, три разных стула и круглую черную печку в нашей комнате, мои самодельные карты, моих поклонников и дворника Лариона в том числе, лесенку на балхану, Ахматову в веригах, звонок у калитки и булочную на углу, похожую на крысиную нору, — всего этого вы не увидите…

Как же я могу соглашаться ехать с вами в Южную Америку, в Бразилию и еще в разные места, когда вы меня все равно обманете? То вы мне обещали, что 28 октября 42 года мы будем сидеть с вами в поезде, то поехать со мной в Бразилию…

* * *

Ташкент пустеет, уезжают последние друзья. Послезавтра едет в Москву Лена Булгакова (ее вызывает МХАТ). Очень грустно мне с ней расставаться. Во-первых, я ее люблю, и она была единственным близким человеком у меня в Ташкенте, во-вторых, мне без нее будет очень тяжело справляться с моим братом (вернее, с его желанием пить водку) и выдерживать на себе всю тяжесть неврастенических и творческих напоров этого незаурядного и милого, но очень тяжелого человека. Не до него мне сейчас, признаться. А он не знает никаких полумер в своем эгоизме, эгоизме, который всегда неразлучен (к сожалению), с

большой творческой жизнью.

Вот он занят уже 4 месяца своей поэмой[64] и не хочет думать больше ни о чем. Самое смешное, что я всегда мечтала, чтобы он начал работать не для денег, а «в стол», но теперешний быт, видимо, не может так долго выдержать «чистого творчества».

Наша Поля все это называет гораздо проще, она говорит: «хозяин дурука валяет». Вообще она очень смешно говорит — помимо «дурука» еще «втю» (вместо утюг), «уши» (вши) и т. д. Фишками она почему-то называет всех актрис…

* * *

Брат мой загуливает понемножку, что не мешает ему быть довольно милым парнем и писать (написал уже больше 20 глав) интереснейшую поэму. Просто даже, мягко выражаясь, очень большая и талантливая вещь.

В местном театре Кр. Армии пойдет «Дорога в Нью-Йорк», но с какими-то поправками Ялунера (?!). Что это значит — объяснить пока не могу, так как сама ничего не знаю. А как только узнаю (я уже настропалила Володю, чтобы он выяснил это дело), немедленно напишу. В театр этот влилась уцелевшая группа радловских актеров (и этот парень, который все кричал вам «сидишь?», «стоишь?» — помните, Федоров, кажется). Смирнов должен был играть главную роль (или это, кажется, на вашем языке называется «заглавная роль»), но переругался из-за жены, которой не хотели давать играть героиню и, кажется, уходит к Акимову. Оформляет спектакль ваш ленинградский и, на мой взгляд, очень слабый художник Блек…

1.10.43.

* * *

А я опять больна (это превратилось уже в привычку). В самом деле, я соревнуюсь с А. А. Ахматовой, с которой мы, к слову сказать, подружились[65]. Это была, пожалуй, одна из самых трудных побед в моей жизни.

Будьте… хорошим.

Т.

Ташкент. 21.11.43.

Это последнее письмо из Ташкента…

* * *

На последней страничке могу вам сообщить несколько сведений о небезызвестной вам Т.А. Л-кой. При обыске обнаружилось, что эта дама: 1) очень нудная, 2) способна только плакать, вязать кофточки, устраивать квартиры, ныть, писать этюды, болеть и делать из старых платьев новые, 3) она лишена воли и здравого смысла, 4) она абсолютно не деловита — даже рейсовую карточку умудрилась взять неправильную, 5) она уже не первой молодости и, прямо скажем, старовата, 6) она лентяйка и любит стоять в очередях, 7) она преувеличенно женственна и нерешительна, 8) она не хочет работать, 9) она похожа на придорожный столб, который только указывает дорогу, а сам по ней не идет, 9) она тщеславна, 10) у нее больная печенка, 11) она считает, что активность — самый большой недостаток у женщины, 12) клетка, в которой помещается гордость и самолюбие, разрослась у нее и приняла уродливую форму, 13) она устала и мало во что верит, 14) у нее отвратительный характер, 15) она считает, что мужчина должен брать ответственность за жизнь, 16) она никогда не забывает, что женщина всего-навсего сделана из ребра Адама, 17) она нервна и, я бы сказала, с налетом истеричности, 18) она не может разгрызать зубами (ввиду отсутствия последних) орех, 19) она сластена, 20) избалована, 21) иногда может быть злой стервой, 22) она считает, что если вы после этого списка будете все-таки относиться к ней хорошо, — то вы ангел, и она целует кончики ваших крыльев.

Т. Л.

Москва. Декабрь. 43.

1944 год

Потом война когда-нибудь кончится. Потом люди меня любят (до сих пор не могу понять за что — без всякого кокетства вам говорю) — в этом я убедилась. Ну и еще разные милые вещи найдутся — если их поискать хорошенечко. Главное, все на свете плод нашего воображения, и надо неустанно трудиться в этом плане и не давать холодному червяку сомнения забираться в наше сердце. Нужно верить в распрекрасное и тогда даже дрянь станет милее.

Я машу вам ручкой, говорю до свидания.

Москва. 29.01.44.

1945 год

Будьте уверены во мне и знайте, что я вас постараюсь никогда не подводить и приложу все силы, сделаю все, что смогу, чтобы вам жилось покойнее. Обнимаю вас, мой самый лучший и верный друг и самый большой учитель.

Т. Л.

12.01.45.

P.S. Когда вы приедете в Москву — я, наверное, уже уеду с Лаврушинского — потому я буду поджидать вас к себе в гости на Староконюшенный переулок. Я подумала тут как-то, что мы квиты, что «закон обратимости» вступил уже давно в свою силу и что все мучения, которые я причиняла вам в жизни, потом пришлось пережить мне самой.

Т.

* * *

Лёня, милый! Спасибо вам за память и за подарок. Все мне было доставлено во время. День, вернее, вечер своего ангела я провела хоть и в холоде, но в уюте и в шумной и многолюдной компании друзей и приятелей. Брат, который тоже был у меня, отмечал сегодня необыкновенную удачу этого вечера. Очень, говорит, было все хорошо, а главное, всем хватило водки (может быть, ему все представлялось в розовом свете, т. к. он был со своей любимой дамой). Действительно, водки хватило и оживления хватило и вообще всего хватило, не хватило только хорошего настроения самой именинницы. Грустно что-то мне, Лёня, но, я думаю, — может, это пройдет? Наверное даже, пройдет!

И вы не хандрите тоже. Это, вы знаете, бывают такие полосы в жизни каждого человека. А потом будет и хорошая полоса. Вы только не поддавайтесь и не падайте духом. И не забегайте вперед. И больше верьте в себя. И все будет хорошо.

О себе мне особенно нечего писать — я очень много сейчас хлопочу, но все это не доставляет настоящей радости. Руки опухли от стирки, уборки, мытья посуды, чистки картошки и т. п. вещей.

Плохо еще, что очень холодно. Но, наверное, все образуется. Правда ведь? Пишите мне чаще — уже по старому адресу. Не забывайте меня в беде.

Т. Л.

26.01.45.

P.S. А главное — раскладывайте чаще пасьянс из моих карт, и все придет в норму.

* * *

Лёнечка! Это я обновляю бумагу. Я только сегодня ее получила, и она мне пришлась по вкусу. Главное, это голубая, а я люблю традицию. Вот и все.

В остальном, особых перемен нет, я мечусь, как угорелая кошка, — на каждом шагу спотыкаюсь на новые дела, на свой собственный строптивый характер. Штурмую быт. Завтра пойду разговаривать о новой работе, что получится из этого разговора — пока трудно сказать. Сегодня первый раз в своей жизни выставляла отметки своим мальчикам и девочкам и страшно волновалась. И, кажется, перехватила пятерок…

Как ваша жизнь, удалось ли вам согнать хандру? С грустью должна признаться, что мой «сплин», видимо, превратится со временем в хроническую болезнь. Буду больная женщина, как вы правильно изволили заметить — однажды вечером на Лаврушинском переулке.

В Москве снег скрипит, морозы и салюты. И какие-то вечно недоделанные дела, угрызения совести, замерзшие руки, тоскливые штраусовские вальсы по радио и ночные разговоры с друзьями. И еще я вяжу бесконечные кофточки своим подругам. И думаю: «вот я свяжу ряд, а за это время какие удивительные, трагичные, трогательные, грустные и веселые вещи произойдут в мире, а я это время ознаменовала только новым рядом петель». Поколебалась моя вера в чудо, а в чудо обязательно нужно верить, иначе совсем скучно жить. Правда?

Т. Л.

31.01.45.

А нескладная моя судьба мечется и развевается, как тряпка на ветру — и холодно, и неуютно ей на ветру-то развеваться. Странная и чудная у меня жизнь и все-таки, я знаю, многие могли бы ей позавидовать. И хоть она, эта самая жизнь, и корчит мне гримасы и разные страшные рожи, я все-таки люблю ее. Если вы не будете мне часто писать — я подумаю, что вы нехороший друг и нехороший человек. Не забывайте меня.

* * *

Все-таки я как-нибудь доберусь до вас и крепко вас выругаю (помните, я обещала). Очень уж вы неправильно живете, просто, знаете, даже смотреть тяжело, как вы себя коверкаете. В этом отношении вы превзошли даже меня. Но вы не отчаивайтесь, все

это временно, все образуется.

Что же вам написать еще? Надо сказать, что мне немного трудновато сейчас жить во всех отношениях (и быт, и работа, и все другое), но я стараюсь не падать духом и бодрюсь, и глубоко верю, что «минует печальное время» и все будет хорошо в жизни. Нужно только иметь выдержку и желания, обидно только, что жизнь так быстро идет вперед. И оглянуться не успеешь, как она и пройдет, а я человек медленных темпов — все больше люблю размышлять, да мечтать, да стихи читать, да музыку слушать (кстати, о музыке — на днях Кабалевский очень правильно сказал мне, что музыка может менять не только настроение, но и характер. Это так и есть).

Вот еще плохо, что я немного (даже, пожалуй, много) запускаю работу. Заедает меня трудный быт и друзья, и знакомые, которые без телефона ведут себя куда как активнее (в смысле посещения моего дома), чем с телефоном. Но в этом тоже есть своя прелесть. Ведь приятно, что люди тебя не забывают, что в мороз и снег бредут к тебе, что они в тебе нуждаются. Сама я чувствую себя глубоко усталой и стараюсь поменьше покидать дом.

Как вы живете? От души желаю вам жизни радостной и спокойной. И еще желаю, никогда не говорить мне неправды (даже в «уме»). Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что единственно ценное на свете это дружба и вообще человеческие полные и правдивые отношения. И портить это — значит себя обкрадывать, т. е. поступать плохо и глупо. Если вас и за это время еще никто не гладил по головке, то я вас с удовольствием поглажу в конце письма. Будьте здоровы и веселы.

Ваша Т. Л. 22.02.45.

* * *

Все хорошо и жизнь прелестна. И я работаю с упоением. А за окном пляшет снег, и каждая снежинка величиной с помпон на детской шапочке. И батареи теплые, и я хочу быть счастливой. И не может быть, чтобы было иначе — потому что, во-первых, я этого хочу, во-вторых, «на ловца и зверь бежит». Очень печально, что я не могу делиться с вами этим чудным душевным состоянием.

Очень приятно, что такой веселый снег за окном… Очень приятно помогать людям. И приятно, что есть друзья, которые мне помогли, когда мне было худо. И приятно, что будет день рождения. И приятно, что впереди еще несколько неизвестных и

таинственных лет жизни. И приятно рисовать. Приятно было вчера проехать в машине в «Останкино», где все соединилось вместе — и снег, и зеленая трава, и небо, и старый дом, и парк, и даже астры под снегом, и покой, и тишина, и галки на полуоблетевших деревьях, и дымок от паровоза на горизонте. Приятно сознавать, что возить тебя гулять по первому снегу доставляет кому-то радость. Все, все приятно. И слава Богу, что это так Слава Богу, что «жив курилка».

Ваша Т. Л.

18.10. Москва.

Лёня, милый, нельзя так долго молчать. Настанет день, когда вы захотите сказать что-то, но язык у вас уже откажется ворочаться, и вы будете как глухонемой. И никто вас не поймет. Умоляю вас — поставьте себе в комнате печку и пишите ваши сочинения в тепле. Ладно? Желаю вам всего самого, самого лучшего и радостного.

Т.

* * *

Я пишу вам лежа в кровати, и поэтому письмо, наверное, будет выглядеть очень неаккуратно. Заранее прошу простить меня…

Лёня, я написала вам 18-го числа очень эгоистическое письмо, и мне стыдно за него. Нельзя писать такие письма. Пожалуйста, простите меня. Вообще, наверное, и чувствовать себя так нельзя, когда кругом столько неполадок и горестей. Понимаете, что получается, милый мой дружок? Получается, что я могу чувствовать себя счастливой (мне ведь так немного нужно), но этого счастья хватает только на меня одну. А моя жизнь связана с несколькими очень дорогими для меня людьми, и на них моего крохотного счастья уже не хватает, и я не могу сделать их счастливыми и, следовательно, и сама не имею права быть такой. Мне жалко людей, жалко, а помочь почти нечем. Очень обидно и очень тяжело, просто иногда сердце от жалости чуть не разрывается.

Это правда, что мы все нищие. И вас мне тоже жалко. Вы какой-то замученный, перекрученный. А я вас очень люблю.

Я тут думала как-то, что это закономерно, что половина ваших и моих (я зря вас ругаю за это) друзей принадлежит к той разновидности людского рода, которую надо прятать в шкаф. Потому что мы (вы и я) очень самолюбивы и не умеем, вернее, не

смеем из-за своего самолюбия нагружать своей судьбой друзей (я вот, например, даже мужа и брата никогда не могла нагружать своей жизнью — не то что друзей). А между тем очень хочется иногда разделить свои тяжести и получить от этого облегчение. Ведь даже существуют такие выражения на свете, например, — я хочу разделить ваше горе, я хочу разделить с вами вашу жизнь, или — поделитесь со мной вашей радостью и т. д.

Ну вот, а жители шкафов очень активны и значительно бесцеремоннее всех других друзей, и они сами ввязываются в нашу судьбу (без особых приглашений), иногда из любопытства, иногда из природной активности, а иногда и из добрых чувств. А мы, хоть и ворчим, но все-таки получаем от них небольшое облегчение. Правда ведь?

Был у меня мой брат и 3 часа доказывал мне (в абсолютно трезвом виде), что я дама очень прелестная, но дура — потому что окружаю себя людьми, которые меня не могут ни понять, ни оценить. Очень попало от него некоторым моим друзьям. Ну, в общем, договорились до того, что он жить без меня не может и что все в жизни проходит, а я остаюсь и что цену мне знает только он один, да еще двое его друзей, на которых я — дура — и глядеть не хочу.

Все это глупости, конечно, но человека жалко, потому что до какого одиночества нужно дойти, чтобы объясняться в любви собственной сестре…

Между прочим, одной из главных добродетелей выдвигалась моя повышенная впечатлительность, разность и частая смена этих впечатлений и т. д. (с тобой, дескать, никогда не бывает скучно, а все бабы скучные). Другими словами, неустойчивость психики, так ведь?

И вспомнился мне тут один разговор с вами, когда вы мне сказали: «странная вы женщина — сегодня говорите одно, а завтра с такой же силой убеждения — другое». И в словах ваших сквозил укор и даже обвинение. Может быть, братишка и прав, что заступился за меня? Может это действительно простая впечатлительность, ведь с основных-то устоев меня сдвинуть очень трудно. А вам как кажется?

Я часто думаю, что женщины сейчас очень многое растеряли, но, когда взглянешь на ваш пол, то совсем грустно становится. Я заметила, что 3/4 мужей моих подруг и знакомых ведут себя не как мужчины, а как бабы. Неужели совсем атрофировались такие качества, как мужское достоинство, чувство ответственности за судьбу женщины, чувство ответственности за свои поступки?

А если кто-нибудь из них и сделает что-нибудь ответственное, то сразу испугается, притихнет и замолчит, и

сидит тихонько, как мышка, и ждет, как поведет себя женщина. А, по-моему, для мужчины это унизительно. А, между прочим, — я вас уверяю — что 3/4 мужчин ведут себя именно так.

(Но вы ведь, Лёня, никогда не будете так поступать в вашей жизни? Правда ведь? Обещайте мне — потому что мне очень хочется думать о вас хорошо.) Или — может быть, это болезнь поколения? Потому что жизнь меня столкнула с людьми другого, более старшего поколения — и я вижу, что эти люди ведут себя в жизни и в отношениях совсем иначе. Тогда надо учиться у них и брать с них пример. Правда? Очень много у более моложавого поколения расхлябанности, безответственности, неврастении и трусости и очень мало ясных стремлений к цели и мужественности. Но любим мы все равно людей своего поколения — за исключением небольших отклонений от норм.

Вот так история! Как же быть? Или, может быть, просто права соседка по квартире Ниночки-сестрички, которая говорила, что «мужчины — это скот». Скот, не скот, но очень примитивны. Они как-то удивительно легко поддаются на любую дешевку, а понять настоящее не умеют. Это они заставляют нас быть хуже, чем мы есть на самом деле. А по-вашему?

* * *

…<Друзья> в последнее время и отнимают все вечера и даже ночи (вчера, например, в 12 часов пришел Фадеев, а в час ночи постучал Каждан, и оба они ушли в 4 утра). А я совсем не могу жить без тишины и одиночества. Иногда хочется забраться в такое место, где бы тебя никто, никто не знал. Но все-таки жизнь мила, и я настойчиво продолжаю это утверждать…

Зачем вы так много работаете? Неужели вам не жалко так растрачивать свою жизнь? Вы, по-моему, забываете, что она у вас одна. Болит у меня душа за вас. Ужасно вы стали нервным и усталым. И потом еще у меня создалось впечатление, что вы запутались в чем-то. В таких случаях всегда надо поделиться с кем-то (я, разумеется, намекаю на себя), и очень жаль, что вы так не откровенны. Такая скрытность — бессмысленная трата сил и отрава для души. Запомните это!..

Хотелось мне написать вам то задуманное письмо (в чистой комнате и с ландышами) про вас, про вашу пьесу, а вместо этого я пишу вам разные глупости про свою жизнь.

Я думала тут о том, что же, собственно, мне мешает в вашей пьесе (вы отгадали — мне что-то все время мешает). Ведь она на очень много лучше всего того, что я читала и видела за последнее

время. Я все в ней понимаю, все мне близко, наконец, в ней есть все, что нужно, и мне все-таки чего-то не хватает.

И я поняла: она написана не кровью, не участником (не поймите, ради Бога, меня буквально — какая страшная вещь письма), а наблюдателем — отсюда некоторая холодность и безупречность, которые мне мешают. Я чувствую в ней больше «записную книжку» и наблюдательность, чем ошибки сердца. И, мне кажется, что это дает себя знать ваше отгораживание от жизни, ваше одиночество (ведь большинство ваших отношений с людьми как-то случайно, как-то «не по вашей вине»), ваше чистоплюйство и (не обижайтесь) ваш эгоизм.

На мой взгляд, это «наблюдение» жизни, а не «притрагивание» к ней. Это главный и, пожалуй, единственный недостаток вашей пьесы. Вот и все. Мы встретимся с вами, и я вам тогда расскажу все подробнее, я теперь уже смогу обо всем этом говорить с вами. Только вы, ради Бога, не обижайтесь на меня, если вам покажется, что я грубо говорю о вашей работе. В письме всегда все очень огрубляется и очень коряво звучит, но вы же знаете, что я никогда не хочу вас обидеть (хоть и обижаю), а хочу вам, всей душой хочу — только добра.

Я надеюсь увидеть вас в июле в Москве. Меня тут чуть не увлекли в одну очень увлекательную поездку, но я устояла и, следовательно, весь июль я буду в Москве — про август еще ничего не знаю.

Я стала добрая и милая и это, по-моему, довольно прочно. Обнимаю вас от всей души.

Т. Л.

Ташкент 1942–1944 гг.

РАССКАЗЫ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ОБ ЭВАКУАЦИИ И ТАШКЕНТЕ

Перед войной у мамочки случился первый инсульт, она потеряла речь. Володи не было, я его разыскивала и дозвонилась Елене Сергеевне Булгаковой. Она сразу примчалась, помогала мне делать все, самую грязную работу.

Потом мы мамочку выходили, она совсем почти восстановилась.

В лето войны мы жили на даче долго, очень трудно было ее вывезти в Москву.

Осень 1941 года. Я привезла маму с дачи с Хотьково, куда мы после тяжелой болезни спрятали ее от бомбежек. Привезла, потому что стало холодно, да и Хотьково уже начали бомбить, и в Москве находился брат после контузии, она о нем волновалась.

Приехали под вечер. Газ почему-то не горел, мы разожгли примус, вскипятили чайник. Квартира неубранная и нежилая, в одной из комнат живет чужая женщина, лишившаяся угла из-за бомбежки.

Затемненные окна, свет только от примуса и наши огромные тени на потолке ее комнаты. Мама так была рада, что она дома, что мы снова вместе. Она сидела в кресле. Было тихо… Ждали бомбежки… И вдруг она запела (до этого около года она уже не пела, ей было запрещено, да и не могла она, голос пропал, было кровоизлияние в мозг). И вдруг запела, да так сильно, громко, молодо, как певала когда-то в давние дни… Мы все застыли и окаменели в тех позах, в которых нас застало ее пение…

«О, весна прежних дней, светлые дни, вы навсегда уж прошли», — пела она, и голос ее лился без усилий и заполнял не только комнату, но и всю квартиру. Остановить, прервать ее было страшной жестокостью. Творилось что-то важное, величественное, чего нельзя было прерывать.

Это было прощание с чем-то, утверждение чего-то значительного, вечного, что было важнее не только здоровья, но и жизни.

Отзвучала последняя нота арии, мама закрыла глаза и начала падать (точнее сползать) с кресла. Брат кинулся к ней, поднял. Мы перенесли ее на кровать. Она была парализована, недвижна и нема. Это был конец ее жизни.

Она прожила еще семь месяцев, но была уже другая. Такой,

какой она была раньше, до этого пения, мы ее уже не видели.

Дальше было только страдание и жалкое и мучительное существование. Жизнь ее кончилась на этой арии Массне. Кончилась на пении. Она уже перестала быть птицей. Больную и недвижимую мы потащили ее в Ташкент, так как брату было велено туда и он не мог оставить мать одну в Москве.

16 октября 1941 года в 6 часов утра, после бомбежки, позвонил Фадеев и сказал, что Володя, в числе многих других писателей, должен сегодня покинуть Москву (брат ночевал в редакции «Правды», и говорила с Фадеевым я).

— Саша, — сказала я, — а как же мама?

— Поедет и мама, — твердо заявил он.

— Но ведь Володя не справится с мамой, он сам болен…

— С ним поедешь ты, Таня, и Поля (домработница). Я вас включил в список Такова необходимость. Я сам приеду с каретой Красного Креста перевозить маму на вокзал и внесу ее в поезд. Собирайте вещи. Через два часа вы должны быть готовы. Все, — он положил трубку.

И действительно приехал. И действительно внес на руках в вагон маму…

Маму положили в мягком вагоне, а мы — Володя, я, Поля (Саша сказал, что она моя тетя) — ехали в жестком. Но я была все время с мамой, все десять дней почти не спала, разве что прикорну у нее в ногах. Мы ехали в купе с Уткиным — он был ранен и с ним ехала его мама. Мягкий вагон был один на весь состав. В этом составе ехали деятели искусств и ученые.

Мамочка лежала красивая, в чистых подушках — мы с Полей об этом заботились — и всем кивала — здоровалась. Любовь Петровна Орлова была от нее в восторге.

Я — «А что вы ели в пути?»

Т.А. — У нас был общий котел, что-то варили. Всем заправляла Орлова, ее на каждой станции встречали, даже на маленьких. Она тогда была очень популярна. И что-то давали — крупу, муку, наверное.

Приехали в Ташкент, нас уже встречала карета «Скорой помощи», маму отправили в больницу.

А потом, уже в больнице, с мамой случился еще один инсульт. Я приехала, она была без сознания, увидела меня (врачи мне до сих пор не верят), у нее что-то двинулось в глазах, сознание на миг проглянуло из мути и она сказала: «Я — пропала!»

Я тогда осталась в больнице с ней, на папиросной коробке нацарапала записку Володе, чтобы он прислал мне подушку, и послала с кем-то.

А на ночь в больнице никто из медперсонала не оставался.

Я уже заснула, вдруг стук внизу. Я удивилась, спустилась, смотрю — сторож из проходной: «Иди, к тебе пришли».

И как сейчас вижу — маленькая будочка-проходная, козырек на улицу, под козырьком лампочка тусклая и в этом свете стоит Елена Сергеевна с Сережей, своим сыном, ему тогда лет 15 было. Она мне принесла подушку, кофе в термосе, еще что-то. А идти далеко. Ташкент. Ночь.

Три раза Елена Сергеевна мне очень помогла — при первом инсульте, в больнице и когда мама умерла — обмывать, собирать.

А потом, когда стало немного лучше и мы переехали в отдельное жилище (раньше ютились в общей комнате), я там даже уют навела, я захотела перевезти маму домой. Но очень трудно было найти перевозку. Мы с Володей даже в исполком ходили, он все пальто распахивал, чтобы орден было видно. Наконец нам дали разрешение: если привезут раненого и больница его примет, на этой перевозке отвести маму.

Я трое или четверо суток дежурила в проходной. Наконец однажды ночью повезло — привезли военного в больших чинах, и его приняли. Я бросилась собирать маму, а она ни в какую — сознание же мутное. Тут случился один врач, ему было по дороге с нами, и он маму уговорил как-то, а то шофер уже пришел туда, что ему нужно ехать. Надели на нее пальто задом наперед, погрузили и поехали. Врача по дороге высадили, подъехали к дому, шофер носилки поставил на землю — дальше, как хотите — и уехал. Ташкентская зима, слякоть. Но тут Поля прибежала, помогли.

Дома мама немного отошла, стала узнавать. Один раз кто-то зашел, а она вызвала Полю: «Как ты встречаешь гостей? Купи торт, пирожные».

А Володя запил и пил ужасно, пока мама умерла, а потом, как отрезало.

Мама умерла в апреле. Весной, еще до смерти мамы, я получила телеграмму из Алма-Аты от Гриши, что он болен. Я собралась, билет было достать невозможно. Я дала деньги проводнику и поехала. Она посадила меня в пустой вагон, я забралась на верхнюю полку и заснула. Проснулась, а вагон полон солдат. Это было очень страшно. Но, видимо, есть во мне какая-то женская сила, я их удержала на расстоянии, кого-то даже перетянула на свою сторону. Только боялась спуститься, даже в уборную не ходила.

На вокзале в Алма-Ате меня встречал Гриша, как-то странно он болел. Правда, сказал, что встал меня встретить и действительно ему потом стало хуже. Я могла думать только об

уборной, он повел меня на вокзале в это учреждение. Я ничего подобного ни до, ни после не помню.

Потом он привез меня в Дом искусств, где все жили. Он жил в комнате на четверых. Мне показалось там чисто и сытно — за окном какое-то сало, мед, еще что-то.

Гриша лег, ему было плохо, а лекарств никаких. Я вышла в коридор покурить — смотрю, идет Любовь Петровна Орлова. Она кинулась ко мне как к родной, а ведь мы знакомы были только по поезду.

Потом я сидела около Гришиной кровати, вдруг в дверь тук-тук. Это пришла Любовь Петровна и принесла лекарства. Она же мне сказала, что я могу вымыться в душе. Я взяла мыло — это была тогда большая ценность, полотенце и пошла в душ. Там была небольшая очередь из известных артисток, одна даже была в халате с драконами. Вымылась. Так хорошо после поезда. Но где ночевать? Жена актера Грибова[66], с которой мы тоже были едва знакомы, взяла меня к себе на ночь, потому что Грибов снимался ночью, тогда все ночью делали. У нее была комната в первом этаже, но почему-то вся стена мокрая, это называлось мокрица.

На следующий день Грише стало хуже, я от него не отходила. Зашла Софочка Магарилл, мы с ней тоже только в поезде познакомились, но она почему-то очень меня любила, а умерла потом, заразившись сыпным тифом от Сережи[67]. Она его тоже любила и за ним ухаживала, а я только слышала, что болен Ермолинский, а кто такой даже не знала. В Сережу Маша была влюблена Смирнова[68], а Софочка дружила с Машей.

Дело к вечеру, я опять не знаю, где ночевать. Стою в вестибюле, курю, неподалеку стоит группа незнакомых мужчин и один из них говорит: «Где мне найти эту Луговскую?» Я подошла: «Это я». Он мне передал записку от моей приятельницы Люты[69]. Она узнала, что я в Алма-Ате, поняла, что мне негде ночевать и прислала записку с адресом. Там было написано, что она предупредила о моем приходе.

Я пошла по адресу, нашла маленький, занесенный снегом дом. Мне так странно и радостно было это — снег, домики в сугробах. Я люблю зиму. В Ташкенте ведь зимы не бывает, только слякоть. В домике меня встретила хозяйка Люты — украинка. Там было тепло, натоплено, тихо. Она меня покормила, и был белый хлеб, потом уложила на Лютину кровать — на кухне, за занавеской. Люта была редактор, работала в ночную смену.

Под утро она пришла, разбудила меня и проговорили до полудня.

Гриша медленно, но поправлялся, уже не помню как. Помню только, что под конец мы с ним даже в концерт ходили.

Когда я вернулась в Ташкент, мамочка уже очень сдала, как-то совсем отошла.

Потом я еще долго жила в Ташкенте, мне не хотелось в Алма-Ату, не хотелось Володю оставлять, и он просил.

Но потом все-таки уехала. Нам дали комнату, она была в самом конце коридора. Один раз я возвращалась с работы, смотрю, а около нашей двери кто-то возится, только силуэт виден, и как будто дверь открывает. Я подхожу, самой страшно, оказывается это Лёня Малюгин. Он навещал сестру и мать, и по дороге в часть заехал к нам незаконно. Он привез в платке перепелов и еще какую-то снедь. Я отказывалась, он настоял, и мы устроили пир. А вечером он уехал.

* * *

Когда мы приехали в Ташкент, маму отвезли в больницу, а нас поместили всех в какую-то большую общую комнату, вместе с другими людьми. На следующий день мы пошли в больницу навестить маму. По дороге я увидела почтовое отделение и решила зайти, чтобы известить, кого можно, где мы находимся. Там было две очереди — получать бланки и отправлять телеграммы. Одну очередь я выстояла, получила несколько бланков, но потом поняла, что опаздываю, и не стала отправлять.

Пришла в больницу, а там карантин, никого не пускают. Тогда я решила написать маме записку, может быть, она прочтет или хотя бы поймет, что к ней заходили, не забыли ее. Но бумаги не было. Я взяла один бланк и написала крупными буквами приблизительно следующее: «Мамочка, я здесь, не грусти. Посылаю тебе яблочко и конфетку. Мы с Володей устроены, все хорошо. Туся».

Но тут появился врач, остановился возле нее и спросил: «Вы к кому?» Я ему все рассказала, и он велел меня пропустить. Так что записка не понадобилась.

Когда шла обратно, увидела, что почта еще открыта, и зашла. Очереди почти не было, но бланки кончились. Тогда я написала на тех, что были, в Москву сестре Нине и в Саратов, где, по слухам, находился МХАТ, сестре Елены Сергеевны Булгаковой, которая была секретарем Станиславского и к которой, я знала, сходились все нити, она была как бы связной между многими людьми. Для телеграммы ей я и использовала тот самый бланк, на обороте которого писала записку маме. Все равно ведь бланк оставался в почтовом отделении.

Прошло время, мы получили свое отдельное жилье, на улице

Жуковского, переехали. Как-то, кажется, на базаре я встретила женщину, с которой тогда ютилась в одной комнате, и она сказала, что на мое имя пришло письмо. Она зашла. Оказалось, письмо от Леонида Малюгина, очень теплое, а в нем денежный аттестат. Из письма следовало, что адрес он получил через сестру Е.С., что знает, что Ольга Михайловна в больнице и что у нас трудно с деньгами.

Я недоумевала — откуда? Я же в телеграмме ничего об этом не писала. Сначала, из гордости, хотела отказаться от аттестата, но Малюгин прислал еще письмо, где умолял принять, говорил, что ему некому посылать деньги (он был не женат), а на фронте они не нужны.

Потом, уже в Алма-Ате, когда встретились, выяснилось, что в тот вечер, очевидно, на почте испортилась телеграфическая машина и какая-то сердобольная почтовая служащая вложила бланк в конверт и отправила почтой.

Малюгин в это время был проездом в Саратове, прочел записку на обороте и все понял. Аттестат нас очень выручил. Деньги были небольшие, но у нас и таких не было. Вот такая история.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА. ЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ

Володя жил под Москвой. Кажется, это был сороковой год, да, сороковой. Он позвонил мне — приезжай и оденься получше. Я оделась — у меня были такие вставочки из органди. Все хорошо, но на лице выступили пятна — аллергия у меня бывала, теперь уже нет. У него была комната большая. Пришел Маршак, сел под торшер, читал стихи. Он много знал наизусть. Бесконечно.

Потом Володя повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной. Она мне показалась очень старой. Ей было лет 50. Потом перестало так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман.

Т.А. Да, но я ее понимаю. У нее в жизни образовалась такая дыра, ее нужно было чем-то заполнить.

Когда Сергей Александрович ее первый раз увидел, он ахнул — субретка. И сказал: «Миша, ты сошел с ума!» А тот: «Не твое дело!»

А потом Елена Сергеевна с Володей поссорились, и она, назло ему, закрутила роман с Фадеевым. Фадеев ее устроил в эвакуацию, она даже ехала в мягком вагоне в одном купе с Софой Магарилл. Та была так хороша! Ходила в стеганном халате длинном и со свечой в старинном подсвечнике.

Вот откуда образ свечи в Володиной поэме! Саша Фадеев ее

провожал на вокзале. «Сердечный, славный друг, червонный козырь».

Мы с мамочкой ехали в купе с Уткиным, его мамой-старухой и женой, вроде бы женой. Мы с ней по очереди спали на верхней полке. А Володя с Полей ехали в другом вагоне. Поля приходила с подкладным судном, завернув его, никто и не знал. Володя все время стоял у окна с Зощенко[70], они говорили обо всем и так откровенно, что я пугалась.

А в Ташкенте Володя вдруг сделался энергичным, а то был вялый, отсутствующий. А тут Азия, он всех знал. И стал работать[71]. И Елена Сергеевна с ним помирилась. Одно время мы даже жили как бы одной семьей. Я навела уют — купила на барахолке два биллиардных кия и повесила занавески из простынь, выкрасив их акрихином. Еще купила детскую пирамидку. У Поли был поклонник электромонтер, он сделал мне лампу из пирамидки. Лена жила в том же дворе на балахане[72] — это так мезонин назывался. А вначале она жила на кухне у Вирты. Раз она позвала меня пить кофе с черным хлебом, я пришла, а там Анна Андреевна Ахматова. Она на меня не посмотрела даже, как будто меня нет. Лена[73] нас познакомила, она едва кивнула. У меня кусок в горле застрял. Она очень не любила, когда кто-то врывался. Потом я перестала ее бояться.

Володя, конечно, стал погуливать. Елена Сергеевна сердилась. Она ревновала его к врачу Беляевой — невропатологу. Это были две сестры, уже очень пожилые. У них был чудный домик с садом, весь увитый цветами. Полная чаша. Они были очень хлебосольны и обожали Володю.

Он у них укрывался, когда бывал пьян. Вернется и, чтобы загладить, говорит: «Лена, пойдем гулять». Помню, раз она надела новый костюм на многих мелких пуговицах. Неудачный. И туфли, которые ей жали. Они пошли гулять, и Лена вернулась с опухшими ногами. И я опять подумала — какая старая! Ей было года 53.

Володю женщины обожали. Была какая-то полуяванка, мы ее звали полуиванка.

В Москве, после возвращения, я жила у Володи в маминой комнате. Вдруг ночью стук, это Володя. И хохочет. Оказывается, он нашел письма этой полуяванки. У них лет десять назад был роман, а он ее не узнал и закрутил заново.

Его отношения с Еленой Сергеевной длились до того момента, когда он решил жениться на Елене Леонидовне.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В нашем семейном архиве хранится 18 писем Елены Сергеевны Булгаковой, 8 открыток, несколько телеграмм и записок. Долгие годы дружбы связывали ее с Татьяной Александровной и Сергеем Александровичем. Самое замечательное, что вначале она писала им по отдельности, никак не связывая их. Да они и не были связаны.

С Сергеем Александровичем Елена Сергеевна познакомилась с первых дней их совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем. Он сам так писал в своих воспоминаниях: «Итак — год 1932…В первый раз я шел в новый булгаковский дом настороженный. Лена (тогда еще Елена Сергеевна) встретила меня с приветливостью, словно хорошо знакомого, а не просто гостя». Потом были годы общений, взаимной приязни. Когда Михаил Афанасьевич заболел, они особенно сблизились — последний месяц Ермолинский вообще не покидал их квартиру. В конце 1940 года Сергея Александровича арестовали. Лефортовская тюрьма, пересылка, Саратов. Потом его отправили в ссылку в глубь Казахстана. Первая посылка, которую он получил, когда разрешена была переписка, была от Елены Сергеевны. Позже выяснилось, что собирать эту посылку помогала Татьяна Александровна. У них вообще были странные перекрещения судеб. Когда С. А. заболел брюшным тифом (это было уже в Алма-Ате), Татьяна Александровна помогала С. Магарилл и М. Смирновой собирать ему передачи в больницу. При этом они еще не были знакомы и почти ничего не знали друг о друге.

Татьяну Александровну и Елену Сергеевну свел, представил друг другу В. А. Луговской. Это было перед войной. Они вместе ехали в эвакуацию. Но особенно подружились в Ташкенте, где оказались в одном дворе. Татьяна Александровна несколько раз уезжала к мужу (Т. П. Широкову) в Алма-Ату. Вот тогда и возникла впервые их переписка. Всего несколько писем, последнее уже из Москвы, но сколько в них любви, дружества и незаурядности, объединивших этих столь разных женщин.

Кроме того, судьба архива М. А. Булгакова также была связана с семьей Луговских. Тамара Эдгардовна Груберт (первая жена В. Луговского), работавшая в театральном музее Бахрушина в Москве все военные годы, в конце 1941 года пишет Т. А. Луговской: «Никто от Булгаковой не приходил; конечно, если мне принесут, я сохраню, а тем более архив такого автора, как Булгаков». Позже Е.С. передала Т. Э. Груберт архив, который хранился, а точнее, прятался в музее Бахрушина до возвращения Е. С. Булгаковой из эвакуации.

С 1956 года она писала уже им вместе. Откуда только не приходили эти письма и открытки — из Ниццы, Праги, Куйбышева,

Малеевки. И каждое начиналось словами: «Дорогие мои!» Она их любила и порознь и вместе и всегда была душевно связана с ними.

Мы выбрали для публикации только ташкентские письма, потому что они наиболее полно отражают незабываемую жизнь тех лет.

Тут требуются пояснения. Владимир Александрович Луговской попал в Ташкент после болезни, осложнившейся тяжкой депрессией. В письме мне и моей маме писал: «Я болен всеми нервными болезнями, какие только возможны. Недавно освободили меня от военной службы со снятием с учета» и далее: — «Некоторые писатели возвращаются в Москву, но я очень болен и мне сейчас легче здесь. Буду, по возможности, лечиться. Авось все будет в порядке», — 1942 г., январь.

Это было очень тяжелое время для отца. Позже он рассказывал мне, что боялся смотреть людям в глаза — высокий, крепкий, без каких-либо внешних повреждений, а отсиживается в тылу. Никому ведь не расскажешь о болях, которые его мучили, о страшных бессонных ночах и сердце, которое выскакивало из груди.

Позже, когда у него случился первый инфаркт, врачи говорили, что сердце его было изранено до предела. Непонятно, как он жил дальше в эти отпущенные ему годы.

Л. В. Голубкина

ПИСЬМА ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ В ТАШКЕНТ (Публикуются впервые)

ТАШКЕНТ. 10.VI.42

Дорогая моя Тусенька, откладывала ответ на Ваше чудесное письмо, т. к. ждала оказии. Наконец сегодня, по-видимому, Таня Кондратова[74] едет и берет с собой письмецо и маленькую посылочку Вам.

Родненькая, если бы Вы видели, на что я стала похожа, Вы взяли бы назад все хорошие слова, которые Вы когда-либо мне говорили. Дело в том, что москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, — москиты, о которых все упоминали мимоходом, — искусали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200–300 открытых ран, т. к. я не выношу, когда у меня появляется хоть какое-нибудь пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что я испытываю при этом физическое наслаждение. Истинное слово, я не шучу и не преувеличиваю.

В результате, я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления, и он по-прежнему твердит, что милей мово на свете нет никого.

Затем — жара, это та самая адская жара, в которой мне лично безусловно суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов, уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжет зад, приходится подкладывать подушечку, а Поля с трудом ходит босиком по этим ступеням. Из-за того, что москиты летят на огонь, надо закрывать окна, а тогда — так душно, что потом и ночью не отдыхаешь. Я сплю голая и без простыни даже, никогда в жизни со мной этого не бывало.

Двор значительно опустел, уехали Вы, Леонидовы[75], Уткин[76] (слава Богу), Файко[77], — Зузу[78], наконец, — нас осталось здесь 21 человек. Двор большей частью пуст, это, впрочем, хорошо, т. к. если, напр., зачнется такое веселье, как было вчера, когда вытащили стол на улицу, пили, танцевали под патефон, Погодин[79] хамил, — я посидела для приличия 5 минут и ушла наверх. Через полчаса пришел Володя[80] и стал диктовать мне свою поэму для 2-ой книги «Жизнь». Боюсь сглазить — но, кажется, это будет замечательная вещь.

Володя — молодец, с ним хорошо и легко.

Сергей вчера прыгнул неудачно (подвязывал Поле хмель на крышу), сегодня прихрамывает. В общем же благополучен, днем ходит в трусах, вечером в белых брюках и при галстуке. Сидят на скамейке каждый вечер: Валя, Утя, Нил, Сергей. Флирт!

От Зузу приходит масса писем, из которых выяснилось, что она пишет во все города и никто не отвечает. Пишет, что любит меня, скучает. Работает, как вол, и стала такая, как я хотела. Писала в это же время, что в ее роскошном номере ванна с зеркалами, что приятно особенно потому, что она там проводит большую часть дня. Я ей не ответила, не знаю, что писать. На сердце пусто, Женя[81] на Западном фронте, пишет чудесные письма. Боже мой, только бы мне его не потерять.

Танечка, все Ваши заметки частью исполнены, частью будут исполнены. Поле я выдала 200 р. и сказала, что она будет получать так каждый месяц — 100 р. жалованье и 100 р. в счет долга. Вите[82] отдала 100 р. долга и бутылку масла подсолнечного. Вместо долга за сахар. Она довольна. Мухе первый раз послано, 13-го пошлю опять. На распределитель деньги даются. Одеяло и брюки получены.

Всю душевную картину своей жизни могу выразить в Сережиной[83] формуле в детстве: мухи портят советскую власть.

А я скажу: Зузу и москиты портят мою жизнь. Это — два больных вопроса.

Тусенька, я очень хочу, чтобы Вы помнили наш разговор о медовом месяце и т. п. Хочу, чтобы Вы были счастливы и довольны.

Целую Вас и Гришу крепко.

Володя, кот, сидит сейчас и работает, просит вам обоим передать привет и поцелуй. Сергей также. Поля также.

В посылке — забытые Вами вещи: кольцо, зеркало, бант и щипцы. Напишите о получении их.

Как я понимаю Ваши чувства по отношению к Л. Ужасно мешает чужой человек дома, как она не понимает, или не хочет понимать.

Целую, целую. Ваша Лена.

23.7.42. Алма-Ата

Милая моя Танечка, привез мне Володя Ваше письмо, очень грустное по существу. Да, очень было бы замечательно поговорить! Володя приехал совсем больной, еле дошел до дома, два дня лежал, не вставая. Сегодня пошел в комитет — говорит, нужно. Сегодня приехала Ирина Соломоновна[84] с Милочкой[85]. Недели на полторы — две. Милочка сейчас сидит у меня и читает Гулливера. На днях приезжает Зюка[86], как она пишет, проездом — надеется попасть в Москву. Попросила разрешения остановиться у меня. Да-а… Володя привез ворох работы, а у меня, как на грех, сломалась пишущая машинка. Иду в город за мастером. Целую Вас, родненькая. Эта открытка не в счет. Напишу еще. Целую Вас. Ваша Лена.

Дорогая Туся, не удивляйтесь странному ассортименту посылки, это все, что выдавали в эти дни в военном магазине. Поэтому простите и скушайте на здоровье.

Лид. Льв. пришла, и так молниеносно все надо делать, что я не успеваю ничего путного Вам написать. Просто целую Вас и Гришу крепко.

Ваша Лена

Володи нет дома, он в столовой. Он — молодец.

13/9.42.

Ташкент, 23.XI.42.

Дорогая Туся,

Володя Вам, конечно, рассказал про Сережину болезнь. Сейчас ему лучше, я надеюсь, что через дней десять он будет дома. Он дико худ, бледен, зелен, покрыт прыщами. Ну, да

ничего, вот попадет домой — постараюсь привести его в порядок. Тем более что написала Евг. Ал. — что прошу его устроить в лучшую столовую и распред.

Сегодня Сергей в письме написал: «Тюпа, как я тебя люблю, передать невозможно. И Володю тоже. Он очень хороший. Я тут думал о нем и решил, что он хороший человек».

Прочтите это Володе.

Тусенька, если бы мы встретились — то, наверное, суток двое просидели в разговорах — ведь все пришлось бы рассказать. Но главное — это Ваша любимица м-ме Зузу. Это Вам не фунт изюма. Грандиозно!

Туся, не сердитесь, что не писала. Очень сложное было время, очень. Думаю, что по Володиным рассказам многое станет Вам ясным.

Сейчас привожу в порядок все, начиная от корреспонденции и кончая платьями.

Сумятица в душе и неразбериха в шкафу и чемоданах. Кроме того, занимаюсь сборами вещей для продажи.

Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе М.А.[87]?

Целую Вас, Туся, целую Гришу и целую Володю.

Бегу на свиданье с Сергеем.

Ваша Лена

Ташкент, 10/I — 43.

Дорогая Тусенька. Наконец-то собралась побеседовать с Вами. Спасибо за все — за нежность, за память, за чудно вкусную дыню. Ваши письма волнуют и чаруют своей полнейшей неопределенностью и английским туманом. Мне это напомнило один прелестный рассказ Грина, забыла, как он называется, когда человек знакомится на рынке с девушкой, сразу пленяется ею, она закалывает ему воротник своей английской булавкой, дает ему номер своего телефона. Потом ночь. Голод. Он идет ночевать в помещение банка. И оттуда хочет позвонить ей. И вот напряжение памяти — забыл телефон. Наконец набирает номер. Шум в трубке, неожиданно ее голос. Потом пропадает. И вот это-то — его муки, его безумное напряжение, его ужас при потере — все это я испытываю при чтении Ваших писем. Вот-вот, кажется, сейчас услышу что-то чрезвычайно важное, вся вытягиваюсь, впиваюсь в строчки… Ничего. Голос пропал.

Ах, Таня, Таня!

Володя очень хорош. Не только по моим наблюдениям, пристрастным, по всей видимости, но и по посторонним мнениям. Конечно, я человек дотошный, мне всегда кажется — а

— ну-к еще протереть раз тряпочкой, потом помыть, потом еще зубным порошком потереть, — и тогда уже чистое золото получится! Всегда я так поступала, потому думать мне непривычно, больше я чувствую да делаю. А теперь что-то неожиданно подумала — а вдруг не надо оттирать, а оставить, как есть.

Сергей выправляется. Повзрослел, стал получше.

От Женечки письма приходили все время чудесные, а последние два-три — прямо чистый шизофреник, хрен его возьми! Из-за этого дрянца, как эта Дзюка (так ее назвала одна Володина приятельница), мальчик себе душу надрывает.

Кроме того, в балахане поселилась одна знакомая девочка. Но утомила всех нас безмерно и теперь никак не могу ее упросить поискать себе другое «водоизмещение». Я сегодня спросила ее: ну, а если бы меня не было в Ташкенте, ты где бы жила? Отвечает: в общежитии. — Так почему же?!

Прожили у Володи в его отсутствие Паустовская[88] — с неделю. Очень мне понравилась. Разрисовала мне комнатку. Очень остроумно: над кроватью моей с белым покрывалом — на стене нарисовала дорожку — рисунок с покрывала. Потом еще очаровательно — на печке сделана как бы крышка футляра мирленовских духов: тоненькая девушка в пышной юбке, с крестиком на шее, с букетом цветов и корзиной в руках. Фотографии — в рамках, нарисованных на стене. Много милых выдумок.

Танюша, Вы пишете, что в начале января приедете. Жду вас с нежностью, целую и обнимаю крепко, хотя Вы ведь всегда стыдливо отворачиваетесь, когда Вас целуют.

Это — всегда?..

Ваша Лена

Сердечно целую разлюбившего меня Гришу и благодарю Вас обоих за телеграмму.

ОТКРЫТКА: Ташкент Жуковская 54 Татьяне Александровне Луговской для Яшуши[89]. Москва Фурманова ул. 3. Кв. 44 Е. С. Булгаковой. ШТЕМПЕЛЬ: 2.8.43 Ташкент Проверенно военной цензурой.

23. VII.43.

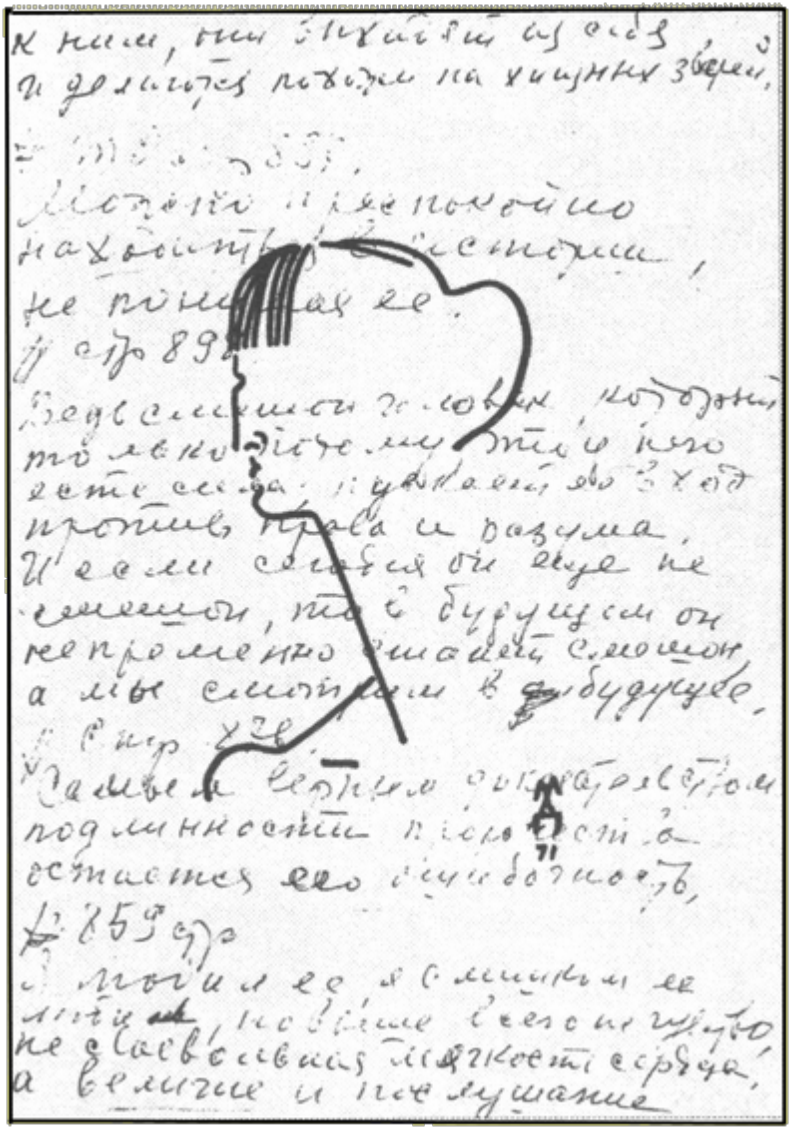
Яшуша, дорогой!! Как мне Ваше письмецо понравилось! Какие Вы умненькие, душечки! А Полька — они себе позволяют! Как это они могут говорить, что Вас не возьмут в Москву. Я вам советую тогда, просто заберитесь тогда к дяде Володе под пуджак, у него такое пузо, что все равно не заметит никто, и вы предете в Москву. А тетка Туша тоже хороша, подруга, подруга, а теперь

Польке потакает! Я вам советую ей тоже наложить в туфульки. А уж огурцу, пожалуйста, как следует, еще раз! — Что за безобразие, что вам черепак не покупают. Вы не садитесь с ними за стол, если нет прибора и нет черепаки.

Тогда они будут знать, как с родственниками обращаться. — Здесь, в Москве, у тетки Оли[90] тоже есть котик, нажувается Кузьма, я с ним подружилась. Они страшные кусаки, я их иногда по задам хлопаю за это. Но потом они опять ко мне полезают. Когда вы приедете, вы познакомитесь с ними. — Отчего вы так редко пишете? Пишите мне, мне очень понравилось ваше письмецо. — Целую вас крепко и очень шчотаю жа подругу. Шележка уехал учиться, станет теперь умным.

Ваша тетка

ВОСПОМИНАНИЯ



ЕРМОЛИНСКИЙ. НЕНАПИСАННАЯ КНИГА

* * *

Вот когда пришло время мне непрерывно думать о тебе, Ермолинский. Раньше я боялась, а теперь мне уже пора умирать.

* * *

Вот он стоит передо мной, слегка под хмельком, в старой, прошедшей все этапы и тюрьмы[91] шубе, нахохлился, как больная птица. Стоит в подворотне, около помоек. Коты с диким визгом носятся по этим ящикам. По помойным ящикам. И я чувствую, что я должна что-то сделать, что-то важное. Такое важное, от чего зависит и моя жизнь. А я не могу сказать этого. Гордость сковывает меня.

— Скажите, что мне делать с моей гордыней, как быть? — вместо этого говорю я.

Человек, стоящий передо мной, нахмурился, задумался, держась обеими руками за измятый воротник.

— Попрать! — так громко, что коты прыснули в сторону, произнес он, повернулся и твердо, вдруг совершенно протрезвев, пошел прочь.

А я тихо побрела к своему дому. Но именно около этой помойки я поняла, что я должна делать: попрать гордыню.

* * *

Все дело было в моей гордыне и попрании ее. Конечно, видимо, было много трудного, но сейчас мне кажется, когда уже все отстоялось, что все было только счастьем.

И сейчас, конечно, я счастлива. «Счастливая старуха». Мешают болезни: астма, сердце, сломанное бедро, мешает старость, себялюбие, телевизор, желание ничего не делать. Но, в общем, счастлива.

Звонила Крымова[92], говорила, что мне необходимо писать о С.А., а я говорила, что мне трудно, что все очень близко и мне надо прожить 100 лет для того, чтобы начать писать.

* * *

Милый Сережа!

Неужели мне не хватит сил написать про Вас, и я так и умру молча? Я ведь столько могла рассказать про Вас людям. Тяжелая занавесь молчания окружает меня. И полное бессилие!

Вспоминаю, например, как мы познакомились с Вами.

Помните, как я пришла в 1947 году к Фрадкиной[93] слушать «Грибоедова»[94], и навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный, так мне показалось, белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были Вы.

Фрадкина позвала еще каких-то режиссеров, в надежде, что они возьмут Вашу пьесу.

Вы читали, заметно волнуясь, из-за этого я слушала плохо: это мне мешало.

По окончании чтения все выпили водки, растерзали Елены Мих. салат и побежали в ВТО, которое помещалось рядом, за добавочной водкой. Все стали пьяные (потому что закуски не было). И вы начали кричать, что они дураки и ничего не понимают, и как только им авторы доверяют свои пьесы. А они тоже что-то кричали, но все кончилось взаимной любовью. Пьесу хвалили, но ставить ее никто не собирался.

Вы содрали у меня с пальца бирюзовый перстенечек, сказали, что он принесет Вам счастье. Потом все ушли. На улице я оказалась между Вами и Гушанским[95]. Оба Вы сильно качались. Когда у Никитских ворот я спросила, где Вы остановились (зная, что Гушанскому надо поворачивать на Никитскую), я получила ответ: — Буду ночевать на бульваре. — Я этого не допущу, пойдемте ночевать ко мне.

Пьяный Гушанский демонстративно качнулся, надвинул шапку на лоб и зашагал прочь, всем своим видом показывая всю недопустимость моего предложения. Среди ночи дама зовет ночевать первый раз увиденного человека.

Мы закачались в Староконюшенный переулок. Мои окна были освещены. К чести моего мужа должна сказать, что он встретил нас радостно.

— Сережа, откуда ты взялся? (Действительно, откуда? Они знали друг друга с незапамятных времен.)

Появилась припрятанная четвертинка, встреченная восторженно. Я легла спать в маленькой комнате. Они в большой коротали ночь.

Я проснулась утром от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой: — Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она взяла меня в свой дом.

Вот так состоялось наше первое знакомство.

Потом Вы уехали и писали мне короткие скорбные письма. И в каждом письме — грузинский рассказ. Получалось очень толстое письмо.

Вы пили грузинское вино и тихо погибали в Тбилиси, а я в

Москве все время думала о Вас.

* * *

Вспомним, как мы первый раз сели на пароход «Радищев». Колесный еще пароход. Какое это было счастье иметь над головой крышу и быть вместе. Мы выходили гулять на всех пристанях, мы радовались шлюзам.

В мутном воздухе шлюза мы толчками поднимались вверх. В воде плавала пена, похожая на гигантские плевки.

Из-за холодной и мертвой стены шлюза, словно приподнимаясь на цыпочки, стала появляться жизнь в виде домиков с красными крышами, дороги и нескольких голодных и тощих собак.

Над Угличем кудрявились старинные облака.

Церкви большими просфорами лежали на горизонте, заключенные в клетки из проводов и вышек.

Чистенькие старушки продавали на косогоре топленое молоко и китайские яблочки.

* * *

Единственное, что омрачало мое настроение — это Ваше тяготение к буфету. Мы называли его — буфэт. Вы тогда старались заглушить, забить тюремные впечатления глотком горячительного. На каждой остановке, озирая окрестности, Вы радостно восклицали: «Буфэт!» «Буфэт», — вторила я сокрушенно, стараясь отвлечь Вас от него. Иногда удавалось.

Подъезжаем к Саратову, вдруг Ермолинский строго и, как мне показалось, даже резко заявляет мне:

— Таня, я хочу выйти в город один.

С нами крестная сила, этого еще не хватало.

— Может, Вы хотите напиться? Это можно сделать и при мне.

— Не хочу.

Переполненная недоумением, остаюсь на пароходе. Стоянка не длительная. Первый звонок. Второй. Готовый к отплытию пароход начал дрожать (он колесный). С тревогой смотрю на пристань. Третий звонок. Среди редких людей показалась светлая голова Сергея Александровича. Стук в мою дверь.

Позже он рассказал мне всю свою историю, связанную с Саратовым. Раньше он избегал говорить об этом.

Когда началась война, Сергей Александрович находился в саратовской тюрьме, сначала среди уголовников, потом его перевели в одиночную камеру. Он очень ослаб, началась цинга, нарывы на ногах. Он уже почти не вставал. И вдруг однажды его вызывают к начальнику тюрьмы (дело было к вечеру) и зачитывают постановление о том, что он подлежит высылке на три года в Кызыл-Орду. Его предупредили, что в течение 24 часов он должен покинуть Саратов.

Ворота тюрьмы захлопнулись за ним. Куда идти? Город был совершенно не знаком ему. В каком-то беспамятстве он шел, куда глаза глядят. Оказался на окраине. Темно. Он брел, спотыкаясь, иногда падал. Тюрьма уже казалась ему раем. Потом он набрел на какой-то дом. Из последних сил дотянулся до двери и постучал. Сначала ему не хотели открывать, но он так жалобно просил, что дверь приоткрылась и его втащили в дом. Его спасительница была простая женщина, работала на заводе. Ее звали Прасковья Федоровна Новикова. Она жила одна. Муж и сын погибли на фронте. Она выходила его, хотя он не скрыл, что из тюрьмы. Он несколько раз порывался уйти, чтобы не подвести ее, но она не пускала. Когда он немного окреп, то все-таки настоял на своем отъезде. Она проводила его до вокзала, перекрестила и заплакала.

— Христос с тобой, Ермолов (так она его называла).

Война, ссылка, болезни, другие мытарства стерли в его памяти ее адрес.

А теперь он решил ее разыскать. «Постоял, подумал: в какую сторону идти? Кажется, река была слева? Пустое поле поднималось перед глазами то выше, то ниже — холмы. Ни дерева, ни строения. Время уже на исходе, мне нужно возвращаться на пароход. Вдали показалась фигура с громоздкой поклажей на плече. Она то исчезала в низине, то опять появлялась на холме. Уже ясно было видно, что идет женщина. Я остановился с надеждой спросить у нее, где же тут могут быть хибарки и куда они делись? Или я пошел в другую сторону? Приблизившись ко мне, женщина вдруг бросает поклажу на землю и с криком „Ермолов, жив?!“ начинает обнимать меня. Передо мной стояла сама Прасковья Федоровна. Все, что я успел, — это расцеловаться с ней и записать ее адрес».

Невероятно! В жизни такого не бывает!

С этого времени в течение нескольких лет во взаимоотношения с Прасковьей Федоровной Новиковой вступила я. Пошли посылки из Москвы в ее адрес. А потом пришло печальное известие, что адресат выбыл. Смерть прервала эту связь с Прасковьей Федоровной, женщиной, спасшей жизнь

Сергею Александровичу… Вот такой необыкновенный случай был с нами, когда мы в 1949 году плыли на колесном пароходе «Радищев» в Астрахань.

* * *

Мы сидели на бульваре. Собственно говоря, это был не бульвар, а кладбище, которое тянулось вдоль всего Сталинграда. Будущего Сталинграда. Ближе к реке стояли трущобные черные дома. Около бульвара кое-где вырастали новые. Ближе к окраинам люди жили в фундаментах бывших домов или в подвалах. Так, среди кирпичной кладки проделано окошечко сантиметров 30, и на нем даже повешена половина занавески и цветочек в каком-нибудь черепке стоит. Все как следует…

Вдоль города все могилы, могилы и цветы около них. Так проглядывал будущий бульвар. Легкий ветерок приносил запах тлена.

Все смешалось вместе.

Бульвар вытеснял кладбище. Стояли лавочки, намечались будущие фонтаны, в которых вместо воды стояла грязь.

* * *

Я приехала в Верею. Лена Фрадкина мне позвонила оттуда, что она сняла мне комнату. Это был первый раз, что мы будем жить вместе с Сережей, не на пароходе, а в доме, и это был очень важный момент в моей жизни.

У С.А. еще не было настоящего паспорта, и мы должны были жить врозь: я — дома, а он у тетки.

Итак, я приехала в Верею. Я нашла этот дом. На крыльце хозяйка разжигала примус. У нее не было рук, только два пальца, остальное культи. Она умело владела своими обрубками. Была еще нестарая и довольно красивая женщина.

Провела меня в комнату, выкрашенную в ужасный голубой (скамеечный) цвет.

В углу запихана швейная ножная машинка, в другом кровать с продавленным матрасом. Вот и все. Под грязным окном, почти вплотную дачная уборная.

Внесла вещи и в отчаянии села на драный пружинный матрас.

В этой комнате нельзя было жить. Здесь можно было только погибать. Я хотела жить, поэтому вышла на улицу и пошла, куда

глаза глядят. Через лужайку, по утоптанной глиняной розоватой тропинке мимо колодца, мимо чужой, не одинокой жизни, мимо забора и сада, увешанного яблоками.

На заборе сидел озорной мальчишка. Счастливый дом, окруженный яблоками.

— Мальчик, мальчик, — сказала я, — не сдается ли здесь комната?

— Нет, — сказал он, сплевывая. Потом ткнул пальцем в дом напротив (я не смела подойти к нему, так он был важен и красив) и сказал:

— Вон туда стучись, там жильцы съехали на днях: очень петухи кричали. Спать не дают. Хозяйка курей держит.

* * *

Совершенно очевидно, что я не буду писать о Булгакове, которого я не знала, хотя и любила, а только о Ермолинском, которого и знала, и любила. О его трудной жизни, а не о Булгаковской.

* * *

Милый Сереженька!

Вас уже нет на свете, а я все время с Вами разговариваю… Да, Вы были правы, а я была дурой! Вы были правы, когда говорили, что Булгаков гений. И не оттого я убедилась в Вашей правоте, что все кругом кричат, что Булгаков гений, и пишут про него и вдруг все стали его друзьями. Нет, не от этого, просто я сама по себе, как в потемках, пробираюсь к Вашим словам и перечитываю «Мастера и Маргариту».

Какая непоколебимость, какая твердость духа была у Вас! Я все время думаю, что я должна, я обязана написать о Вас. Но мысли рвутся, все какие-то куски сцен в голове, и на глаза набегают слезы… Буду писать кусками, отрывками.

Рука не пишет, глаза не видят, голова, как болванка для шляпы.

Вы твердо говорили: Миша — гений. А я Вам: — Почему Вы так твердо это говорите? Вы же в ответ: — Когда Булгаков первый раз прочел кусок из «Мастера и Маргариты» (кажется, это было где-то около или на Собачьей площадке), и Миша неуверенно посмотрел на меня: — Ну как тебе? — Я твердо ответил ему: — Миша, по-моему, это гениально. И сейчас я говорю то же самое. И

Вы увидите, что через три дня, как только будет напечатан «Мастер», то же самое будет говорить весь мир… — Какая преданность духа! Спорить с ним и возражать — было бессмысленно.

* * *

Почему Вы не написали, что у Вас сохранились ответы Булгакова на Ваши «шуточные» вопросы, которые Вы задавали ему перед его смертью, желая под любым предлогом выудить из него побольше фактов его жизни? Вы были уверены, что со временем это будет драгоценным документом. Исповедью гения.

* * *

Вы ведь всегда говорили: — Миша был гений. А я спорила, не понимала.

Не будем забывать, что это сочинение писалось в 60-е — 70-е годы[96], задолго до всех последующих публикаций о Булгакове и было опубликовано после 3-х лет хождения по инстанциям только в 81-ом году, с изъятиями цензуры.

Есть разные подвиги. Быть гением тоже подвиг. Ратное поле тоже подвиг. Отсидеть за своего друга в тюрьме и после этого в трудные годы молчания и опасности написать откровенно про его жизнь — тоже подвиг.

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя.

* * *

С. Ермолинский работал над записками о Булгакове буквально до последних дней; они обрываются на полуслове. Еще раньше, поняв, что жить ему осталось мало, он составил конспект 2-й части (в комментариях).

* * *

Не только мы выбираем друзей, но ведь и они нас выбирают (это о Сергее Александровиче и Михаиле Афанасьевиче).

Страшные сомнения обуревают меня. Как я должна писать?

То, что я знаю и слышала и что С.А. даже для себя, даже шепотом, даже для памяти — не смел написать (только один раз в жизни он мне все рассказал)?

* * *

Сергей Александрович даже в самые счастливые периоды своей жизни все равно ощущал необходимость выброса из души отравы и унижения, которые оставила в нем тюрьма.

* * *

Все отвиливаю и отвиливаю я от работы, то дождик пошел, то приступ астмы начался, то очень тяжело перечитать рукопись. Да тяжело, да астма, да дождик — все это есть, но трудиться надо, пока я еще жива.

Давайте-ка пошутим с Вами, Сереженька, как мы это делали неоднократно. Навалили Вы на меня работы — выше головы, сами исчезли, а я должна отвечать за каждое словечко, каждую буквочку. Могу ли я притронуться к Вашим строчкам? Нет, не могу! Не имею права. Давайте вместе вспоминать все сказанное мне и не указанное в Вашем черновике.

Почему нет увлекательного рассказа о том, как Вам по распоряжению пахана торжественно вернули украденную одежду? Почему не рассказано, как, сгибаясь под тяжестью досок, носили в парильню уголовники Ваши нары, а Вы шли в баню барином рядом с паханом?

Ведь вы сами говорили, что эта жизнь была единственным счастливым временем Вашего заключения.

В 1948 году Вы приехали насовсем в Москву. На птичьих правах, но приехали, и Тетка (Тека) А. Я. Ульянинская определила Вам комнату, начались хлопоты о прописке. Разрешили на полгода, потом опять хлопоты, милиционер, вызовы, куда надо. Отказ, разрешение и так далее.

* * *

Я-то знаю, сколько скрыто за этим скупым текстом, сколько звонков по телефону в КГБ, вранья его сестре, отказов в прописке, прятанья его у меня от милиционеров, которые приходили к тетке выгонять его из Москвы, вздрагивания его руки, если мы

встречали милиционера на улице, ночных вызовов в таинственный номер на Арбате к оперуполномоченному, подлостей бывших «друзей» и т. д.

* * *

Мне бы хотелось, чтобы этот страшный анализ крови длился вечно и никогда не был известен его страшный результат. Мне совсем не трудно ухаживать и не спать, лишь бы не чувствовать конца.

* * *

Все хуже и хуже. Очень худеет. Был Сережа Юрский[97], навез фруктов. Был врач, Берта Михайловна[98]. Звонила Зоря[99]. Приходил экстрасенс Ал. Сол.

* * *

Хорошо (отчетливо) помню, что взглядом спросила Данина, можно ли мне прощаться, и он тоже взглядом (не кивком) сказал мне, что да, можно.

* * *

Человек абсолютно мужественный и решительный.

Это был человек, который жил со шпагой в руках, бросая вызов собственной жизни.

* * *

Как мало остается от человека, какая-то горсточка чувств. Раньше я думала, что написано карандашом, то не вырубишь топором — и человек жив, а теперь вижу, что все это моментально забывается. Затягивается тиной и все. Больно мне сознавать. Никогда не забуду, когда мы хоронили урну с Сережиным прахом и уже в папиной могиле сделали для нее домик, я вдруг заволновалась. А где же урна. Мила приоткрыла пальто. «Здесь». И за пазухой у нее была урна. И это все, что осталось от Сережи. Накрапывал дождь и было сыро. И грустно,

грустно стало мне. И грусть эта не проходит до сих пор. Как мало остается от человека.

* * *

Стучит мне в сердце «твой пепел, Клаас». Сереженька, простите меня.

АХМАТОВА

Ахматова заболела скарлатиной, и шлейф из дам около ее дома исчез. Я скарлатиной болела в детстве. Я скарлатины не боялась, и из-за этой скарлатины я перестала бояться и Ахматову. Каждый вечер в назначенный час, когда темнело, Надя Мандельштам кричала сверху: «Танюшо-о-ок!» Я снизу басом: «Надюшо-о-ок!» После этой переклички я отправлялась на балахану. Свет не горел. Электричество было в это время выключено, в комнате горела коптилка, ничего не было видно, мерцающий свет и тень клубились в комнате. Анна Андреевна лежала одетая на раскладушке. Темнота страшно ободряла, темнота скрывала ее строгие глаза и давала мне свободу. Не помню, что я рассказывала, помню только, что очень много смеялись. Несмешливая Анна Андреевна тоже смеялась.

В один из этих «темных» вечеров Анна Андреевна протяжным голосом, прерываемым легким хмыканьем, рассказывала историю про собаку Шилейко.

Шилейко (второй муж Ахматовой) был очень ревнив. Он тяжело болел (кажется, туберкулезом), он страдал, он раздражался и мучил беспочвенными подозрениями свою жену. Была у Шилейко собака — большая, умная и очень ему преданная. Собака эта так привыкла к хозяину, что повторяла все его движения, позы и даже мимику. Шилейко умер, прошло время траура, и днем у Ахматовой собрались гости на чашку кофе. Как только сели за стол, на кресло Шилейко вспрыгнула собака. Шла общая беседа, но стоило только Анне Андреевне оживиться и вступить в разговор, как собака Шилейко, рыча, ударила лапой об стол, приподнялась и строго посмотрела на свою хозяйку. Анна Андреевна говорила, что ей стало очень страшно и что она этого взгляда никогда не забудет.

Помнится, тогда же она рассказала и про то, как ее отца одолевала своей любовью некая дама. Ужасно она к нему приставала, звонила по телефону, поджидала на улице и все время говорила о своей любви. Все смеялись, и имя ее стало

нарицательным. И девочка Ахматова обещала себе тогда: никогда не быть на нее похожей, никогда не клянчить взаимности.

И еще она рассказывала, как поехали они, будучи молодыми барышнями, из Царского в Питер на бал. Веселье затянулось, и они решили танцевать до утра.

Там был и Бальмонт. Он не танцевал, не веселился, не уехал, а всю ночь простоял у колонны, скрестив на груди руки. Он ворчал, он осуждал веселящихся, он говорил, что ему скучно и… не уезжал!

* * *

— Танюшок![100] — несся с балханы голос Нади.

— Надюшок[101], — отвечаю я басом снизу и минут через пять уже скрипела по лестнице к ним на балхану. Горел ночник — фитиль в маленькой бутылке. Прячась за темноту, я начинала рассказывать и изображать, уже не боясь Анну Андреевну. Фитиль иногда вздрагивал, вырывал из темноты Надину кофту или античную ступню Анны Андреевны, которая лежала на раскладушке, — маленькую и ровную, не только без мозолей, но и без малейшего повреждения. Закинув руки за голову, она была повержена скарлатиной на раскладушку.

* * *

Отчетливо помню, как глубокой ночью в 1943 году мы уезжали из Ташкента в Москву. Среди немногих провожающих выделялся профиль Анны Андреевны Ахматовой. Она любила нашу осиротевшую семью и очень высоко ставила поэму брата, интересовалась ею и всегда просила читать ей новые главы. На вокзале было промозгло и сыро, я сидела с Анной Андреевной на отсыревших досках. Хотелось сказать и услышать какие-то последние слова.

Сутулый, совсем больной, с папкой в руке, появился мой брат.

— Татьяна!

— Что?

— Где моя поэма?

— Володя, она у тебя в руках, если хочешь я уложу ее куда-нибудь.

— Ни в коем случае!

И, хромая, двинулся в неопределенном направлении,

прижимая к груди папку с поэмой.

* * *

Я провела сегодня вечер, который мне, видимо, не придется забыть.

После всех ритуалов и церемоний на обеде у моего братца, после взаимного обмена любезностями и чтения стихов, чая с лимоном и восторгов, объятий, поцелуев и подкрашивания губ, Анна Андреевна вдруг попросила, чтобы я проводила ее.

На улице она сказала, что ей просто хотелось погулять со мной по Москве.

Мы бродили долго, мимо Москвы-реки, Кремля, через площади и переулки и зашли по Пречистенке к черту на куличики.

Орали мальчишки, звенели трамваи, шли старушки с вербами из церкви. Звезды проявились на небе, огни горели в окнах, продавали на углах мороженое, а мы все шли, и я слушала чудесные стихи.

Потом мы остановились передохнуть в какой-то подворотне, и Анна Андреевна говорила мне о том, как счастлив будет тот человек, который меня не испугается.

Не знаю, как насчет этого непугливого человека, но я была счастлива в этот вечер.

* * *

«К нам приезжала Анна Андреевна Ахматова. Вот уже в этот дом[102]. Однажды мы были не то в зале Чайковского, не то в консерватории, и встретили там Анну Андреевну Ахматову. Мы сидели на скамеечке, разговаривали, и она мне сказала: „Татьяна Александровна, почему вы никогда мне не звоните, вы же знаете, что я вас люблю“. А надо сказать, что когда мы уезжали из Ташкента с братом, Анна Андреевна провожала нас, я помню очень хорошо, как она была закутана и как она меня перекрестила три раза. И вот она говорит: „Почему вы никогда не звоните?“ Я сказала: „Анна Андреевна, около вас так много жен-мироносиц, а я к этому не приспособлена“. Она ответила: „Вы правы, я сама вам позвоню“. И позвонила через два дня и приехала сюда, уже в этот дом, после 60-го года это было. Они выпивали с Сережей по рюмочке коньячку, и она рассказывала про то, что сочиняла в Ташкенте, о той поэме[103], которую она

сожгла, и как там, где-то под лестницей, действие происходит, и висит портрет Сталина, приколотый на муху (вместо гвоздя, висел на мухе). И это было интересно и смешно. И как они очень смешно выпивали с Сережей коньячок».

(Из радиопередачи)

ТАТЛИН[104]

В конце 20-х годов в шумном доме моего брата на Староконюшенном переулке собралась небольшая компания писателей. Помню, что среди них был Дмитрий Петровский и его жена Мария Гонта. Оба украинцы и друзья Татлина. Посидели, поговорили, и Дмитрий Васильевич предложил всем ехать к Татлину. Прихватили и меня, еще совсем девчонку.

Татлин жил тогда при Вхутемасе на Мясницкой улице. Комната показалась низкой. Мебели было мало, но нагорожено досок и подрамников достаточно. В углу на топчане сидела, поджав ноги, красивая женщина с косой вокруг головы. Я поняла, что это была жена Татлина. Не вставая с места, приветливо и спокойно она здоровалась с гостями. В ней чувствовалась привычка к таким нашествиям. Наша компания привезла водку и какую-то незатейливую закуску. Поставили ящик, выдвинули старый облупленный чемодан и на этом самодельном столе водрузили бутылки и стаканы. Сидели кто где. Пили, говорили. Я во все глаза смотрела на Татлина. Он был еще молодой тогда. Высокий и сильный, с крупными руками, белесый, с каким-то сонным лицом. Поразили меня ресницы — густые, прямые и длинные (как у коровы). И совершенно белые.

Когда выпиты были бутылки, Татлин поднялся, большой, как дерево, и полез куда-то под диван, не то в диван, доставать бандуру. Сел. Твердо и бережно взял ее рукой мастерового. Обтер с нее пыль рукавом, что-то наладил в ней. Прислушался. Занавесил глаза белыми щетками ресниц и запел. Пел старинные украинские песни. Пел по-русски и по-украински.

Растворяйтесь ворота,
Выходи гулять тюрьма.
А и нету никого там —
Посходили все с ума.

Эх, ты горе — непогода.
Трудно в доме жить, печаль.
А у вора, у соседа
На стене висит пищаль…

Как во поле, да во речке
Тай плавало ведеречко.

Мягко вторила ему босая жена. Пел он завораживающе. Тоскливо. Пропевая горе многих-многих людей. Глаз во время пения не открывал. И еще больше, чем пение, помню слезу, которая перекатывалась по реснице, запутавшись в ее густоте. Я все ждала, когда же она скатится, когда упадет. А она все цеплялась за Татлина, все не хотела отделяться от него. Пел он как поют слепые — незрячие люди: бесконечно грустно и прислушиваясь внутри себя к звуку.

По зимней Москве мы возвращались домой. И тут Петровский рассказал, что Татлин мальчишкой убежал из дому от мачехи и пристал к слепцам. Был у них поводырем и пел с ними, вот и привык закрывать глаза.

Прошло столько лет, я уже забыла тембр его голоса, уже не слышу его, но до сих пор отчетливо помню эту крупную, круглую татлиновскую слезу, цепляющуюся за его ресницу.

В 1946 (?) году театр Моссовета предложил мне сделать костюмы к колхозной пьесе драматурга Сурова. Пьеса была ужасна, но декорации должен был делать Татлин. И я немедленно согласилась. Весь макет он виртуозно вырезал своими руками из дерева. Деревня, дом, забор, земля — все было из некрашеного дерева. Красиво было удивительно, но постановщик Ванин был недоволен условностью материала. Он требовал грубо и даже кричал на Татлина. Ему хотелось реализма, лунного света, скрытого театральным тюлем.

Татлин сидел молча, был удручен. Спектакль закрыли.

Был он уже не похож на того прежнего молодого Татлина, который пел в ту давнюю зиму. Лицо его стало рыхлым, белым, сам какой-то тихий, растерянный, подозрительный. Мы однажды сидели в актерской уборной (театр Моссовета временно играл в помещении старой Оперетты) и разглядывали мои эскизы, которые я принесла для сдачи.

«Владимир Евграфович, признайте, как бы я не старалась, как бы не сосредотачивалась, все равно это не удается никогда выразить, даже в малой доли того, что я чувствую, вижу» — жаловалась я ему. Татлин долго молчал, смотрел на меня, то на мои планшеты. Потом встал, подошел к двери, открыл ее и внимательно посмотрел направо и налево: нет ли кого в коридоре. Закрыл дверь, приложил ухо к щели. Постоял

настороженно. Потом на цыпочках подошел ко мне и, наклонившись к моему уху, тихо сказал (почти прошептал): «И мне тоже…»

* * *

Я не знаю, каким был Татлин. Я его побаивалась, хотя и работала с ним, и это была большая честь для меня. Я даже заступилась за него однажды, но все равно я его не знала и боялась.

Как это произошло, что я могла заступиться за него и накричать на Ванина[105]?

Мало кто понимал его, искусство его было в те годы непонятно и вызывало насмешку.

Он сделал поразительный макет из дерева. Ванин кричал на Татлина, что это он ему напортачил. Давай луну! Иначе все к черту! Вот тут мне пришлось заступиться за эту красоту. Что я кричала в ответ — не помню, но предполагаю теперь, что отстаивала право большого художника, а он сидел тихо, послушно, положив большие руки мастерового на стол, извиняюще опустив глаза.

«Луну требуют, — тихо и растерянно сказал он и вдруг радостно, подтолкнув меня: — Сработаем луну из меди».

Но сработать луну ему так и не удалось. Спектакль не пошел.

ФАДЕЕВ

Я шла из театра с Мамонтовского переулка (где я работала в 1936 году) к маме и брату, которые жили во дворе дома Герцена на первом этаже в странной маленькой квартирке, выгороженной из бывшего особняка. Там были печки, там были ставни, там была темная столовая величиной с большой обеденный стол, и, как это ни странно, довольно большая ванна. И еще две мрачные, но очень уютные комнаты брата и мамы…

Итак, я шла к маме после работы посидеть с ней, поесть супу (я так давно его не ела!), повидать Володю.

Свернув с Пушкинской площади на Тверской бульвар, я стала обращать внимание, что на тротуаре лежит много осыпавшихся лепестков флокса. Чем ближе к дому Герцена, тем больше попадалось осыпи флоксов. Перед домом Герцена тротуар уже был похож на ситец в цветочек. Лепестки на земле заворачивали в ворота, я вслед за ними. «Цветочная» рота, которая становилась все пестрее и «цветочнее», шла вместе со мной к дверям квартиры

моего брата. Ковер в узком коридорчике был похож на ситец. Пряный запах флоксов был удушлив, осыпавшихся цветов слишком много для обыкновенной жизни. Поспешно звоню, и мне открывает смеющаяся мама.

— Посмотри, что устроил, — говорит она.

Оказывается, Фадеев получил где-то гонорар, спрыснул его слегка, скупил на улице Горького и на Пушкинской площади несколько ларьков цветов (был сезон флоксов) и нанял отряд мальчишек, которые вместе с ним принесли эти цветы к ногам нашей старой мамы.

Вся посуда, все тазы, все ведра были использованы под вазы. Ванна до отказа наполнена цветами, а остатки, как дрова, лежат в коридоре возле печки. Среди этого изобилия сидит счастливый, покрасневший и веселый Фадеев в косоворотке и ест суп. А водки мама ему не дает. И он ее слушается и смеется тонким голосом.

Он очень ее любит. Называл мама и на ты. Навещал ее, заботился о ней, если брат был в командировке…

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Я уже старая и должна скоро умереть.

* * *

Как понять счастье старости? Видимо, это найти самого себя…

* * *

В детстве чувство складывается из конкретных (зримых) вещей. К старости зримый образ уже отпадает. Он уже известен, выучен наизусть. И остается только чувство. Вот его-то и надо расширять и познавать.

* * *

Тридцатилетняя дружба связывала меня с Еленой Сергеевной Булгаковой. Разное мешалось в эту дружбу — и горечь, и преданность, и самолюбие, но последние 20 лет это были доверительные и очень преданные (особенно с ее стороны) отношения.

* * *

Бывают дни озарений и покоя. Проснешься утром, и в душе все меняется, как будто выпадает первый снег.

Все началось с этого платья. Платье не по фигуре (уже растолстевшей и оплывшей). Пояс чересчур туг. Туфли на чересчур высоком каблуке. Словом — все неудобно, все не покойно, все не по возрасту! Весь вечер сидеть в этом дурацком виде и делать вид, что тебе весело и интересно сидеть с людьми скучными…

Ужасно… Между тем мы сами нагромождаем себе целый воз душевных «затянутостей» и «высоких каблуков».

Все время делаем вид. Все время боимся правды.

Я горюю о своей правде больше, чем о молодости.

* * *

Господи! Как я хочу быть сильной — и как я слаба!..

* * *

Безнадежность, инерция и внутренняя поспешность одновременно владеют мной.

* * *

Почему так прекрасно прошлое, которое мы не могли, не умели чувствовать?

* * *

Какой-то рассказ или повесть Пришвина начинался словами: «бывает теперь иногда».

* * *

Много думаю «теперь, иногда» о милосердии к старости и болезням.

* * *

Не самое ли главное время в жизни детство и старость? Первое — познание и становление, второе — завершение.

* * *

Как мне писать? Как мне дотронуться до другой, хотя и близкой мне жизни, чтобы она не утонула, как осенний лист, в потоке бурлящей воды?

Как обжечь словами чужих и равнодушных людей?

* * *

Мама… Руки ее помню… Коричневое пятно на одной руке…

* * *

Все подчинено взаимодействию двух полюсов. Значит, истина всегда двулика?

* * *

Женщина должна сама избирать свою судьбу, а не прилаживать ее к чужой судьбе и не зависеть от решения мужчины.

Размышление ведет к бездействию. Только вера придает человеку вдохновение, побуждающее его действовать, и упорство, необходимое для того, чтобы отстаивать свои убеждения.

* * *

В XX веке ум человеческий достиг высот, вырывая из глубин нравственности свои корни. Достиг высот за счет глубины.

* * *

Рассказать сказочку от имени человека, видящего мир

сказочно. Рассказать сказочку современную: про мотоцикл и его зеленый глаз, про милиционера, про парашют и автобус и про их разговор между собой, и про травинку, как ей неудобно в этом новом цивилизованном мире.

А впрочем, это можно и нарисовать.

* * *

Крутится в памяти мое детство и, как в калейдоскопе, из одних и тех же людей и вещей выстраиваются при поворотах в памяти разные картинки.

Лица, предметы, деревья, цвет, запах, радости и обиды сцепляются друг с другом и выстраиваются в сцены и картины, которые неожиданно всплывают из недр сознания и как будто не имеют связи. Куски, отрывки.

Часто думаю о том, что застрявшее в памяти и есть наша жизнь — все другое, если не помнится, то уже и не существует. Ушло из жизни много людей. Нет в живых уже отца, мамы и брата. Только я и сестра еще существуем.

Многие картины такие рваные. Хотелось бы дополнить, но спросить уже не у кого.

Все безвозвратно.

* * *

Недостает моему сердцу.

Прочая бытовая мелочь.

Потребность говорить мешает не только слушать, но и видеть.

Под защитой страха (или мужества, или смеха).

Он заметно оглупился.

Аневризма головы.

Душевное трудолюбие.

Поставил такой факт.

Будьте любезненьки.

Раздавить взглядом.

Бесполезный человек.

Солнце облевало их.

Жобственное дело.

* * *

Всякий бывает только тем, чем может быть.

Ночью иногда я слышу, как ходит по комнате смерть. Очень тихо, очень незримо, но ощутимо.

* * *

Думаю, что мне никто не может помочь, я должна сама, спотыкаясь, тянуть свою лямку как расплату за свое счастье.

* * *

Как у жирафа отросла за века шея, потому что ему нужно дотянуться до верхушки дерева, чтобы питаться, так у нас отросла душа, чтобы жить. На западе это иначе.

* * *

Мотались до глубокой осени кисточки желтых листьев на верхушках деревьев (по-моему, это были вязы). Почему-то мне это напомнило мою старость и упорное сопротивление смерти. В декабре все верхушки облетели, а до этого, несмотря на жестокий ветер, который сдирал всю листву, эти верхушки были живыми и без конца мотались перед моим окном.

Реплики, слышанные мною в общей кухне:

Все мы люди разного калибру.

С утра начинаешь закруглять свои нервы.

Ну что такое американцы? Это те же японцы, только обратно.

На базаре такая дороговизна — сплошные контрасты.

Она, когда правду говорит, то ясно врет.

Мы с ней все время спорили, она никак не вникнет в мою конструкцию.

Она женщина без всякой нормировки.

Ребенок у ней, конечно, недоброкачественный, но с ним можно бороться.

Она выглядит собой очень образованной.

У Вали родился ребенок, но тело у него какое-то неумное!

Жулики сейчас — это самый модный предмет.

Если б я не убирала в кухне, так тут можно целую динаму повесить.

Из-за этой плохой погоды у меня ни в руках, ни в ногах нет

никакого совершенства.

Она уже до того дошла, что ни к какому разуму не подходит.

ВОПРОС: «Почему у вас ребенок так плачет?»

ОТВЕТ: «Это у нее такой процесс».

Ну что в нем толку: пришел и развалился на диване как трофей.

Она кругом больна, и вид у нее какой-то щепетильный.

Я не хожу к врачам, у них какая-то странная динамика и все они врут. Скудная бригада.

Так жарко, что я совсем распарилась, как белуга в собственном томате.

Что это она не шлет письма, как кляча самоварная?

Она была в салатовом платье, очень из себя выразительная.

Мы положили ее в санаторий, там будут совершенствовать ее болезнь.

Он как напьется, зараз начинает портить свое мнение.

Может, он и всех считает дураками, но я на эту фантазию не желаю понижаться.

С ним, когда разговариваешь, все время приходится делать разные сокращения ума.

Сегодня хлеб взяла подороже, но все равно он не дает никакого значения.

Я: «Как мне надоело стряпать!»

ОНА: «У меня тоже бывает такое безразличие предметов!»

* * *

Мечтать можно только о несбыточном, тогда сбудется сбыточное.

* * *

Если бы Сережа не слушал меня, все бы заглохло во мне, заросло бы сорной травой повседневности.

* * *

Для подвига нужны препятствия.

* * *

Тишина души.

* * *

Все это сформировало меня и дало мне силы к моему настоящему.

* * *

Маме свойственна была интенсивность чувств и естественная жизнь с музыкой. Отцу — открытие, познание и рост понимания и чувствования.

* * *

Годы странствий надавили на меня.

* * *

Сон — это взгляд в будущее.

* * *

Разбег перед новым барьером душевного развития.

* * *

Полумрак сознания.

* * *

Человек может вас ненавидеть, если вы живете отрицанием его натуры.

Прощать надо молча.

* * *

Очень мягкий человек с угрожающей внешностью. (Это о Володе).

* * *

Сейчас звонила Юля и говорила, что вспомнила мой рассказ о Рафаэле, и что, ах, как вы талантливы! Может быть, и правда? А сколько таких рассказов придется похоронить со мной вместе?

* * *

Я должна написать о семье (сделано), о Володе (сделано), о Сереже. И поставить ему памятник. Потом можно уже и умереть.

* * *

Я живу одиноко и тихо.

* * *

Всевозможность.

* * *

Скрипел зубами, точно чиркал спички.

* * *

Весенний, весь сквозной лес.

* * *

Сизые облака.

* * *

Ураган цвета.

* * *

Утром, на рассвете, лежа в потемках, я проснулась от удушья. Мне было очень плохо. И я была совсем одна. Легко, как в балете, развевая легкую одежду, мимо меня (от окна к двери) прошла смерть. Я не видела ее лица, но чувствовала, что она улыбается. Она прошла легко — как по воздуху — и исчезла. Мне стало легче. Я сумела принять лекарство и заснула. Не было страшно, но было очень тоскливо.

* * *

Мне скучно и не нужно писать беллетристику. Мне интересно писать про мои мысли, про мое узнавание жизни, про чувства, наконец. Подглядывать за жизнью тоже интересно (понимать ее).

* * *

Выходит душа на душу.

* * *

Одинокие снежинки, как потерянные, носились в воздухе.

* * *

Сон — это погружение, провал, но никак не взлет…

* * *

Я могу писать только по внутренней необходимости, когда чувство уже отстоялось во мне.

* * *

Мудрость древних происходила оттого, что их слушали с открытыми ртами.

* * *

В основе Анненского заложена ипохондрия, грусть и безысходность. «Мне не спится, мне невмочь, я шаги слепого слышу. Надо мною только ночь Оступается о крышу». Ну разве можно это сравнить с тем радостным ощущением дождя, который имел Тютчев: «Ты скажешь — ветреная Геба, Кормя зевесова орла, Громокипящий кубок с неба. Смеясь, на землю пролила».

* * *

Я поняла, в чем трудность современного писания писем. Мы отвечаем на письма, а надо не отвечать, а писать их, надо делиться мыслями. Вот тогда будут письма. А отвечать нужно только, если есть знаки вопроса. Как здоровье? Что Вы читаете? Что думаете?

* * *

Он был весь обещание.

* * *

Дать можно только то, чем владеешь сам.

* * *

Мне сегодня приснилось, что я разговариваю сама с собой по телефону. Наконец-то я услышала свой голос.

* * *

Все кричат — продолжение, пишите продолжение. Вот вам продолжение: сижу в кухне за столом, спина выпрямляется с трудом и думаю о смерти.

* * *

Как карета скорой помощи, налетела (принеслась) зима и заметала все вокруг снегом.

* * *

Вытеснили тюрягу из него, но внутри, совсем глубоко, остались ростки, которые жили и снова росли.

* * *

Его «заводили» на разговор и выкачивали из него мысли и афоризмы.

* * *

Заходила ходуном в голове книжка, которую я должна написать.

* * *

В детстве все заложено, потом идет развитие и завершение.

* * *

Удивительная вещь мемуарная литература: чем меньше человек знал адресата, тем подробнее он пишет. Особенно подробно можно писать, когда уже все свидетели поумирали.

* * *

Умей радоваться тому, что тебе дано.

* * *

Я не хочу писать о старости, как Мердок, — я хочу понять ее смысл и необходимость.

* * *

Живу остатками (огрызками) прежних чувств.

* * *

Как туман, рассеялись чужие чувства и слова.

* * *

Печаль можно превратить в радость.

* * *

Хотелось бы помочь переносить людям старость и недуги.

* * *

Спешил посторониться лес…

* * *

Где взять силы, чтобы написать книжечку о жизни: о чувствах, о природе, о тех минутах счастья, которые посещали меня? Где найти силы (а они уходят) и твердость руки, и волю?

* * *

Я прожила очень счастливую жизнь, но настоящее счастье (огромное) посещало меня только несколько раз и всегда это было связано с природой. (И с Сережей.)

* * *

Неразрывность нашей судьбы определилась моментально.

* * *

Иногда вот так — запишешь ночью, а потом потеряешь, зачем писала. А ведь было важно. Очень даже.

* * *

Живет, не заглядывая вдаль.

* * *

Ум без употребления гибнет.

* * *

Это был тот редкий случай, когда исполнение было лучше проекта.

* * *

Я очень любила ее, поэтому она казалась мне несчастной.

* * *

Вся комната была поглощена солнцем.

* * *

Не имею права писать воспоминания, но свидетелем я этому была.

* * *

Узор человеческой жизни, в котором страдание является лишь завитушками.

* * *

Для жизни сделано много, для смерти почти ничего.

* * *

Приснился мне сон. Описать его трудно. Он неповторим в своей бессмысленной нежности. Сон про брата Володю. Сон про искусство. А все началось с того, что, проснувшись рано утром, я увидела, как занавеска на окне просвечивает листьями винограда, а рядом полна плотности и покрыта синим горошком. Господи, — подумала я, — это и есть искусство. И заснула… И приснилась мне какая-то странная витрина, вроде грота, и там картины. Очень красивые картины моего брата Володи.

Все по поводу природы. Но одна лучше всех — во весь холст рот открытый, почти квадратный. Потом понимаешь, что этот рот смеется, а там внутри — волшебное пространство. Там рассказана целая сказка про зубы — камни драгоценные, про город гортань. Наискось какие-то деревья растут. И язык не язык, а холм, а слюнька — ручеек. И все прекрасно, и все светится, и все смеется, и все славится поэтом! И узнать можно, чьи губы, чьи зубы. И этот кто, лишь только откроет рот в смехе, сразу же показывает сказку прекрасную и поэтичную. И сразу думаешь, как прекрасно все в природе. Природа — это красота. И еще — нет ничего выше любви поэта.

* * *

Почему мы не узнаем у людей пока они живы так многого, чего не знаем? Все приблизительно. А потом выстраивают свой образ, и мы начинаем выдумывать наши ощущения. Чего только не пишут про ушедших людей, и потом они застревают в истории совсем другими, чем были.

* * *

Было сыро, промозгло (мы ехали в декабре). Ничего нет хуже ташкентской зимы. Вокзал плохо освещен. До поезда еще далеко.

Он шел в другую сторону от людей, ему было все равно, прижать бы только к себе поэму, больше его ничего не интересовало.

* * *

Я знала много звезд — не только их названия — я узнавала

их в лицо. Как от Большой Медведицы разыскать Вегу и Альдебаран. Я сейчас смотрю на небо как в темный лес с светлячками, не то звезды, не то спутники. Не поймешь. Ничего не помню, ни одной звезды. Иногда, правда, сверкнет над горизонтом красным глазом Марс. Смотрю на звезду и думаю — это Вега, а она вдруг задвигается и превратиться не то в спутник, не то в самолет с огоньком-звездочкой на хвосте. Вот вам и Альдебаран!

* * *

Дождик рубил в окно. Стекло обливалось слезами.

* * *

Испуганные тучи.

* * *

Искусство всегда немножко выдуманное, и в этом его прелесть. Оно выправляет жизнь и помогает жить.

* * *

Нет гордости в сердце, переполненном любовью.

* * *

Человек счастлив за счет чужих страданий.

* * *

Весь ужас в том, что мы хотим быть нужны только тому, кто нужен нам.

* * *

Неужели Вы не можете, для разнообразия, сказать что-нибудь

другое?

* * *

Какие-то осколки.

* * *

Кто работает, тот спокоен и кроток.

* * *

Есть любовь вырванная, а есть любовь отданная и полученная.

* * *

Быть может, Бог чаще склоняется к нам, чем это нами ощущается.

* * *

Зовсад.

* * *

Такая женщина приличная, врач, вся стриженная, а под себя конфетки прячет.

* * *

Как мне он рот глиной набил, так зуб и вырвал.

* * *

Настоящие люди никогда не бывают грубы без намерения.

* * *

Дом все уменьшался и уменьшался. Он изрубался на дрова, продался, разворовался, растерялся, проелся, перевоплотился в обувь и одежду и, наконец, вместился в одну комнату.

* * *

Самое главное в жизни продолжается всю жизнь, пока его не заменит более важное (детство, любовь, подлость, война, смерть).

* * *

Она научилась творить счастье внутри себя (Шура Кольцова).

* * *

Страх — но не трусость.

* * *

Жизнь стала такая опасная: идешь все время как по кромке льда.

* * *

Не могу ни вспомнить, ни забыть (Ахматова о Мандельштаме).

* * *

Е.С.

Начитавшись в последнее время разной «мемуаристики» и воспоминаний и «мовизмов», я с прискорбием увидела (поняла), как беззащитны умершие люди. И еще я поняла, что и мой путь по жизни кончается, и спешу поэтому записать, по возможности правдиво, то, что я видела и знала доподлинно.

* * *

Переделкино.

Ужасно много старух и почему-то на костылях или с палками (и у всех повреждена шейка бедра — это сейчас модно). И мужчины все с одинаковыми лысинами — ото лба и сзади в 3-х сантиметрах бахромка волос, отличаются только по цвету — рыжие, седые, серые. Ну а в общем все одно и то же. И всегда все об одном: — «Вы были на воздухе? — Я иду с воздуха. — Ну как на воздухе? Какой сегодня воздух?» Этот воздух стоит кругом меня, как бетонная стена. И так бы и схватила топор и разрубила его. Сижу без воздуха. Наблюдаю воздух из окна. Как стога, торчат зеленые кипарисы. Шесть штук. Плотные как из зеленой ваты. В них ныряют маленькие птички как в стену, вот высунулся маленький клест и машет мне. И манит. Дорожка к нашему корпусу убийственно прямая, даже видна калитка в конце. Но Сережа по ней не идет. Сосны такие толстые, а береза совсем тонкая и выросла выше, чем сосны.

Хлопают дверцы машин. Все время кто-то приезжает.

Приветливо лают собаки. В общем, осень как осень — даже хуже обыкновенной. Даже, если не летают самолеты, стоит звенящая тишина, и тогда бывает слышно, как где-то идет поезд.

Некоторые, которые без костылей и без палочек, ходят вразвалочку. Надо и мне так попробовать: голова будет меньше кружиться.

Навещал меня Каверин. Его так мало, что, кажется, даже я могла бы его поднять… Очень жалок, а щечки с круглым румянцем. От прогулки. Все время хвастался, еле сводя губки, что написал 4 книги, пишет пятую. Потом задумался и говорит: — Надо как-то доживать — и глубоко вздохнул. Как грустно, а ведь недавно еще был гусаром.

Говорят, будет бабье лето. То-то уже бабы порадуются. Подышут воздухом, я уж буду из Москвы махать им рукой.

Лес лысеет в нижнем ярусе. Наверху еще держится листва. Кленовые листья за один день озолотили все асфальтовые дорожки. Если лист лицом — это кроп, если наизнанку — лимонная желтая и даже с прозеленью. Удивительно, самый маленький, самый паршивенький листик выгладит на земле красиво.

Сегодня вышла на кукурузное поле. Такой прекрасный горизонт в легкой дымке. Почему-то вспомнился Пастернак, как он стоит на фотографии с лопатой. Что-то копает в своем огороде. От него тоже было видно это поле. Да, определенно, природа прощается. Только кто с кем прощается неизвестно. Она

с нами или мы с ней?

Опять поразилась, какая стремительная сила у берез — расти ввысь. Совершенно не беспокоятся о толщине ствола, об устойчивости. Все время хотят вверх, всех перещеголять и вырваться к солнцу. Сосны развиваются более равномерно и надежно. Уже второй ярус деревьев тоже поредел. Теперь виден лес за шоссе. А вечером огоньки в нашем коттедже. Как грустно на них смотреть.

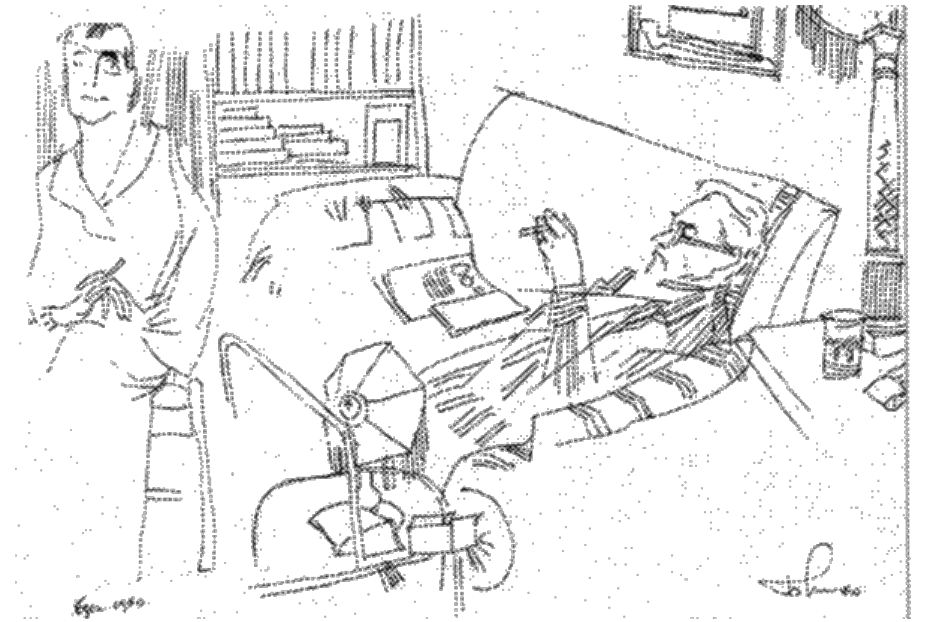
Лес подурнел. Холодно. Ветер. Как первые снежинки, пролетают за окном желтые березовые листья. — Ну зачем же выходить гулять в такую погоду? Надо сидеть дома, — с удовольствием думаю я.

Деревья не краснеют — желтеют или просто жухнут. Солнца не было. Если бы стала писать асфальт, надо мешать сажу, кроп и киноварь. И очень много листьев на нем втоптано. Красиво. Абстракция.

* * *

Вдруг рождается одна главная мысль: иногда пролетает и забывается, иногда держится в голове довольно долго. Например: не боюсь умереть, боюсь «умирать». Смерть неизбежна, как и рождение, и рожденного не минует, а вот у-ми-ра-ть страшно.

ДОМ
Воспоминания друзей



ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ [106]

Татьяна Александровна Луговская, художница, младшая подруга Елены Сергеевны Булгаковой и Анны Андреевны Ахматовой, сестра поэта Владимира Луговского и, наконец, жена кинодраматурга Сергея Александровича Ермолинского, который был, в свою очередь, другом Михаила Булгакова, ухаживал за ним, умирающим, хоронил его, пошел за него в лагеря и перед тем как умереть опубликовал (уже было можно) прекрасные воспоминания о нем.

После смерти мужа, согласно его завещанию, она носила перстень Булгакова — старенький, уже мутноватый сапфир-кабошон. Елена Сергеевна подарила его Сергею Ермолинскому, когда похоронили Булгакова.

Это было особое племя, великие старухи — Раневская, Ахматова, Елена Сергеевна Булгакова, Надежда Мандельштам, легендарные женщины, войти в дом которых считалось честью, дружить с которыми было радостно и тяжело, настолько любезно они снисходили до простых смертных.

В их присутствии люди становились выше, умнее, веселее, красивее себя.

После общения с этими великими женщинами было чувство, что аудиенция кончилась и можно вздохнуть — но проходило время и к ним тянуло с неодолимой силой.

Такова была и Татьяна Александровна Луговская.

Всю жизнь она была просто театральным художником по костюмам и педагогом.

Но была она такова, что к ней именно тянуло. Вокруг нее возникал некий полюс. Ее ученики, которых она натаскивала еще в молодости, ее не покинули. Друзья ее мужа, ее друзья и подруги, родственники и друзья друзей собирались вокруг нее в дни праздников и печальных годовщин, и это были Натан Эйдельман, Леонид Лиходеев, Вениамин Каверин, Даниил Данин, Наташа Рязанцева, Сергей Юрский и Наталья Тенякова, Наталья Крымова, Андрей Хржановский с женой Машей и сыном Илюшей, крестником Ермолинского, это были врачи, художники, ее бывшие ученики, писатели и ученые.

Так они собирались и тогда, когда был жив замечательный Сергей Ермолинский, так они собирались и в те десять лет, пока она жила без него.

Уже будучи немолодым человеком, она вдруг написала блестящую книгу «Я помню», которую издали и у нас и за рубежом. Татьяну Луговскую приняли в Союз писателей. Это была книга о ее отце, Александре Федоровиче Луговском, инспекторе Первой московской гимназии, об их семье.

Мы, читая ее книгу, вдруг припомнили себе, что не первыми живем на свете, что Москва стоит почти девятьсот лет, что каждое поколение что-то оставляло нам (пока не пришла пора все уничтожить «до основанья, а затем…»).

Вот мы и живем в эти времена, которые «затем». Мы, нынешние московские, собираем крохи.

Отдельным образом скажу, Александр Федорович Луговской был легендой и нашей семьи, потому что мой дедушка, профессор лингвистики Николай Федорович Яковлев, часто говорил о нем, как о своем любимом учителе в гимназии.

Татьяна Александровна готовила фотографии своего отца к печати и выяснила, кто на них снят. На одной был изображен Луговской с тремя гимназистами.

Это фото увидела наша общая приятельница, сценарист Наташа Рязанцева, которой я когда-то обмолвилась, что фамилия Луговских мне знакома по семейным рассказам. Она позвонила мне и сказала: «Там на снимке, по-моему, очень похожий на Кирилла молодой человек» (Кирилл — это мой старший сын).

Я приехала и увидела на фотографии своего деда Колю в гимназической форме.

— По-моему, его не так звали, — сказала Татьяна Александровна очень любезно, — его звали Яша, я помню. Он меня подкидывал на руках, я его помню, Яшечка.

— Он ведь был Яковлев, и Яша, наверное, было его прозвище, — ответила я. — Меня в детстве тоже звали Якуткой, я была Люся Яковлева. Дед был огромный, калоши сорок шестого размера. Мои две ноги влезали в одну его калошу, я помню.

— Он был огромный, да, — подтвердила Татьяна Александровна.

Копию этой фотографии она мне подарила, и мы все удивляемся, до чего Кирилл похож на своего прадеда.

Наша жизнь стала богаче на много десятилетий назад — как если бы не было этих страшных времен, голода, разрухи, войн, лагерей, психушек, ссылок, забвения…

Татьяна Александровна умерла ровно через десять лет и один день после Сергея Александровича — собрала гостей, как обычно, слегла и в ту же ночь ушла, как будто решила.

Бывает такая сила воли.

В своей записной книжке многолетней давности (еще были живы оба, и Сергей Ермолинский, и Татьяна Луговская, и оба: тяжело болели) я нашла стихи той поры. Тогда мне вдруг представилось, что они не смогут расстаться. Мне представилось, что если один умрет, то второй умрет днем позже:

Хорошо было тем старикам,
Что на солнышке грелись.
Они умерли с разницей в день,
Словно спелись.

Татьяна Александровна, мужественная женщина, прожила десять лет после смерти любимого. Она еще надеялась закончить его работу над воспоминаниями, а также думала написать книгу о старости, такой был план.

Она явно хотела умереть в его десятую годовщину. Почти получилось.

Они умерли с разницей в день, 18 и 19 февраля.

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ [107]

В изостудию Центрального Дома пионеров, что был в Москве в переулке Стопани, я поступил в 1945 году в группу, преподавателем которой была Татьяна Александровна Луговская. Тогда я не мог и представить себе, какую огромную роль в моей

жизни сыграет эта удивительная женщина.

Но я хорошо помню свое первое впечатление от встречи с ней. Высокая, стройная, уверенная в себе, элегантная, она особенно ярко выделялась на нашем фоне — худых, плохо одетых подростков послевоенных лет. Только значительно позже я понял, что эта ее элегантность и подтянутость происходили не от благополучной жизни и богатства, которых не было, а от самодисциплины, от того, что всегда называлось «хорошим воспитанием» и усилий воли, ей свойственным.

Она казалась нам человеком из другого мира, о котором мы имели самое смутное представление. Художница, сестра известного поэта, она была знакома со многими выдающимися людьми — писателями, актерами, музыкантами, художниками, поэтами, даже с самим Маяковским, которым мы тогда бредили. Их фамилии иногда проскальзывали в ее разговорах с нами. И мы еще больше проникались восхищением и уважением. Все это создавало в нашем сознании вокруг нее мир… таинственный и недоступный нам. Мы любили ее.

Обходя нас на занятиях, она по несколько раз присаживалась к каждому из нас и давала советы, как продолжить работу дальше, что поправить и как это сделать. Каждый раз в конце занятий наши работы раскладывались на полу для всеобщего обсуждения. Ее критика, как правило, была беспощадной и в то же время уважительной. Она высоко держала планку своей требовательности.

В то далекое время занятия в студии проходили в светлое время дня, два раза в неделю и продолжались 2–3 часа. Все остальное время для меня проходило в ожидании этих встреч.

Обычно Татьяна Александровна ставила нам натюрморт, независимо от того, был ли это урок рисования или живописи. Почему-то обязательным элементом этого натюрморта, как скрипка и петушок у Марка Шагала, было чучело вороны. У меня до сих пор сохранилось несколько работ с присутствием этой странной птицы.

Занятия часто сопровождались беседами о художниках с разбором отдельных картин и, главное, о цвете в живописи. Она старалась нам объяснить, что живопись — это торжество света, что не надо писать локальным цветом, что цвет отдельных элементов наших работ формируется в зависимости от окружающих предметов и среды, которой окружен или в которую погружен объект живописи. Она настойчиво прививала нам понятие вкуса в искусстве.

После окончания школы я поступил в строительный институт, у меня началась совсем другая жизнь. Но раз в год,

после каникул или отпуска, я стал появляться у Татьяны Александровны в Староконюшенном переулке, где она тогда жила. А началось это с телефонного разговора, когда я, приехав летом с практики, проходившей на Усть-Каменогорской ГЭС, где я немного писал, рассказал об этом Татьяне Александровне, а она вдруг твердо почти приказала: «Приезжай и покажи мне».

Я не видел ее, наверное, года полтора и очень волновался, приближаясь к ее дому. Татьяна Александровна жила в квартире на первом этаже, которая когда-то была занята целиком ее родственниками, а со временем превратилась в типичную московскую «коммуналку». В те дни она занимала часть перегороженной комнаты под названием «большая комната». В меньшей проживал ее бывший муж Григорий Павлович Широков.

Просмотр моих работ традиционно проходил на полу, на котором я с трепетом разложил их. Критика была сдержанной и в меру суровой. Потом был чай и мои рассказы о практике, о виденном и пережитом за это время. Уже тогда, в первый раз, когда я был у нее на квартире, меня поразило ее умение слушать и еще что-то, что я бы назвал способностью воспринимать нечто большее за твоими словами, что-то из того, что ты сам не понял или не смог выразить.

Так на протяжении многих лет я стал ежегодно появляться в ее доме. Этим встречам предшествовали многочисленные телефонные переговоры, пока наконец Татьяна Александровна находила время принять меня. Традицией этих встреч я очень дорожил, поскольку каждая из них была посвящена не только разбору моих работ, в которых я не очень блистал, но и существенным разговорам за чашкой чая. Это был для меня ответственный отчет за год пройденной жизни, отчет совести и духа.

В один из таких радостных и волнительных для меня дней, кажется, это было в воскресенье, я явился к Татьяне Александровне. Однако меня опередили. В большой комнате сидели два господина, принявшие, по всей видимости, уже некоторое количество горячительного. Я несколько растерялся и был раздосадован. Целый месяц я договаривался об этой встрече, и теперь все может сорваться. Меня представили. Один из присутствовавших был известный драматург Леонид Антонович Малюгин, пьеса которого «Старые друзья» тогда шла чуть не во всех театрах. Фамилия другого, который, как мне показалось, вел себя излишне свободно, ничего мне не говорила. Он, удобно усевшись в кресло, тут же стал критиковать мои работы. Это был писатель-сценарист Сергей Александрович Ермолинский.

Татьяна Александровна, мгновенно почувствовав неловкость

сложившейся ситуации, мою застенчивость, и боязнь, что перед глазами ее гостей предстанет не Бог весть какая живопись, предложила им прогуляться часа два. Притворившись оскорбленными, они заявили, что, конечно, они могут уйти, но за последствия такого ухода они не отвечают, поскольку они не те люди, которые могут битый час проводить на улице и вынуждены зайти в ресторан, а такое посещение чревато серьезными последствиями. Так что ответственность за уход им придется возложить на Татьяну Александровну и ее юного знакомого. Но она все равно их выпроводила.

Спустя какое-то время я стал появляться у Татьяны Александровны чаще. И как-то я зашел к ней, скорее всего экспромтом и на минутку. Татьяна Александровна сказала мне, что сейчас они уходят в театр и дело, с которым я зашел, придется отложить. Я не понял, почему «они» и кого она имеет в виду. В это время из большой комнаты, в которой, к моему удивлению, была сделана перестановка и появились какие-то новые вещи, вышел Сергей Александрович. Она представила его мне уже как своего мужа. Мне показалось, что она была несколько смущена.

Сергей Александрович подал Татьяне Александровне пальто. Мне тогда показалось, что более счастливого, благодарного и любящего взгляда я никогда не видел. Сергей Александрович подавал пальто, как драгоценность, прекраснейшей из женщин, весь сияя от гордости, что ему принадлежит это право.

Много позже я узнал длительную историю их знакомства, которое началось заочно еще в эвакуации в Ташкенте.

В доме у Татьяны Александровны все стало по-другому. Две небольшие комнаты объединились крохотной прихожей. Раньше в большой комнате, где располагалась Татьяна Александровна, ощущалась какая-то неустроенность, случайность. Впечатление было такое, что основная ее жизнь проходит вне этих стен. Какая-то скованность ощущалась и в том, что за перегородкой живет ее бывший супруг, с которым она разошлась уже давно.

Размен и появление Сергея Александровича все преобразили. На всем появилась печать заботы о создании своего уютного жилища, куда постоянно хотелось стремиться. Собирались в большой комнате, ставшей гостиной и одновременно кабинетом Сергея Александровича.

В этот период я редко видел его. Он по горло был занят съемками картин по его сценариям, преподаванием, работой с режиссерами над новыми сценариями.

Как странно устроена память. Когда я начал писать свои воспоминания, мне казалось, я помню всего 3–4 эпизода,

заслуживающих внимания. Теперь они множатся, обрастая деталями и событиями.

Помню, как однажды я приволок к ним свой полусамодельный проигрыватель (собственного у них тогда не было), и мы с Татьяной Александровной, а потом и с Сергеем Александровичем слушали третий концерт Чайковского в блестящем исполнении Вана Клиберна.

Или еще — в 1960 году я был в длительной командировке в Монголии. За это время Ермолинские купили кооперативную квартиру около метро «Аэропорт». Татьяна Александровна попросила меня помочь уложить книги для переезда. Потом, уже на новой квартире, был устроен на скорую руку ужин, на которые она была большая мастерица, и мы за разговорами опустошили бутылку венгерского виски. Вообще Татьяна Александровна всегда была против обильных возлияний, но в тот день сопротивляться было бесполезно. В таких случаях она шла на маленькие хитрости, разбавляя виски и коньяк чаем, а водку водой с лимонными корочками.

На новой квартире часто собирались люди. Татьяна Александровна была замечательной хозяйкой. Сергей Александрович любил застолья, которые большей частью проходили на их маленькой кухне и всегда сопровождались его удивительными тостами. Эти тосты могли относиться как ко всем присутствующим, так и к кому-то одному. Тосты очень редко повторялись. Они всегда были наполнены неожиданным содержанием и высокой одухотворенностью. Из повторяемых тостов было два, которые произносились с разными оттенками постоянно. Первый — о его любви и счастье жить с удивительной, неповторимой женщиной — Татьяной Александровной. Второй — о нас, нескольких близких ему людях. «Женившись на Тане, я получил бесценное наследство: Машу, Милу, Марину (племянницы Т.Л.) и Женю. Удивительную опору, не только друзей, но и родных мне людей, безотказно мне преданных».

За время нашего общения на кухне у Ермолинских сменилось много разного народа. Одни отдалились и перестали бывать, другие ушли из жизни. Но всегда люди, заполнявшие их тесную кухню, потребляли духовный накал необыкновенного семейства. Исчезали одни, появлялись другие. Мы, «приданое», оставались. И может быть, наше постоянное, часто безмолвное присутствие являлось необходимым дополнением к атмосфере этого дома.

Потом наступили тяжкие годы. Сергей Александрович долго болел. Он умер в 1984 году. Последние десять лет своей жизни Татьяна Александровна провела в одиночестве. Нет, люди по-прежнему собирались вокруг нее, но не было единственного и

главного человека.

Помню, как она в своей комнате, сидя на тахте, читает любимое свое стихотворение «Завещание» Редьярда Киплинга:

Сумей поставить в радостной надежде на карту все,
Что накопил с трудом.
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
Но никогда не пожалеть о том.

Сумей заставить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только воля говорит — иди.

Думаю, что всю жизнь, а особенно в то время, эти строки были для нее программными, помогали ей выстоять и не сдаться.

Судьба свела меня с удивительным человеком, я бесконечно благодарен ей за это. Многое в моей жизни определилось близостью к ней и к Сергею Александровичу.

Как щедра бывает жизнь и как грустно, что щедрость эта недолговечна.

АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ [108]

«Они жили счастливо и умерли в один день».

Посвящается памяти С. А. Ермолинского (14 декабря 1900 г. — 18 февраля 1984) и Т. А. Луговской (28 октября 1909–19 февраля 1994 г.).

В раннем отрочестве я мечтал стать актером. Но уже тогда понимал, что Германа из «Пиковой дамы» мне не сыграть: обожаю старух. Ни за какие богатства не отдал бы я бесценных минут, которые провел вблизи некоторых из них, будь то бесконечно одинокая Ф. Г. Раневская или овдовевшие в конце своего пути А. С. Хохлова, Рина Зеленая, Х. А. Локшина, Т. А. Луговская…

Именно их вспоминаю, прежде всего, с одним и тем же чувством: вот ведь как распорядилась судьба, послав мне эти встречи. Мало сказать, что каждая из этих женщин была личностью необыкновенной — да что там личностью — целым миром… Мало сказать, что все они были знакомы между собой. Но удивительно вот что: при всем чрезвычайном своеобразии,

уникальности каждой — всех их объединяло одно свойство натуры, редчайшее в человеческой природе вообще и тем более в женской.

Я бы назвал это свойство органическим эксцентризмом. Но эксцентризмом не в том значении, которое ставит своей целью эпатировать окружающих, либо просто смешить их и ограничивается этим, а в смысле куда более глубоком, глубинном, связанным со своеобразным восприятием жизни. Это особый, ни на кого не похожий способ думать и выражать свои мысли и чувства. Причем особенность эта проявляется во всем, в том числе и в пластике. В свете всего вышесказанного я бы мог утверждать, что все перечисленные мною женщины относятся к редчайшему племени эксцентриков или, если угодно, клоунов.

Когда были живы мужья, героини «моего романа» как бы несколько стушевывались в свете их известности. Уточняю: в свете их известности в свете. Хотя они хорошо понимали, что именно известность в свете сама по себе не несет никакого света. Но все равно тушевались. На всякий случай.

Поэтому на первый, неискушенный проницательностью взгляд, могло показаться, что, к примеру, Александра Сергеевна Хохлова — это не та, кого С. Эйзенштейн считал самой оригинальной актрисой нашего кино, наследница по прямой славных родов Боткиных и Третьяковых, а всего лишь скромная помощница Льва Владимировича Кулешова. Так что уж и Александра Сергеевна — вовсе не та, которую рисовал Валентин Серов (помните «Девочек Боткиных» в Третьяковке?), а что-то вроде тени отца Гамлета…

И Хеся Александровна Локшина — не любимая сотрудница Всеволода Мейерхольда («стойкий знаменосец ТИМа», как называл ее Мастер), сама — замечательный режиссер, а только жена знаменитого актера Эраста Гарина.

Также Татьяна Александровна Луговская, многими знавшими ее лишь поверхностно, воспринималась всего как сестра прославленного поэта Владимира Луговского и жена известного писателя Сергея Ермолинского, друга М. А. Булгакова, автора воспоминаний о нем и нашумевшей в свое время пьесы о Грибоедове. Так было, пожалуй, всегда, даже после выхода удивительной книги воспоминаний Татьяны Александровны — одной из лучших в русской литературе книг о детстве, как назвал ее В. Каверин, и лучшей из всех книг, вышедших когда-либо из-под пера российских писательниц, каковой считаю ее я.

Овдовев, мои героини посвящали остаток своих дней — у кого краткий, у кого немалый — сохранению памяти своих выдающихся мужей. И у каждого, общавшегося с ними в этот

период, была возможность убедиться в том, сколь яркими, неповторимыми личностями являлись они сами по себе. Свет, излучаемый ими, вовсе не был лишь отраженным светом…

Но вернемся в дом Татьяны Александровны Луговской. Лучше всего сделать это зимой: начиная с декабря в доме ежемесячно собирались друзья.

Сперва, 14 числа, отмечался день рождения Ермолинского, в январе — «веселый праздник именин» самой Татьяны, 18 же февраля, начиная с 1984 года, — очередная годовщина Сергея Александровича.

Надо сказать, что состав гостей не изменился и не сократился с уходом С.А., и это ли не лучшее подтверждение самоценности Татьяны Александровны. (Традиция эта поддерживается и по сей день племянницей Татьяны Александровны Л. В. Голубкиной.)

После смерти Сергея Александровича Татьяна Александровна сидела обычно на своем постоянном месте — на диване, за маленьким столиком, в глубине комнаты и как бы немного на отшибе от всех остальных. Она порой недослышивала того, над чем время от времени смеялись все гости, и вид у нее был слегка обиженный, как у шварцевского Короля, который страдал из-за невозможности поиграть со своими друзьями.

«Я не слышу, о чем вы говорите», — жаловалась она, и в этой жалобе было уже предвкушение того веселья, которое чуть позже, как раскат грома после вспышки молнии, дойдет и до нее и которое она заранее была готова разделить с остальными. Если смеялись над чем-нибудь очень самоочевидно смешным, Татьяна Александровна с наисерьезнейшим видом (или — слегка посмеиваясь над собой и над всеми) — могла сказать: «Я не понимаю, что здесь смешного…»

А гости? Кто были они, гости этого дома?

Сейчас и вы улыбнетесь такому подбору, случившемуся как результат самой надежной в мире селекции.

Родство ли душ или общность взглядов собирали за столом у Ермолинских настоящий парад эксцентриков.

Здесь были: писатель Леонид Лиходеев, известный в 50-е годы «Король фельетона», до конца своих дней сохранивший не только острый, но глубокий ум и необычайное обаяние (о последнем свойстве я мог бы не говорить: это качество отнюдь не универсально и раскрывается лишь как удачно разложенный пасьянс исключительно при располагающих к этому комбинациях, то есть в определенном человеческом ансамбле, а дом у Ермолинских тем и был замечателен, что собирал в себе этот отборный ансамбль).

Историк и писатель, он же «парадоксов друг» — Натан

Эйдельман, любовно называемый друзьями «Тоник», приходил всегда с тяжеленным разбухшим портфелем, а уходя, вовремя спохватывался: уже влезши одним рукавом в шубу, он начинал расстегивать портфель и извлекать из него экземпляр за экземпляром свежевышедшее издание очередной своей книги, надписывая тут же в передней: первый экземпляр — хозяевам, остальные — гостям, при этом кому-то не хватало, и Натан, смущаясь, извинялся, обещая вручить недополученное в этот раз при следующей скорой встрече.

Другой ценитель парадоксов, в конце своей жизни введший в обиход целое нешуточное (и, бесспорно, принципиально эксцентрическое) направление в культурологии и науке — «кентавристику» — Даниил Семенович Данин, ласково именуемый всеми «Даня», в заключение вечера часто читал стихи. Лучше него Хлебникова, Ходасевича, Пастернака и Мандельштама не читал никто. Это признавал даже С. Юрский. Как правило, Даню не надо было долго уговаривать, он уступал просьбе хозяйки и всех гостей и «под занавес» читал «что-нибудь из…».

Сергея Юрского Татьяна Александровна любила как сына. Он приходил обычно позже других, часто после спектакля, и главной заботой Татьяны Александровны было уберечь кушанья в полном ассортименте до прихода Юрского.

— Оставьте Сереже Юрскому пирожок, — говорила Татьяна Александровна под руку тому, кто первым из гостей протягивал ее к блюду с пирожками.

— Вообще-то признайтесь, Татьяна Александровна, вы отводите нам роль массовки, — подтрунивал иногда кто-нибудь из особо ревнивых гостей, — роль этаких Растаковских и Бобчинских в пьесе, которую вы начали сочинять с конца, с того места, где написано: «Явление последнее. Те же и Юрский».

— А водка там еще осталась для Юрского? — ничуть не смущаясь продолжала Татьяна Александровна своим характерным низким голосом, окрашенным, словно старая фисгармония — вздохами, скрипами и хрипами — всеми обертонами курильщицы с полувековым стажем.

— Да где вы видели, Татьяна Александровна, чтобы русский артист водку пил. Русский артист по природе своей трезвенник. Тем более — Юрский. К тому же он за рулем…

— Ну, рюмку-другую ему можно, — настаивала Татьяна Александровна тоном столь непререкаемым, будто согласовала это заявление с начальником московского ГАИ.

Порой список эксцентриков дополнял своим присутствием художник Борис Жутовский, автор удачного портрета Сергея

Александровича, а также удивительного по заостренной, я бы сказал, чисто эксцентрической точности рисунка, на котором изображен Натан Эйдельман в гостях у С. А. Ермолинского.

Валентина Берестова — самобытного поэта, автора превосходных стихов для детей, тонкого исследователя и знатока творчества А. С. Пушкина, в дом Ермолинских ввела его жена, художница Татьяна Александрова. Она, как и милейший архитектор Женя Матвеев, была ученицей Татьяны Александровны Луговской в ту пору, когда последняя преподавала рисунок в Центральном доме пионеров. Уже после смерти Т. Александровой книги В. Берестова продолжали выходить с ее иллюстрациями, и Валя трогательно дарил их друзьям, встреченным в доме Ермолинских, и надписывал «На память о Тане».

Сам В. Берестов сочетал какую-то удивительную мягкость, обходительность с меткой иронией первоклассного пародиста. Во время импровизированных монологов — то от имени С. Маршака, то Б. Пастернака, чьим голосам Берестов подражал особенно удачно, его остроумие никогда не побеждало его природной деликатности и такта, как бы ни хотел он — опять же, из высшей деликатности — скрыть свой воистину высокий ум — «резвой шалости под легким покрывалом».

А Людмила Петрушевская, еще одна всеми любимая писательница, художница, певунья и по природе своего дарования несомненная клоунесса — разве она своим участием в этих сборищах отборных ваганов не подтверждала верность тому общему знаменателю, к которому я, собственно, и клоню свой вывод?

Да простят мне те из достойнейших друзей и посетителей дома С. А. Ермолинского и Т. А. Луговской, имена которых не упомянуты мною на этих страницах.

Перечислив лишь некоторых из постоянных гостей, я хотел только подчеркнуть ту атмосферу ума, иронии и веселья, которая царила в этом доме.

Была в этой атмосфере и доза того, что Сергей Александрович называл «балбесистостью» (Натан Эйдельман где-то даже написал про это…).

Татьяна Александровна страх как любила умную шутку, ценила меткое, образное слово, от кого бы оно ни исходило, ценила юмор ситуации и с удовольствием воссоздавала все это в своих рассказах, когда речь касалась далекого или недавнего прошлого.

Один из них, помнится, касался домработницы В. А. Луговского. Последняя как-то с гордостью докладывала

Татьяне Александровне, что уничтожила записную книжку, выпавшую из брюк В.А. На вопрос, как и почему она посмела это сделать, та отвечала: — «Открыла я эту книжку, а там телефоны одних этих… ну, словом, одни шлюпки…»

И Татьяна Александровна готова была, кажется, простить ей ужасный поступок из умиления природным языковым чутьем, объединившим в одном слове и шлюх, и их юбки, и хлюпанье женских носов как общее выражение сантиментов…

Другой рассказ описывал ту же домработницу как неизменный источник свежих новостей в доме. Именно от нее узнавал В. А. Луговской о новых указах Правительства, Постановлениях ЦК КПСС и т. д. И каждый раз на вопрос о том, откуда она все это узнала, следовал неизменный ответ: — «А надысь поутру, когда я мусор выносила, мы встретились с Борисом Леонидычем у мусорного бака — он тоже был с мусорным ведром — я с ними поздоровалась, а они и спрашивают меня: „А слыхали ли вы, Поля, что нынче в газете „Правда“ про журналы „Звезда“ и „Ленинград“ написано?“ — „Где ж мне слыхать, — говорю, — да и неграмотная я…“ Ну, они мне все и рассказали…»

Как бывают люди, легкие на подъем, так про Татьяну Александровну можно было сказать, что она легка на игру и выдумку. В состояние игры она включалась с пол-оборота.

Порой, взойдя на веранду домика, который занимали Ермолинские в Доме творчества в Переделкино, мы могли застать конец такого разговора.

С.А.: (чуть сгорбившись над своим «Ундервудом») «А признайтесь, Таня, Вас в детстве дразнили „Танюшка — ватрушка“»?

Т.А.: Что это Вас, Сережа, какие-то глупости интересуют?

Сергей Александрович, распрямляясь с кряхтением, хитро смотрит на Т.А., затем на нас и вдруг начинает напевать на мотив канкана:

Ах, Таня, Таня, Таня,
Вы не ват-рушка.
Ах, Таня, Таня, Таня,
Вы прос-то душка…

Т.А.: Сереженька, вы бы хоть крестника постыдились, — с деланным неудовольствием и несдерживаемым смехом пытается Т.А. приструнить С.А. Но он так обрадован, что нашел наконец слова для мелодии, которой он решает озвучить этот солнечный летний день, что тут же повторяет их, пританцовывая всей

сутуловатой фигурой и как бы приглашая нас вскинуть ножку под его задорный напев…

Еще хочется сказать о педагогическом даре Татьяны Александровны, который был, видимо, прирожденным, то есть наследственным.

Догадываюсь, нет, я просто уверен, что огромное ее влияние на нашего сына — крестника Сергея Александровича — длилось все то время, что была жива Татьяна Александровна, и продолжается по сей день.

Как опытный художник, накладывая один штрих за другим, Т.А. проявляла будущий образ своего воспитанника. И в этом, разумеется, не могла обойтись без иронической подкладки.

Я до сих пор отчетливо вижу перед глазами трехлетнего мальчика, к которому Татьяна Александровна обращается с просьбой, изложенной в самом куртуазном стиле:

— Илюша, будь так любезен, принеси мне, голубчик, с веранды мой портсигар.

Мальчик в ту же секунду кидается на веранду, задевая плетеные кресла, хватает портсигар и тычет его в руки Т.А.

— Молодец. Спасибо. Только знаешь, дорогой Илюша, все это можно сделать и по-другому. Ты ведь будущий мужчина, а значит должен привыкать вести себя как галантный кавалер. Что это значит? Во-первых, ты должен приучать себя к плавности движений, чтобы лет через двадцать, когда ты будешь наливать, к примеру, воду из графина в стакан, не расплескивать ее на скатерть и не бить горлышком кувшина о край стакана, вызывая у окружающих ощущение пожара. Ты должен подойти к даме степенно, шаркнуть ножкой… — Сереженька тебе покажет, как это делается…

Тут С.А. с легкостью необыкновенной взлетает из плетеного кресла, мгновенно обретая стать поручика Шервинского, подходит к Т.А., пристукивает каблуком о каблук так, что мы явственно слышим звон шпор, и, слегка склонив голову набок, раскрывает перед дамой портсигар со словами: «Не угодно ли папироску?»…

Должен сказать, что какое-то время спустя у нас на даче из соседней комнаты можно было слышать стук каблучков и повторяемую на разные лады фразу: «Не гугодно ли папиьоску?» Это Илья, усадив на диване весь наличный фонд игрушек, репетировал перед ними свое кавалерское будущее.

А вот что вспоминает моя жена:

«Мы пришли в очередной раз навестить Т.А. и С.А. Татьяна Александровна спросила: „Что ты ел сегодня на обед?“ Илюша честно перечислил ряд блюд и завершил перечень словами: „А

еще я ел гениальный компот“… Секундная пауза… И Татьяна Александровна почти вскрикнула своим низким, в этот момент очень строгим (маленький Илья называл это „толстым“) голосом: „Как ты смеешь называть компот — гениальным? Какая глупость! Даже гадость! Да ты знаешь ли, что значит это слово? Ты уже большой мальчик — тебе пять лет! Я очень прошу тебя — никогда не употребляй слова, истинное значение которых тебе не известно“».

Мне кажется, что жизнь Татьяны Александровны была предопределена художественным складом ее натуры.

И людей, и природу она воспринимала в зависимости от того, какой импульс получало от них ее творческое начало.

Жажда творческих впечатлений руководила ею во многом. До них она была, можно сказать, жадной. Всегда спрашивала первым делом: — Что происходит, над чем работаете?

Даже те из впечатлений, что записаны ею в книге «Я помню», говорят о почве невероятно благоприятной к восприятию жизненного материала.

Эту расположенность собеседницы ко всему, что было или могло стать искусством, ощущал почти физически каждый, кто общался с Т. А. Луговской.

Как бы старость ни меняла облик Татьяны Александровны, сквозь него всегда просвечивали внешность и повадки озорной девчонки или азартной спортсменки (Т.А. любила вспоминать то славное свое время — вместе с подругой своей юности — Галиной Павловной Эйснер — ее партнершей по академической гребле и чуть ли не загребной на их восьмерке…).

Думаю, что ей очень шла полосатая футболка, о которой многие из нас имеют представление лишь по картинам Дейнеки или по фильму М. Швейцера «Время, вперед…».

Ее безупречный художественный вкус и врожденный артистизм позволяли ей носить любую одежду с особой неотразимой элегантностью.

Помню, как однажды в зимний день я по просьбе Ермолинских устроил на студии «Союзмультфильм» для них и для В. Я. Лакшина просмотр своих фильмов. Мне было приятно выслушать после просмотра не просто «пропасть комплиментов», но аргументированную, развернутую в форму устного эссе оценку моего скромного труда. Но не менее того приятно удивила меня реакция студийного вахтера на появление Татьяны Александровны в длинной, в пол, енотовой шубе в сопровождении солидных господ в пыжиковых и бобровых воротниках и шапках, опиравшихся на столь же солидные трости с массивными резными ручками…

Вахтер этот даже не попросил их назвать фамилии, только отшатнулся в изумленном восхищении, а проводив их после просмотра, все в том же изумлении спросил меня: — «Это что ж за немцы к тебе приходили?»

Эту историю я рассказал впоследствии своим тогдашним гостям и, помнится, очень их — а Т.А. в особенности — насмешил ею…

Стихов Татьяна Александровна помнила наизусть видимо-невидимо. Очень любила Ходасевича, Гумилева, Ахматову (с которой дружила). Но более всего, кажется, — Блока.

Думаю, что она никогда ни с кем не кокетничала специально, потому что врожденная женственность, как бы включающая в свой состав толику грациозного кокетства, не покидала ее никогда.

Но ни кокетство это, ни шутливая ироничность не заслоняли собой сущности, которая делала ее одной из самых притягательных личностей среди людей, наделенных многими достоинствами и талантами.

Сущность эта заключалась, на мой взгляд, в том высоком нравственном пороге, которым мерили всегда прежде всего свою, а уж потом — чужую жизнь лучшие представители русской интеллигенции.

Татьяну Александровну боялись многие. Боялись ее крутого, прямого нрава. Особенно — жены, привыкшие к повсеместному послаблению для своего пола. Чем объяснялась столь пугавшая многих строгость ее нрава?

Думаю, прежде всего, — абсолютным слухом к малейшей фальши.

Людей умных, талантливых и при этом по-настоящему совестливых, обладающих какими-то устоями, определенными нравственными принципами в так называемой творческой среде на самом деле удивительно мало. Думаю, их количество измеряется единицами. Поэтому-то мы всегда так тянемся к ним. Поэтому мы становимся в их присутствии, в поле их благожелательного и вместе с тем требовательного внимания, и умнее, и чище, и одареннее. При жизни Татьяны Александровны многие из знавших ее — здесь я бы употребил странную формулу не как эвфуизм, а как полное и буквальное соответствие сущности явления — имели честь и счастье прибегать к ней за помощью и советом.

Я упомянул про многолюдные собрания в доме Ермолинских. Надо ли говорить о том, что каждый из гостей имел возможность личного общения с каждым из хозяев. Таких встреч, таких бесед каждый, думаю, ждал с особым волнением.

И Татьяна Александровна, и Сергей Александрович были

одними из тех редких на земле людей, которым можно было доверить самые сокровенные переживания и сомнения, в надежде получить необходимый совет. Эти беседы-исповеди продолжаю я вести с дорогими для меня людьми и после их ухода. Именно они оказались самой надежной опорой для нас в мире, стремительно перерождающемся у нас на глазах не только за счет завоевания новых свобод, но и за счет деформации, вплоть до полной утраты, представлений о таких вещах, как честь и достоинство. А они, эти представления, как известно, всегда должны быть неизменными. Коррозия, язвящая их в наши дни, делает их непригодными к употреблению, как булгаковскую осетрину — ту самую, что «не первой свежести».

И вот здесь-то и зажигается в нашем сознании лампа под старинным абажуром, источающая негасимый свет добра, порядочности, благородства и таланта. И как часто вижу я под этим абажуром дорогих своих чуть чудаковатых стариков, лучше которых не было и нет никого на свете.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА [109]

Я ПОМНЮ Татьяну Александровну до того, как познакомилась с ней, задолго до того. А что помню — из каких упоминаний, мимолетных разговоров, значительных умолчаний складывался ее образ, можно сказать, ореол, — теперь не вспомнить. Помню любопытство свое, что бывает только в юности — очень хотелось с этой женщиной познакомиться, ну хотя бы увидеть.

Увидела — в Болшево, в Доме творчества. Она шла по коридору — прямая, высокая, в хорошем костюме, с седой стрижкой. Почему-то я догадалась, что это она и есть — жена Сергея Александровича Ермолинского, известного сценариста, сестра поэта Луговского, художница… Познакомиться тогда не удалось, хотя Ермолинского я давно знала, как и многих «стариков». Наши — светлой памяти — Дома творчества были тем хороши, что поколения непринужденно знакомились друг с другом, общались — к взаимному удовольствию, а там уж — как получится: можно разъехаться на всю оставшуюся жизнь, а можно и продолжить знакомство. Сергей Александрович тогда, в шестидесятых, не казался мне стариком, как другие «старики» его возраста, ровесники века, но вместе с женой — а она намного моложе — они были из прежней жизни, из какой-то другой жизни, которой мы не знали, которая волновала. Я уже слышала, что они называют друг друга на «вы». В Болшево они существовали как-то отдельно от кинематографического

сообщества, не смешиваясь. Это ощущение «отдельности» исходило от Татьяны Александровны.

Через несколько лет, в шестьдесят девятом, я приехала в Ялту, в писательский Дом творчества — работать с Вениамином Александровичем Кавериным, и оказалось, что они близкие друзья: Каверин с Лидией Николаевной Тыняновой и Ермолинский с Татьяной Александровной сидели за одним столом и по вечерам тоже не расставались, устраивали литературные чтения или просто «освежали ум беседой», как любила выражаться Татьяна Александровна. Меня приняли в общество, довольно закрытое, избранное, не потому, что я сценаристка, скорее, вопреки: к кино все относились высокомерно, как к занятию суетному и продажному. Хотя Ермолинский и написал много сценариев и продолжал их писать, это оставалось для него ремеслом, все более тягостным. Все разговоры вертелись вокруг литературы, она была мерилом всех вещей, и помню, Каверин сообщил мне по секрету, что Татьяна Александровна очень талантлива, она очень хорошо пишет, только пока никому не читает. Прочла ему какие-то кусочки воспоминаний, и он уговаривает ее написать книгу. И издать. И вообще относиться к себе серьезно — как к писателю. Он искренне досадовал, что кто-то может свой талант разбрасывать и разбазаривать, прозевать в конце концов. Сам он в десять утра всегда садился за письменный стол и всем желал того же.

Теперь эти две недели в весенней душистой Ялте, в неспешных беседах о высоком под пение птиц и шум прибоя кажутся мне раем на земле и подарком судьбы. Но если припомнить подробней — мне не было уютно в их писательской резервации, я будто все время сдавала экзамен; не упускала возможности подхватить строчки из Пастернака или Ходасевича, чтобы удостоиться радостного недоумения: «Надо же! Вот откуда они знают? Вас же этому не учили». Татьяна Александровна умела всплеснуть руками так, что в следующий раз опять стоило показать, что и «мы не лыком шиты». «Мы» — это я в отведенной мне роли — олицетворять поколение непросвещенных, не посвященных в трагические тайны века и служить приятным доказательством, что «рукописи не горят».

Позже, через год, мы познакомились ближе — в Репино, опять-таки в Доме творчества под Ленинградом, где мой муж, режиссер Илья Авербах, не испытывая моего трепета и пиетета перед тем поколением интеллигентов, поскольку сам был из «прежней жизни» и знал о ней достаточно, расспрашивал подробно и конкретно про двадцатые-тридцатые годы: кто как себя вел, кто почему и с кем поссорился и правда ли, что вот у

Надежды Яковлевны Мандельштам написано… и т. д. То, что теперь известно всей читающей публике по обильным мемуарам, мы узнавали изустно. Хотя читали много «ваты» — так называлась вся подпольная, ходившая в списках литература.

Если мужчины, выпив, затевали какой-нибудь безвыходный долгоиграющий спор о роли, например, русской интеллигенции, Татьяна Александровна увещевала их шутками, никому всерьез не перечила, следила за нормой выпитого и переключалась на разговор со мной — «о своем, о женском». Вообще чувство меры, уместности было у нее врожденным, а как театральный художник она понимала толк «в своем, в женском». Как одевались, и как держались, и как обставляли свой быт легендарные женщины прошлых времен, когда женщины еще были вполне женщинами, а не «боевыми подругами». Татьяна Александровна принадлежала и к тому, и к другому племени, что редко случается.

В те годы она как раз вышла на пенсию, Сергей Александрович «отстранил Танечку от работы», как он говорил, и она зажила вполне домашней жизнью, наслаждаясь ею и устраивая маленький праздник из всякой мелочи, но далеко не всех пуская к себе в кухню. Разные люди по разным делам — студийным, журнальным — бывали в кабинете у Сергея Александровича, но в глубину квартиры, в священную кухню и в комнату Татьяны Александровны их не приглашали.

Она часто говорила, что запрограммирована на счастье, что всегда умела его находить и прожила счастливую жизнь. Конечно, она его сама ткала, всегда немного в это играла и других настраивала на свой тон, но, думаю, — мудрая разборчивость в людях и вещах служила самым прочным основанием ее счастью. И благообразию дома и уклада.

В те годы я жила в Ленинграде, но часто сиживала в их кухне, всегда, когда приезжала к родителям в Москву. Теперь можно признаться, что стремилась я туда не за литературными беседами, а именно к Татьяне Александровне — за «искусством жить». Тому нашлось документальное подтверждение — письма, совсем мною забытые, что я писала ей из Ленинграда. Мила Голубкина — племянница Татьяны Александровны нашла их, разбирая архив, и сохранила. Приведу отрывки из одного, поздравительного, с Днем Ангела, со стихами и пожеланиями. Татьянин день, 25-е января уже не вспомнить какого года.

«…И чтобы гости засиживались, но и знали честь, чтобы в свой час балагурили, а в свой час — освежали ум. А также всего, всего, чего Вы ждете от Ангела. Пусть постарается. А я постараюсь ответить на те вопросы, которые Вы задавали по телефону. Например, такой вопрос: „Чего это вы к нам ходите? Чего это вам

у нас понравилось?“ Отвечаю: ходим мы не так просто, а напротив — из своекорыстия и любознательности. Например, интересно, как сохранять чувство юмора и другие чувства?.. Мне, например, интересно узнать — „как ходить в халате, не теряя стати“? И вообще, как обращаться с гостями, чтобы они слушались и восхищались? И другие вопросы из культурной жизни: „Как раскидать двенадцать блюд, чтобы создать из них уют?“»

«И узнать бы хорошо бы,
Как достичь в одном семействе,
Чтобы все куда-то шло бы,
Но стояло бы на месте».

«…Конечно, не без колдовства…
Но нужно и старанье:
Недуги, сплетни, торжества,
Почтение, изгнанье,
Гордыню и смиренье
И собственное мнение,
Стихи, грехи, пройдох, девиц,
Других официальных лиц,
(Хотя и канувших давно,
Но все равно — не все равно),
И все, что есть на свете
Из духа и из плоти —
Поймать в большие сети,
Сварить в одном компоте,
Солить по вкусу своему
И подавать — чего кому.
Но пусть же гость, и сыт и пьян,
Отдав поклон, поймет обман:
Что тут оставлены места
И для великого поста!»

«Хотела сочинить поздравительные стихи, а получилось, кажется совсем не застольное. Но все равно — переписываю красиво заморским фломастером…» Удивляясь и умиляясь над пожелтевшими страницами, саму себя не узнавая, я все-таки решилась их процитировать, потому что «искусство жить» — главнейшее из искусств, и оно притягивает, завораживает.

После смерти Сергея Александровича, когда наступила настоящая старость и совсем худые времена, тяжелые болезни — поток гостей не иссякал, и не только по праздникам. Как-то

Татьяна Александровна сумела всех сохранить и притягивать новых. Все они согласятся со мной, что этот дом был значительной страницей их жизни.

Татьяна Александровна, как и все на свете, боялась одинокой старости. Все боятся, но избежать мало кому удается. Татьяне Александровне удалось, как и все, чего она сильно хотела. «Конечно, не без колдовства…» Многому мы у нее учились, а этому не научишься.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ [110]

1

После окончания института я работал учителем литературы в сельской школе на маленькой железнодорожной станции Зензеватка. Было начало восьмидесятых, и я еще не знал, что мое село уже увековечено, хоть и с ошибкой в названии, Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГе» в качестве невероятного в СССР уголка либерализма. Но, думаю, в моем знакомстве с Татьяной Александровной Луговской станция Зензеватка сыграла не последнюю роль.

Подобно большинству молодых людей, я тогда был безумно влюблен в Михаила Булгакова. «Мастер» сразил меня сразу и наповал. Мне было лет шестнадцать, когда, получив журнальный вариант романа на три дня, я сначала за ночь «проглотил» его, а в оставшееся время записал целиком на магнитофонную пленку «в собственном исполнении». Потом я старательно читал всё, что хоть каким-то боком касалось Михаила Афанасьевича, покупал собрания сочинений, предположим, Павла Маркова или Бориса Алперса только из-за того, что несколько страничек в их томах были посвящены Булгакову.

И вот в 1983 году в мои руки попали «Драматические сочинения» Сергея Александровича Ермолинского. Почти сто страниц книги были посвящены воспоминаниям о Михаиле Булгакове!

Записки Ермолинского обладали почти той же магической силой, что и книги его героя. Было совершенно невероятным, что человек, так близко знавший Булгакова, жив, пишет и его печатают. Но еще более невероятным было то, что и сам Булгаков в воспоминаниях получался абсолютно живым и досягаемым. И, конечно, не так, как будто он только что был здесь, но на минутку отлучился, а так, как бывает в больничном коридоре инфекционного отделения, когда общая болезнь объединяет

незнакомых людей сильней, чем брачные узы.

Воспоминания Ермолинского были радиоактивными. Они светились Булгаковым. И, казалось, всякий человек, хвативший хоть малую дозу булгаковского излучения, не мог не отозваться на них.

По крайней мере, я не смог. Я испытывал такую благодарность к Сергею Александровичу, что немедленно написал и отправил ему письмо «на деревню дедушке», по адресу издательства «Искусство», выпустившего книгу. Честно говоря, я не был уверен, что оно дойдет до адресата, но об этом я думал меньше всего. На ответ я тоже не рассчитывал и обратный адрес написал, скорее, по ритуальным соображениям. Писем в редакции я не писал никогда, ни до, ни после.

Прошло примерно полгода. Однажды, возвратясь из школы, я обнаружил в своем почтовом ящике необычный продолговатый конверт, на котором фиолетовыми чернилами размашистым почерком была написана моя фамилия. Письмо было из Москвы.

Не помню, чего я ожидал тогда от него, но явно не того, о чем в нем сообщалось. Я узнал, что мое письмо очень долго пролежало в издательстве в кабинете редактора, а в дом Ермолинского попало в день похорон Сергея Александровича. Как будто бы его прочитали вслух на панихиде, меня благодарили за участие и что-то еще. В конце письма был обратный адрес и даже домашний телефон. Подписано оно было Татьяной Александровной Луговской.

Я не ответил. Я не знал, что можно написать. В словах Татьяны Александровны явственно звучала жестокая боль, а я считал, что мой ответ эту боль только усугубит. Мое письмо казалось мне тогда, по меньшей мере, неловкостью. Всё сложилось как-то совершенно некстати.

Но, когда через полтора года я оказался в Москве, я решился позвонить. И опять действительность обманула все мои ожидания.

Набирая номер, я, естественно, готовился долго объяснять, кто я такой и откуда взялся. Но стоило мне только назвать себя, как в ответ я услышал просто непостижимые слова: «Наконец-то! Куда вы пропали? Мы тут с ног сбились, вас разыскивая. Эйдельман и Юрский уже ищут вас через милицию и адресный стол. Немедленно приезжайте!»

Эйдельман и Юрский! Если бы с другого конца провода мне бы сказали «Маркс и Энгельс», я бы, ей-Богу, меньше удивился.

Разумеется, я немедленно приехал. Всю дорогу в метро меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Словно я еду в какое-то тридевятое царство, тридесятое государство, где

только и возможно наличие как Эйдельмана, так и Юрского во плоти и крови.

Через некоторое время я стоял перед дверью с табличкой, на которой было выгравировано «С. А. Ермолинский», и меня била крупная дрожь. Неимоверным усилием воли я заставил себя дотянуться до звонка и стоял, уже практически не дыша.

Дверь мне открыла Татьяна Александровна. Она проводила меня в кабинет и внимательно осмотрела с головы до ног.

— Странно, — сказала она, — по вашему письму я представляла, что у вас должен быть какой-нибудь физический недостаток, вроде горба.

Я почувствовал себя негодяем и постарался ссутулиться так, чтобы появилось хоть что-то, напоминающее требуемый горб.

— Кстати, — продолжила Татьяна Александровна, — тут до вас у Сергея Александровича была одна булгаковедка из Франции. Она случайно узнала, что Ермолинский жив и приехала к нам. Так вот, на пороге нашей квартиры она упала в обморок.

Я тоже был готов упасть в обморок. Не знаю, что меня удержало на ногах.

— Садитесь, — сказала Татьяна Александровна и указала мне на диван. Сама она села напротив за массивный письменный стол, на котором возвышалась антикварная бронзовая чернильница с ангелочками, бронзовые подсвечники и еще какие-то предметы из совсем не знакомого мне быта. После некоторой паузы Татьяна Александровна продолжила:

— Между прочим, на этом диване до вас сидели Чехов и Чан Кайши.

Я вскочил как ошпаренный.

По-видимому, Татьяну Александровну удовлетворила моя реакция, она вновь настойчиво порекомендовала мне сесть. Я повиновался, но постарался разместиться на самом краешке священного дивана, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве.

За спиной у Татьяны Александровны расстилались стеллажи с книгами, которые я раньше видел только во сне. На боковой полке стояла фотография Булгакова с собственноручной дарственной надписью писателя Ермолинскому. На стене висел какой-то подлинный портрет, в котором узнавалась рука настоящего мастера конца 18 — начала 19 века. Заметив судорожные метания моего взгляда по полкам и стенам, Татьяна Александровна властно прервала их. Она задумчиво повертела на пальце золотое кольцо с небольшим рубином и произнесла:

— Это кольцо матери Михаила Афанасьевича Булгакова. С ним он обручался с Еленой Сергеевной. Если повернуть камнем

вверх, будет перстень, а если внутрь, нормальное обручальное кольцо.

Я окончательно потерял дар речи.

Но, похоже, Татьяна Александровна решила сменить гнев на милость. То ли в комнате уже отчетливо запахло серой, то ли она посчитала, что с меня достаточно, но тема разговора плавно перешла на Зензеватку. Татьяна Александровна хотела знать о ней решительно всё: начиная от этимологии и орфоэпии, кончая населением и географическими координатами.

Я начал отвечать. Сначала неуверенно, а потом всё более и более воодушевляясь знакомой темой. В конце концов, у меня начали получаться связные предложения. Татьяна Александровна успокоилась.

Вероятно, само звучание этого слова Зензеватка очень много привнесло в создание моего предполагаемого образа. В нем, несомненно, было что-то булгаковско-гофманианское, а потому и во мне должно было быть нечто от крошки Цахеса и, заодно, студента Ансельма. В любом случае, оно отдавало духом мистификации, а в доме Ермолинского и Луговской мистификация всегда была в чести.

Тот вечер пролетел незаметно, я вышел от Татьяны Александровны где-то около часа ночи с подаренной мне книгой Сергея Александровича и, конечно, никуда не поехал, а бродил до утра по Москве и даже часа в четыре у Патриарших прудов восторженно рассказывал какому-то милиционеру, проверявшему у меня документы, о том, что было со мной сегодня, хотя этого быть не может, потому что не может быть никогда.

2

Если когда-нибудь выяснится, что среди предков Татьяны Александровны были настоящие короли, я нисколько не удивлюсь. Во всем ее облике, манере держаться, походке было нечто королевское. Долгие годы она курила папиросы «Герцеговина Флор» с золотым ободом, притом что болела астмой и врачи категорически запрещали ей курить. Татьяна Александровна объясняла свое пристрастие просто и торжественно: «Я курю для жеста».

Папиросный дым сопровождал ее, как свита сопровождает короля. Она терпеть не могла неравенства, но почему-то легко и естественно получалось, что она сюзерен, а все окружающие вассалы, и это было нисколько не обидно, а, напротив, почетно. Татьяна Александровна будто бы усыновляла всех, приходивших

в ее дом, и вспоминался отрывок из ее книги «Я помню» о том, как еще ребенком, она, рыдая, пожаловалась отцу, что какая-то девочка отказалась с ней играть, поскольку она (девочка) — дочь генерала. И отец успокоил ее, сказав, что и она тоже дочь генерала. Принимая человека, Татьяна Александровна необыкновенно возвышала его. Но не дай вам Бог было попасть в немилость!

Она любила одаривать, и дары эти тоже были королевскими. Не заботясь о вещах, о которых она слегка надменно говорила: «Не надо сожалеть о вещи, бывают вещи и похлеще», Татьяна Александровна старалась сохранить кабинет Сергея Александровича таким, каким он был при его жизни. На столе всегда стояла полупустая баночка его голландских сигар, в баре открытые бутылки, книги на полках в том порядке, как их расставил Сергей Александрович. Я тогда писал диссертацию о Марине Цветаевой, и вот однажды Татьяна Александровна сняла с полки редчайшее пражское издание писем Цветаевой к Анне Тесковой и подарила его мне. Потом подумала, сняла с книги суперобложку и вернула ее на полку. «Книга нужней вам, — сказала она, — а мне память».

Для меня она олицетворяла живую память. Она была подобна большому дереву-жонглеру, потому что могла совершенно произвольно вращать своими годовыми кольцами, оживляя их и впуская в ушедшее время. Неожиданно я узнавал, что за ней, впрочем, безуспешно успел поухаживать Маяковский. Иногда она вспоминала об Ахматовой или Фадееве, Елене Сергеевне Булгаковой или Леониде Малюгине и говорила о них так, будто они сию минуту дожидались ее на кухне. У нее был потрясающий дар рассказчика, благодаря которому время утрачивало свою формообразующую сущность. Татьяна Александровна хранила воспоминания во плоти и крови, и смерть превращалась в понятие крайне отвлеченное.

Как-то, когда мы говорили о ее брате, поэте Владимире Луговском, Татьяна Александровна хмыкнула: «Володя говорил, что мы должны быть ему благодарны, потому что он нас обессмертил, а я ему отвечала, что мы еще посмотрим, кто кого!» И я думаю, что она в тот момент ни капли не преувеличивала, поскольку она-то могла сохранять не букву или даже слово, но дух.

Она умела не обладать, но владеть. Наверно, это качество может быть только врожденным. Она не управляла своим домом, а правила им. Она не подчиняла, но ей подчинялись. В ее квартире часто собирались удивительные люди: Эйдельман и Данин, Лиходеев и Наталья Ильина, Петрушевская и Рязанцева,

Юрский и Крымова, супруги Чудаковы и многие другие. И все как-то совершенно естественно признавали ее старшинство. Не по возрасту, не по таланту, а по какому-то непостижимому праву, которым Татьяна Александровна была наделена.

Как-то поздно вечером я вышел от Татьяны Александровны вместе с Натальей Крымовой и художником Борисом Жутовским. Когда мы сели в машину, Наталья Анатольевна спросила меня: «Вы хоть понимаете, как вам повезло?!» Думаю, что ни тогда, ни даже сейчас я еще не способен оценить счастья, выпавшего на мою долю и подарившего мне знакомство с таким человеком. Но и тогда и сейчас мне хочется воскликнуть: «Почему только мне? Нам всем невероятно повезло!»

3

Конечно, Татьяна Александровна воспитывала меня. Она никогда не покровительствовала, не поучала, но ее уроков я никогда не забуду. Это была и школа этикета и хороших манер, но, главное, замечательная школа нравственности. Что-что, а осаживать она умела виртуозно. Стоило хоть на секунду задрать нос, и тут же ты оказывался в глупейшем положении. Промашки Татьяна Александровна прощала, но спуску им не давала.

Особенно она не терпела гордыни. Сама она была напрочь лишена почтения к собственной персоне, хотя далось ей это, вероятно, непросто.

Я никогда не забуду ее рассказа о решающем событии, повлиявшем на ее характер. Дело было в конце сороковых годов, когда Татьяна Александровна и Сергей Александрович еще не были мужем и женой. Он недавно вернулся из «тюряги» и ссылки, и роман был еще в начале.

Татьяна Александровна жила тогда в одном из Арбатских переулков в квартире на первом этаже. Сергей Александрович явился к ней поздно вечером, слегка навеселе. Раздосадованная Татьяна Александровна было выговорила ему, но он был непреклонен и вызвал ее во двор. Далее события развивались в темной арке.

Стояла поздняя весна, было тепло и даже душно. Татьяна Александровна выскочила из дому чуть не в тапочках, чтобы раз и навсегда покончить с этим безобразием, и вдруг увидела в глазах Сергея Александровича необыкновенное вдохновение, которое бывает только у пророков. Он как-то удивительно взмахнул не рукой даже, а дланью, и, указующим перстом пронзив твердь земли, изрек: «Гордыню… Попрать!»

Татьяна Александровна так произносила это «попрать», что было совершенно ясно, что ничего другого ей уже не оставалось. В тот вечер ее судьба решилась окончательно и бесповоротно. Она стала женой Сергей Александровича Ермолинского, она стала тем, кто она есть.

И, ей-Богу, одна только эта история стоила для меня гораздо больше, чем сотни дидактических страниц, написанных даже великими педагогами.

4

— Салфет вашей милости!
— Красота вашей чести!
— Любовью вас дарю!
— Премного благодарю!

Эту присказку Татьяна Александровна как-то припомнила, рассказывая о старомосковском быте, поре своего детства. Она вообще умела одомашнивать время, делать его доступным и близким. Когда она читала свои любимые стихи Владислава Ходасевича —

> Милые девушки, верьте мне или не верьте,
> Сердце мое поет только вас и весну…

казалось, что эти стихи поэт посвятил именно ей. Она была на ты с началом века, что ей нисколько не мешало жить в конце восьмидесятых и начале девяностых.

Тогда у нас только начали транслировать Уимблдонский теннисный турнир, и Татьяна Александровна однажды просто огорошила меня заявлением: «Я влюбилась». Ее избранником оказался австралийский теннисист Патрик Кэш, поразивший воображение Татьяны Александровны ленточкой на волосах. То она начинала расспрашивать меня о «The Beatles», то с жаром говорить о политике и Михаиле Горбачеве. Никогда нельзя было предугадать, о чем речь пойдет в следующую секунду.

В один прекрасный день прямо напротив ее дома должна была состояться церемония открытия памятника Эрнесту Тельману, на которую должны были явиться первые лица государства. Татьяна Александровна долго выглядывала из окна, а потом с досадой сказала: «Ужасное окно! Из него не то что мне, а даже снайперу ничего не будет видно».

И так у нее было всегда. Она могла с восторгом говорить о человеке, но стоило ему сделать опрометчивый шаг, и в его адрес

звучало короткое и презрительное слово: «Дурак!» Человек, награжденный таким титулом, либо навсегда исчезал из ее жизни, либо должен был долго вымаливать себе прощение.

Мне выпало счастье знать Татьяну Александровну 10 лет. И все эти годы я балансировал на грани между «дураком» и нормальным человеком. Это было удивительное испытание, которое, к счастью, я выдержал. Я не был изгнан, и это одно из главных достижений моей жизни.

Думаю, что на это Татьяна Александровна ответила бы еще одной своей любимой присказкой:

Всё быть может, всё быть может,
Всё, конечно, может быть.
Одного лишь быть не может —
То, чего не может быть!

Заключение
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

Скончалась Татьяна Луговская.

Она была красива, как чередование звуков в ее имени и фамилии. Ей было уже много лет, она была больна, одинока — детьми Бог ее не наградил. Тяжелая травма ноги, годы уже не позволяли ей выйти из дома.

Что привязывало ее к жизни? ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ тем, кого она ощущала истинно близкими. И не имело значения, что они давно уже ушли из жизни. Оставалось право ВСЕГДА ПОМНИТЬ, оставалась сила ДУМАТЬ, ГОВОРИТЬ, ПИСАТЬ. Так возникла замечательная книга Татьяны Александровны «Я помню…». Книга о детстве и отрочестве, о мудрой радости вхождения в жизнь, о брате — Владимире Луговском, но прежде всего об отце — гимназическом учителе и директоре. О Москве 10–20-х годов. Книга имела успех и была переиздана несколько раз. На склоне лет Татьяна Александровна Луговская — художник по профессии — стала писателем. Такова сила многосторонней талантливости, такова сила любви.

Но о главной своей любви она не написала. О любви не по происхождению, а по выбору, раз и навсегда, о любви к своему мужу — Сергею Александровичу Ермолинскому, писателю, сценаристу, другу Булгакова и страдальца за Булгакова. Она вышла замуж за бесправного, безнадежно ссыльного, бездомного. И непрерывной радостью была их трудная жизнь — радостью оттого, что найти друг друга, что могут шутить и веселиться,

иметь друзей и, довольствуясь малым, весь мир нести в душе своей. Это была жизнь истинных аристократов духа.

Имя Ермолинского объединяло большой круг интересных людей — писателей, историков, режиссеров, ученых. Собирались у Татьяны Александровны регулярно, и — никогда — по долгу, всегда — в радость!

18 февраля — день смерти Ермолинского — давно перестал быть траурным, это день ежегодного самого большого памятного собрания друзей.

Татьяна Александровна говорила: «Десятую годовщину мы должны отметить. Надо написать о нем, надо напомнить людям…

Я должна… но я уже не могу…»

Она хотела одного — чтобы в этот день собрались.

Собрались.

Но она уже была без сознания.

Она скончалась 19 февраля во второй половине дня.

Круг разорван — ушли из жизни многие.

Теперь вырван центр — мы прощаемся с неизменно возвышенной, благородной, остроумной, талантливой, верной Татьяной Луговской.

notes

Примечания

1

Мы приводим здесь, записанный Т.А. разговор с редактором, очень характерный для доперестроечных времен: «Т.А., рукопись мне понравилась. Вы беспощадны и правдивы, но плохо освещена средняя переломная часть 1917 года.

Что-то надо делать.

Непонятно, почему ваш отец, будучи беспартийным интеллигентом, так легко принял революцию. Почему вы, маленькой девочкой поевши красной икры и погулявши с нянькой на сквере, с большим удовольствием вспоминаете колонию и голодный 1920 год? Почему ваша семья не уехала за границу? Может быть, кто-нибудь из вашей семьи все-таки имел отношение к революции».

— Да, дядя Петр Федорович Луговской был убит в 1905 году, когда студентом произносил речь, зацепившись за фонарный столб, но это не имеет никакого отношения к тому, что я пишу и мне не хотелось бы спекулировать на этом.

Здесь и далее примечания составителя.

2

Успенские: Михаил Дмитриевич Успенский (1850(?)—1912) — отец матери Ольги Михайловны Успенской (Луговской), настоятель церкви Симеона Столпника на Поварской. Их дом на Поварской, 6, описанный в воспоминаниях ТА Луговской, рухнул в одну из бомбежек 1942 года.

Юлия Михайловна — жена Михаила Дмитриевича, бабушка Т. А. Луговской, умерла до ее рождения.

З

Ольга Михайловна Луговская (в девич. Успенская) (1878–1942) — мать Т. А. Луговской.

4

Сергей Михайлович Успенский, брат Ольги Михайловны.

5

Наталья Михайловна Успенская, сестра Ольги Михайловны.

6

В. А. Луговской — Владимир Александрович Луговской (1901–1957), старший брат Татьяны Александровны Луговской, впоследствии известный советский поэт.

7

Нина Александровна Шаховская (1903–1980), сестра Т. А. Луговской, работала в музее им. Бахрушина.

8

Голубкина Людмила Владимировна (род. 1933) — редактор, директор высших режиссерских и сценарных курсов, дочь В. А. Луговского, племянница Т. А. Луговской.

9

Сергей Александрович Ермолинский (1900–1982), сценарист, драматург. Муж Татьяны Александровны. После смерти Булгакова был арестован и сослан.

10

Луговские — Федор Александрович Луговской, дед Т. А. Луговской по линии отца. Умер в Риге в 1896 году, похоронен на Лесном кладбище. Священник.

Его жена — Мария Ивановна Луговская (описана Т. А. Луговской как Юрьевская бабушка в главе «Болезнь отца»).

Александр Федорович Луговской (1874–1925) — старший сын, отец Т. А. Луговской. Педагог, учитель словесности, инспектор Первой московской гимназии.

Петр Федорович (1879–1905) — студент, погиб в 1905 году во время январских событий.

Николай Федорович (ок. 1881(?) — после 1937) — офицер, потом советский служащий. Был арестован в 37-ом году, умер в ссылке.

Евгений Федорович (1884–1952) — врач, учился в Юрьевском ун-те, потом в Москве у известного доктора Нечаева. С 1922 работал в Петрозаводске (дети — Борис, Мария, Станислав — историк, проректор Петрозаводского ун-та).

Любовь Федоровна Арень (в девич. Луговская) — жила в Польше. Муж Вячеслав. После революции остались в Польше. (Дети — Борис в Америке, Слава и Петя погибли при переходе границы из Польши в Россию.)

Лидия Федоровна Блейве (в девич. Луговская) — замужем за эстонцем — священником, который погиб в Гражданскую войну, спасая людей. (Дети: сын Иван — известный эстонский композитор, Федор — стал священником в память об отце).

11

Мария Михайловна Сергиевская (в девич. Успенская).

12

«*Муха*» — Мария Владимировна Седова, родилась в 1930 г., племянница Татьяны Александровны, дочь В. А. Луговского, археолог, доктор наук.

13

Тамара — Тамара Эдгардовна Груберт — первая жена В. А. Луговского (1902–1996), работник театрального музея им. Бахрушина.

14

Дом на Волхонке — Волхонка, 16 — казенная квартира семьи А. Ф. Луговского при 1-ой Московской гимназии. Описана в главе «Наш дом».

15

Малюгин Леонид Антонович (1909–1968) — ленинградский драматург, в годы войны завлит БДТ, театровед, автор пьес «Старые друзья», «Насмешливое мое счастье», сценариев «Поезд идет на Восток», «Сюжет для небольшого рассказа» и др.

16

Авербах — худрук передвижного театра эстрады.

17

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), русский советский поэт.

18

Каждан Владимир Яковлевич, художник-декоратор, друг Т. А. Луговской.

19

Григорий Павлович Широков (1901–1976), первый муж Т. А. Луговской, кинорежиссер, преподаватель ВГИКа.

Николай Григорьевич, худ. редактор Ленингр. отд. изд. «Искусство».

21

Акимов Николай Павлович — художник, театральный режиссер, главный режиссер театра комедии.

22

Шварц Евгений Львович (1898–1956), писатель, драматург, автор пьес «Дракон», «Тень» и многих других. В своих дневниках писал о Малюгине: «У него сохранилось до сих пор еще выражение мальчишеское и недоброе. Вызывающее. При светлых волосах — глаза темные, недобрые. <….> Положение завлита в театре наименее защищенное, если у труппы с ним нет отношений дружеских, йо в трудные времена охотнее всего отводит душу на завлите. <…> Постепенно узнавал я, встречаясь с Малюгиным чуть ли не каждый день, что он — из взрослых людей. Он был главой семьи. Мать его, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии, на реке Чу, и он заботился и беспокоился о них…» См.: Е. Шварц. «Живу беспокойно». М., 1990.

23

Виноградов Милий Александрович — театральный художник.

24

Нина Станиславовна Сухотская, актриса, племянница Алисы Коонен, приятельница Т. А. Луговской.

25

Дрейден Симон Давыдович (1906–1991) — кинокритик.

26

Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975) — писатель, журналист.

27

Туманов — (Туманишвили) Иосиф Михайлович, режиссер, с 1938 по 1946 г. главный режиссер Оперного театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

28

Типот — автор миниатюр, драматург.

29

Марина — Марина Николаевна Шаховская (1928–1989), дочь старшей сестры Т. А. Луговской — Нины Александровны Шаховской, режиссер-монтажер, работала во ВГИКе.

30

Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) — поэт, автор пьесы «Сказка».

31

Пыжова Ольга Ивановна (1894–1972) — актриса, театральный режиссер, проф. ГИТИСа, постановщик пьесы «Сказка».

32

Коварский Николай Аронович (1904–1974) — критик, сценарист, литературовед.

33

Нина Эфрос — жена артиста, чтеца Натана Эфроса.

34

Казико Ольга Георгиевна — актриса БДТ (подробнее о ней см. в книге: Евг. Шварц «Живу беспокойно». М., 1990).

35

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1964) — писатель.

36

Цымбал Сергей Львович (1907–1978) — критик, завлит Лен. театра комедии.

37

Гурвич Абрам Соломонович (1897–1962), литературный и театральный критик. Речь идет о его книге «В поисках героя».

38

«Пятая Колонна» — пьеса Эрнеста Хемингуэя.

39

Лена — Елена Михайловна Фрадкина, художница, приятельница Татьяны Александровны, замужем за братом Н. Л. Мандельштам, Е. Я. Хазиным.

«Учитель» — фильм С. А. Герасимова.

41

Фадеев Александр Александрович (1901–1956) — писатель, генеральный секретарь СП.

42

«Птичка Чайка» — Лидия Чайка, актриса, приятельница Татьяны Александровны (первая жена К. Симонова).

Аксенов Всеволод — актер Малого театра, чтец.

Дудинская Наталья Михайловна — балерина.

Уланова Галина Сергеевна — балерина.

Сергеев Константин Михайлович — актер балета, балетмейстер, первый Ромео.

Якунина — не выяснено.

Эфрос Натан — чтец-декламатор.

49

Лида Жукова — Лидия Львовна Жукова и ее муж Жуков, японоведы, сестра С. Л. Цимбала. Приехала в Ташкент с дочкой и племянником, нищая и голодная. Мать и сестры умирали в блокадном Ленинграде.

50

Поля — Пелагея Александровна Орел (1910–1967), домработница семьи Луговских, пришла в дом молоденькой деревенской девочкой, прожила с ними всю оставшуюся жизнь. Умерла в 1967 году. На ее похоронах присутствовала почти вся литературная Москва.

Любочка — не выяснено.

52

Леночка Булгакова — Елена Сергеевна Булгакова (1892–1970), вдова М. А. Булгакова.

53

Тамуся — Тамара Эдгардовна Груберт. В первые месяцы войны, когда, как писала Т.Э. в своих письмах, Москва (15–18 октября) была «сдана» и из нее уехали все, кто мог, Т.Э., работая в музее Бахрушина, сохраняла книги и рукописи не только Луговского, но и М. А. Булгакова. Она писала подробные письма Т.А. в Ташкент, рассказывая интереснейшие подробности московского военного быта. Кроме того, ей приходилось буквально «охранять» оставленные комнаты, так как они заселялись беженцами, а многие книги и вещи просто сжигались новыми жильцами в зимние холода.

54

В письмах Т. Э. Груберт из Москвы к Т. А. Луговской от 10.5.42 и 15.6.42 содержатся упоминания о Малюгине: «Очень рада была повидать Лёню, напомнил он мне лето в Плесе, гудки пароходов, безмятежные часы с книжкой под березами». И еще: «За эти дни 2 раза видела Лёню. Кажется, сегодня отправился на фронт. У него умер отец — это известие он получил при мне, и я была тронута его выдержкой. Он продолжал начатые дела и пока их не закончил, даже бровью не повел».

55

С. Магарилл — Софья Зиновьевна (1900–1943), актриса кино, жена Г. Козинцева. Умерла от сыпного тифа, заразившись от С. А. Ермолинского, за которым ухаживала в больнице.

56

Михаил Григорьевич Шапиро, сценарист, режиссер киностудии «Ленфильм».

57

Вирта Николай Евгеньевич (1906–1976) — писатель, драматург.

ЦВДХД — Центральный дом художественного воспитания.

59

Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) — поэт.

Никритина Анна Борисовна (1900–1982) — актриса БДТ, жена поэта А. Мариенгофа.

61

Раневская Фаина Георгиевна — актриса театра и кино.

62

Саша Тышлер — Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980), театральный художник, живописец и график.

63

Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) — театральная актриса.

«Середина века».

65

Т. А. Луговская жила в 1942–1943 гг. в комнате на ул. Жуковского, 54, в писательском «белом доме», прямо под лестницей комнаты Ахматовой (на балахане). По рассказам М. И. Белкиной, которая в это время жила в Ташкенте, Татьяна Александровна зимой воровала у богатых обитателей дома дрова для Ахматовой. Также она была одной из слушательниц «Поэмы без героя» (записала эпилог со слов Ахматовой, который хранится в семейном архиве Луговских). Г. Л. Козловская в своих воспоминаниях об Ахматовой пишет: «Дом на Жуковского, 54 состоял из нескольких построек — направо, налево главный особняк и строение в глубине двора. К нему была словно прилеплена снаружи деревянная лестница, ведшая наверх, на балахану. Еще до переезда туда Анны Андреевны там уже жили писатели Иосиф Уткин, Луговской…» (См.: Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.)

66

Грибов Алексей Николаевич (1902–1977) — актер театра и кино.

Сережа — Ермолинский Сергей Александрович.

68

Маша Смирнова — Мария Николаевна Смирнова (1905–1993), сценарист (фильмы «Член Правительства», «Сельская Учительница»).

Люта Перцова — редактор.

Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) — писатель.

71

В Ташкенте В. Луговской писал главную поэму — «Середина века». Луговские в 1942 году соседствовали с А. А. Ахматовой. В. А. часто читал ей отрывки из своей новой поэмы. Это описывает в своих воспоминаниях С. Сомова: «В добрых отношениях Ахматова была и с Владимиром Луговским, ее рыцарем и почитателем; он целовал ей руки, провожал, поддерживая за локоток, но такова была сила воздействия Ахматовой, что, когда они шли рядом — хрупкая немолодая женщина и широкоплечий мужественный мужчина, — казалось, что он опирается на нее, а не наоборот.

Когда они с Ахматовой читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны, которая много помогала им обоим, — это был эстетический праздник». (См.: Воспоминания об А. Ахматовой. М., 1991.)

72

После отъезда Е. С. Булгаковой (летом 1943 г.) в эту комнату переселилась А. А. Ахматова, о чем говорится в цикле «Новоселье», в стихотворении «Хозяйка» («В этой горнице колдунья / До меня жила одна…») — это стихотворение перекликается с романом «Мастер и Маргарита», который Е. С. Булгакова многим давала читать в рукописи.

73

Елена Леонидовна Быкова (1914–1993) — последняя жена В. А. Литовского, геохимик, кандидат наук, после смерти Луговского занималась живописью, поэзией под псевдонимом Майя Луговская.

Таня Кондратова — не выяснено.

Леонидовы — не выяснено.

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) — поэт.

77

Файко Алексей Михайлович (1893–1978) — театральный драматург.

Зузу — не выяснено, вероятно, жена Е. Шиловского.

Погодин Николай Федорович (1900–1962) — драматург.

Володя — В. А. Луговской.

81

Женя — Евгений Евгеньевич Шиловский (1921–1957), старший сын Е. С. Булгаковой.

Вита — не выяснено.

83

Сережа — Сергей Евгеньевич Шиловский (1926–1976), младший сын Е. С. Булгаковой.

Ирина Соломоновна — Голубкина И. С. (1902–1974), историк.

Мила — Голубкина Людмила Владимировна, дочь В. А. Луговского, племянница Т. А. Луговской.

Зюка (Цзюка) — первая жена Е. Шиловского.

…*роман М.А.* — речь идет о романе Михаила Булгакова.

Паустовская — жена К. Г. Паустовского.

89

Яшуша — кот Луговских.

90

Оля — Ольга Сергеевна Бокшанская (1891–1946), сестра Елены Сергеевны Булгаковой, секретарь В. И. Немировича-Данченко.

91

29 октября 1940 года Сергей Александрович Ермолинский был арестован и отправлен на Лубянку. На допросах следователь пытался добиться от него показаний, которые могли бы создать «дело» против уже умершего Булгакова (протоколы допроса частично опубликованы в «Независимой газете» 16.05.95). Михаила Афанасьевича Булгакова С. Л. Ермолинский считал главным человеком в своей жизни. Порой в тюрьме ему, измученному и отчаявшемуся, приходила в голову мысль (она не могла не приходить), — а может быть, перестать сопротивляться, подписать все, чтобы оставили в покое, то останавливало его только одно, — а как и зачем жить дальше, как посмотреть в глаза Мише, хотя того уже нет на свете. (Подробнее см. в книге: С. Л. Ермолинский. Из записок разных лет. М., 1990.) После тюрьмы был сослан в Среднюю Азию, а потом и в Тбилиси.

Крымова Наталья Антоновна — театровед, автор многих книг, друг дома Ермолинского и Луговской.

Фрадкина Елена Михайловна (см. примеч. 39).

94

«*Грибоедов*» — пьеса С. А. Ермолинского, написанная в ссылке. Была поставлена в театре им. Станиславского в 1952 г. М. Яншиным и Т. Кондрашевым.

Гушанский С. Х. — режиссер-постановщик спектакля «Далекий край» Е. Шварца в ЦДТ в 1944 г.

Не будем *забывать, что это сочинение писалось в 60–70-е годы*… — речь идет о книге «М. Булгаков (записки разных лет)».

97

Юрский Сергей Юрьевич (р. 1930) — артист, писатель, режиссер. Один из ближайших друзей семьи Ермолинского и Луговской.

Берта Михайловна Бляхман — врач поликлиники литфонда.

Зоря — Пекарская, редактор изд. «Искусство».

100

Танюшок — Т. А. Луговская.

101

Надюшок — Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980), жена Осипа Эмильевича Мандельштама, автор мемуаров, в 1942–1943 годах жила в Ташкенте вместе с А. Ахматовой.

102

…*этот дом* — имеется в виду кинематографический дом у метро «Аэропорт», куда они переехали в 1961 г., где А. А. Ахматова неоднократно бывала в гостях.

103

…о той поэме — имеется в виду поэма-драма «Пролог, или Сон во сне», написанная в Ташкенте в 1942–1943 гг., сожжена 11 июля 1944 г. в Фонтанном доме. В 60-е годы Ахматова пыталась восстановить уничтоженное произведение и разговаривала со многими ташкентскими слушателями поэмы.

104

Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) — художник.

105

Ванин Василий Васильевич (1898–1951) — актер, режиссер.

106

Петрушевская Людмила Стефановна (р. 1938) — драматург, прозаик.

107

Матвеев Евгений Сергеевич (р. 1930) — архитектор, художник.

108

Хржановский Андрей Юрьевич (р. 1939) — режиссер-мультипликатор.

109

Рязанцева Наталья Борисовна (р. 1938) — сценарист.

Александров Владимир Юрьевич — филолог.